

АВТОР БЕСТСЕЛЛЕРА "КУЛЬТУРА ДВА"

KING COUNTY LIBRARY SYSTEM

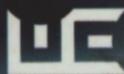


31000045503037

18+

ВЛАДИМИР ПАПЕРНЫЙ

АРХИВ ШУЛЬЦА



РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

серия "Совсем другое время"

ВЛАДИМИР ПАПЕРНЫЙ
АРХИВ ШУЛЬЦА



РЕДАКЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЕЛЕНА АСТ
ШУБИНОЙ МОСКВА

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
П17

Художник АНДРЕЙ БОНДАРЕНКО

В оформлении использован фрагмент картины
ПАТРИКА КРАМЕРА "Persistent memories"

Паперный, Владимир Зиновьевич.

П17 Архив Шульца / Владимир Паперный. — Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2021. — 507 [5] с. — (Совсем другое время).

ISBN 978-5-17-134286-9

Владимир Паперный — культуролог, историк архитектуры, дизайнер, писатель. Его книга о сталинской архитектуре "Культура Два" стала интеллектуальным бестселлером.

Лос-Анджелес. Эмигрант Александр Шульц, Шуша, неожиданно получает посылку. В коробке — листы и катушки с записями. Исследуя, казалось бы, уже навсегда утерянный архив, архитектор Шульц достраивает историю своей семьи. Она становится настоящим "русским романом", где юмора не меньше, чем драмы, а любовь снова побеждает смерть.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-134286-9

© Паперный В.З., 2020
© Бондаренко А.Л., художественное оформление
© Patrick Kramer
© ООО "Издательство АСТ", 2020

Марине

*Все имена и события вымышлены.
Любые совпадения с реальными именами, событиями,
географическими и другими названиями случайны.*

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРОЛОГ АРХИВ	11
---------------------------	----

ГЛАВА ПЕРВАЯ ДЖЕЙ

Птичка	27
Сестра	31
Бах. "Каприччо на отъезд возлюбленного брата"	40
<i>UNER</i>	43
Дедушка Нолик	46
Гостя ниоткуда	52
Отец	57
<i>Jewish Girl</i>	65
Анька: Загорск	67
Глобус	72
Анька: снова Загорск	74
Джей: дневник	77

ГЛАВА ВТОРАЯ ВАЛЯ И ДАНЯ

Валя: детство	85
Валя: ИФЛИ	95
Валя: муж заболел	104
Валя: эвакуация	108
Дина: Баковка	118
Дина: Внуково	120

Через лес.....	125
Кино: Маяковский.....	132
Катя Харченко.....	134
Секс и мораль.....	138

ГЛАВА ТРЕТЬЯ СЕНЬОР

Прекрасная незнакомка.....	147
Режиссер.....	158
Мэл.....	164
Алиса.....	172
Алла.....	179
Две пары.....	182
Диссидентка.....	185
Журналистка.....	188
Валя: черновик неотправленного письма.....	191
Право Сеньора.....	195
Алла: второй режиссер.....	199
“Шехеразада”.....	201
Матильда.....	204
Изба.....	208
Феллини.....	212
<i>Deep Purple</i>	218

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ЗАРИНЭ

У Сингера.....	225
В такси.....	231
Гульрипши.....	235
Борода.....	243
Поход.....	248
Графиня.....	258

Ночь в горах	262
И снова такси	269
Псху	272
Семья	274
<i>I don't want to know</i>	276

ГЛАВА ПЯТАЯ СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА

<i>Memoria de mis putas tristes</i>	281
Алла: дети	287
Американские шпионы	289
Письма о поездке в Торжок	303
Дафнис и Хлоя	337
Полесье	344
Бегство	351
Перелет	355
ХИАС	363
<i>Sikorsky</i>	366
<i>Mare</i>	390

ГЛАВА ШЕСТАЯ НОВЫЙ СВЕТ

<i>Welcome Home</i>	399
<i>Obrezanie</i>	409
Семья Меламедов	416
<i>Moonlighting</i>	420
Марк Поремский	432
Диалог со шпионом	438
Профессор и Маргарита	443
Девки в озере купались	456
Колумбус	465
Возвращение	469

Русский роман	475
“Летардил”	483
День звонков	492
ГЛАВА СЕДЬМАЯ ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС	497
ЭПИЛОГ	509

ПРОЛОГ АРХИВ

Нашего героя зовут Саша Шульц. Можно Шура. Поскольку в детстве он шепелявил, старые друзья зовут его Шуша. Когда новые знакомые слышат это обращение, часто шутят: “Шла Шуша по шоше и шошала шушку”. Хотя он слышал эту шутку сотни раз, всегда вежливо улыбается. Был период, когда он писал в “ЖОЖ” и подписывался ШШ, и это сокращение на какое-то время к нему прилипло. Если эти две буквы напечатать рядом, то они будут выглядеть как шестиколонный портик, о чем он узнал уже в архитектурном институте. Иногда, впрочем, подписывался просто Ш, и получался трехколонный портик, о существовании которого он не подозревал до лужковской эпохи. В нашем повествовании из уважения к герою, который панически боялся однообразия, мы будем пользоваться двумя именами — Ш и Шуша.

В 1959 году на лестнице Военторга умер великий конструктивист Иван Леонидов*, впоследствии архи-

* Леонидов Иван Ильич (1902–1959) — советский архитектор, представитель русского авангарда.

тектурный кумир Ш, в Москве открылась американская выставка, от которой у нашего героя поехала крыша, а лауреат Сталинской премии Поль Робсон, судьба которого тоже скоро окажется переплетенной с судьбой Ш, в последний раз приехал в Советский Союз. Шуша в это время учился в десятом классе. Слово “учился” мы здесь употребляем условно, поскольку в школе он появлялся редко и все свободное время проводил в кафе “Артистическое” в проезде Художественного театра, где когда-то бывали Станиславский с Немировичем-Данченко. Там сидели актеры из Школы-студии МХАТ, подпольные абстракционисты и “прогрессивные” театральные критики. Одного из этих критиков называли Сеньором, и знакомство с ним Шуша долгое время считал поворотным событием своей жизни. Когда много лет спустя его спрашивали, чего больше принесло это знакомство — пользы или вреда, он обычно отвечал “фифти-фифти”.

Родители от этой дружбы были в ужасе, особенно после того, как Ш объявил им, что все, что они говорят, пишут и делают, кажется ему полной чужью. Они тогда были увлечены борьбой “за возвращение к ленинским нормам”, а Шуша, под влиянием разговоров в кафе, был уже очень далек и от Ленина, и от Сталина.

Чтобы отвлечь сына от вредного влияния Сеньора и сомнительной публики из кафе, а заодно доказать, что они яркие и интересные люди, мать с отцом решили показать ему Ленинград. Был снят дорогой номер в гостинице “Европейская” и назначены встречи с выдающимися деятелями культуры Ленинграда. Из встреч Ш запомнил одну, с драматургом Володиным. Он пришел к ним в номер, просидел полчаса, обсудил с родителями сценарий филь-

ма “Звонят, откройте дверь”, который он тогда писал, и ушел, явно не понимая, зачем его позвали.

Тут Шуше стало ясно, что веселья не будет, и он послал телеграмму Сеньору в Москву: “Я ЛЕНИНГРАДЕ ДО 25 НОЯБРЯ”. На следующий день пошел на Дзавпочтамт на Невском рядом с аркой Главного штаба, где его уже ждал ответ: “ПОСТАРАЮСЬ БЫТЬ ЛАКОМКЕ”. Речь, разумеется, шла о кафе “Лакомка”, Садовая, 22, рядом с Гостиным двором. Ш до этого был в Ленинграде в возрасте шести лет, помнил только, что его укачало в самолете и он заблевал квартиру опального ленинградского литературоведа. Про кафе он слышал от Сеньора много раз. В ответной телеграмме не было ни числа, ни времени, и в этом была героическая и страдальческая поза: ты звал — я приеду, я буду просто сидеть в этом кафе все дни подряд и терпеливо тебя ждать.

24 ноября у родителей была запланирована встреча с очередным деятелем культуры, но Шуша с утра объявил, что у него свидание, и выскочил из номера, в последний момент приняв от мамы десять рублей на спасение от голодной смерти.

В незнакомом городе, учил Сеньор, надо ходить пешком. Сам он следовал этому принципу даже в родной Москве, а может, он никогда и не считал Москву родной. Картой пользоваться не надо — просто, дойдя до любого угла, посмотреть на названия пересекающихся улиц и запомнить. Через несколько дней хаотического шатания по городу ты будешь знать его лучше любого местного жителя. Сеньор, похоже, был не только *self-made hippie before the hippie era**, как его назва-

* Самодеятельным хиппи до эры хиппи (англ.).

ла позже одна славистка, но и ситуационистом, когда движение *Situationist International* еще не возникло.

Итак, из “Европейской” Шуша пошел пешком. Дойдя до угла, посмотрел на названия улиц и запомнил — Михайловская и Невский. Подходя к “Лакомке”, увидел в окне Сеньора, он сидел примерно за таким же столиком, как и в московском “Артистическом”. Начался “привычный день с Сеньором”.

Они шатались по городу. Сеньор произносил монологи, показывал Марсово поле (славно вы жили и умирали прекрасно), Кировский мост, особняк Кшесинской на Большой Дворянской, подаренный за дрыгоножество, и явно блаженствовал: Шуша поступил как верный ученик: телеграмма была до востребования, как и должно, и встретились они в любимом городе и любимом кафе Сеньора.

Надо было звонить какому-то Грише, говорили, что Гриша — подающий надежды писатель. Знаем мы эти ленинградские мифы, ворчал Сеньор, но так и быть, позвоню. Они встретились с Гришей, который с виду показался подростком-пэтэушником, хотя был одного возраста с Сеньором. Критик и писатель сразу же начали спорить, постепенно переходя на крик. Смысл спора был непонятен, что-то про отношения Сартра с Камю, и Шуша переключился на рассматривание улицы Росси, стараясь найти нарушения симметрии между правым и левым зданиями. Карл Иванович Росси оказался на высоте, симметрия была безупречной. Когда они дошли до Александрийского театра, что-то заставило Ш прислушаться:

— Они постоянно выясняют, — говорил Сеньор, — кто умней и кто талантливей...

— ...и у кого хуй длиннее, — вставил улыбающийся пэтэушник.

Шуша замер. Он никогда не слышал, чтобы знакомые родителей, тем более писатели, разговаривали, как дворовая шпана. Он быстро посмотрел на Сеньора. Тот явно выглядел растерянным. Юность его прошла среди интеллектуалов в Ленинградской тюремно-психиатрической больнице, где их всех лечили от диссидентства методом профессора Снежневского — школа жизни не хуже Смольного института.

Возникла пауза. Гриша тоже выглядел смущенным — он, очевидно, неправильно считал внешний облик бродяги-Сеньора. Потом разговор возобновился, уже без крика. Шуша обернулся и тут заметил, что симметрия все-таки была не полной — одна из водосточных труб на правом корпусе была чуть короче других. Карла Ивановича, разумеется, обвинить в этом было трудно.

Гришу он не видел больше года. Какие-то сведения о нем доходили: Гриша написал хороший рассказ, Гриша выпустил сборник, Гриша получил премию. Перед Новым годом Сеньор сообщил, что Гриша переезжает в Москву писать книгу, но жить ему негде.

— У вас есть вроде дача под Москвой. Может, пустишь его пожить до весны?

— Это же летняя дача, — усомнился Шуша. — Печка-то есть, но стены тонкие, пол со щелями, тепло не держится.

Через несколько дней позвонил сам Гриша, уже из Москвы:

— Слушай, я знаю, что ваша дача летняя, но мне приходилось ночевать и кое-где похуже, так что если ты не против, давай съездим посмотрим.

Шуша потребовал у родителей ключ от дачи “для великого писателя из Ленинграда”. Родители задумались. Они помнили, как в 1941 году на даче жили солдаты, которые разводили костры прямо на полу. Защитников родины они, естественно, ни в чем не обвиняли, тем более что большинство этих солдат, греющихся у костра из семейной мебели, скорее всего, погибло в том же самом 1941-м. Помнили они также и другой эпизод, когда в 1956-м там зимовал Жора.

Жора был театральным критиком из Ленинграда, но тайно писал прозу. Какие-то у него возникли дома сложности, пришлось переехать в Москву. Жить было негде. Ночевал у друзей. Его взяли на работу в журнал. Машинистка Наталья Исааковна ему покровительствовала, перепечатывала какие-то его рассказы, и они ей очень нравились. Наступила осень и холода.

— А на вашей даче можно жить зимой? — спросила Наталья Исааковна у матери.

— Не знаю, — ответила та, — мы никогда не жили. Печки нет.

Жору это не испугало, он привез на дачу какую-то буржуйку и всю зиму топил.

Весной мать осторожно заговорила с Натальей Исааковной.

— Нам вообще-то надо бы туда перевозить детей...

— Да-да, — отвечает машинистка, — он уедет, он там все уберет.

Когда родители приехали на дачу, они пришли в ужас. Потолок был совершенно черный от копоти.

Пришлось звать соседа Ивана Егорыча отскребать и заново белить.

И вот теперь Шуша пытается поселить туда еще одного бездомного литератора.

— Только скажи ему — поосторожнее с печкой, чтоб не спалил дом, — робко попросила мама.

Ш пожал плечами, давая понять, что беспокоить писателя такими мелочами нелепо.

Всю дорогу в электричке и потом четыре километра от станции они болтали. Гриша оказался легким собеседником. И никакого ощущения, что он вдвое старше. Ему было интересно все: как Шуша учится, куда собирается поступать, какие книги читает.

— Значение книг сильно преувеличено, — многозначительно обронил Ш. — Я книг вообще не читаю. Знания надо искать в глубине собственной души.

Гриша весело рассмеялся:

— Шуша, не говори глупостей!

Он сказал это таким доброжелательным тоном, что Ш нисколько не обиделся, а, наоборот, решил, что с пэтэушником надо провести побольше времени.

— Ты знаешь, — сказал Ш, — мне на самом деле тоже негде жить, жуткий конфликт с родителями. Что если я поживу здесь с тобой недельку?

— Валяй, вдвоем веселей.

На следующий день они переехали на дачу. У Гриши с собой была пишущая машинка и чемоданчик с рукописями, у Ш — этюдник и несколько чистых холстов. Несмотря на холод и постоянный голод, первую неделю Шуша провел в состоянии эйфории.

Тепло держалось примерно два часа, потом все выдувалось через щели в полу и оконных рамах. Они забили окна одеялами, накидали каких-то тряпок на пол и старались топить печку не переставая.

День начинался так. Вылезти из-под груды пахнущих плесенью одеял, каждый в своей комнате, и быстро натянуть на себя все, что удалось найти и на половине Шульцев, и на половине родственников, куда Ш проник с помощью топора и отвертки. После этого они растапливали остывшую печку припасенными с вечера дровами, а потом Гриша начинал готовить солдатский завтрак из лапши и консервов “Частик в томате”, купленных в сельпо на Первомайской улице.

Где-то к двум часам дня, когда с бытом было покончено, Гриша садился стучать на машинке, а Шуша — мазать масляными красками белые холсты. Самое интересное начиналось вечером, когда они готовили ужин и разговаривали о жизни. Гриша принял на себя роль наставника, но, в отличие от Сеньора, не пытался говорить парадоксами и покупать популярность фразами типа “не хочется — не делай”, а давал простые и даже скучные советы — больше читать, больше работать, не лениться и не стараться казаться не тем, что ты есть. Один из его советов Ш смог оценить только много лет спустя: не бояться смерти.

Главная проблема была с дровами. Весь запас в сарае истаял в первые три дня, после чего оба стали бегать по шульцевскому участку, а потом и по соседскому в поисках чего-нибудь, что можно сжечь. Когда сторел повалившийся забор, недостроенные качели и засохшее дерево, Гриша хищным взглядом

осмотрел ту часть сарая, где хранились пожелтевшие связки “Литературной газеты” и “Нового мира”.

— Все это, наверное, есть в библиотеках... — сказал Ш неуверенно. В Грише в этот момент боролись воспитатель юношества и человек, страдающий от холода. После непродолжительной борьбы с собой он сказал “да” и решительно схватил первую пачку.

— Но вот эту коробку трогать нельзя! — предупредил Шуша. — Мы туда складывали семейные документы. Когда-нибудь я ими займусь.

— Правильно, — сказал Гриша. — Такие вещи надо хранить.

Примерно через неделю Ш вдруг почувствовал, что соскучился по родителям, при этом никак не мог вспомнить, в чем, собственно, была суть конфликта. В общем, он придумал повод и уехал в Москву. Отмывшись, отъевшись и отоспавшись, Шуша совершенно забыл и про дачу, и про Гришу. Родителям сказал, что высшее образование совсем не такое уж и зло и что куда-нибудь, где учат писать масляными красками, он, может быть, и готов поступить.

Окрыленные родители навели справки, узнали от друзей, что поступать надо в архитектурный, но для поступления надо сдавать рисунок. Вспомнили, что Юра, сын их друзей по институту, а теперь известный подпольный художник-авангардист, зарабатывает уроками рисования. После долгих телефонных переговоров Шуша приехал к Юре. Тот поставил гипсовую голову Сократа и стал показывать, как надо прикреплять бумагу к листу фанеры. Кнопки в доме не нашлось, Юра принес молоток и шурупы и стал забивать шурупы в фанеру молотком.

Шурупы гнулись, фанера трескалась. Шуша с восхищением смотрел на эти действия. Он был уверен, что настоящий художник и должен быть абсолютно непрактичным. Выпускник кружка “умелые руки” Центрального дома детей железнодорожников, он понимал, что у него шансов стать художником мало. Впрочем, для архитектора умелые руки не должны быть серьезной помехой.

Кое-как Юре удалось прикрепить лист бумаги, и урок начался.

— Самое главное, — говорил Юра, — это выделить светлые и темные части предмета, обвести их тонкой линией и потом ровно закрасить карандашом. Это придает рисунку законченность и, если угодно, красоту.

Шуша никогда не слышал о подобной технике, ни до, ни после урока. Более того, ни в одном Юрином авангардном произведении нельзя было увидеть и следа такой техники. Похоже, что это была импровизация.

Когда урок закончился, Юра поделился своей философией искусства.

— Ты, наверное, думаешь, что художники делятся на более талантливых и менее талантливых. Это все ерунда, надо ухватить идею. А когда ухватил, то ты ее насилуешь и насилуешь, сколько можешь.

— А архитекторы? — поинтересовался Шуша.

— Один черт, — ответил Юра. — Если хочешь быть архитектором, начинай искать идею.

Для живописи нашли преподавателя со смешной фамилией Комарденков. Он учился у Татлина, работал с Таировым и Мейерхольдом, был знаком с Маяков-

ским. Во время первого урока Комарденков очень удивился, поняв, что Ш действительно не имеет представления о живописи, но потом, когда тот сравнительно быстро освоил несколько нехитрых приемов, с помощью которых можно получить проходной балл на вступительных экзаменах, быстро переключился на рассказы о молодости, что было интереснее и ему, и Шуше.

— Маяковский любил подшучивать над моей фамилией, считая, что она происходит от слова “морда”, — рассказывал Комарденков, пока Шуша сезанновскими мазками лепил форму лимона. — Пойду, говорит, вымою руки и комарденкова. Но я не обижался. А Есенин с Шершеневичем предложили мне сделать обложку к их книге “Все, чем каемся”. Я крупно написал три первых буквы ВЧК и мелко все остальные. Довольно скоро меня вызывают в это самое учреждение и говорят: “Наша фирма в рекламе не нуждается, меняйте обложку”. Поменяли. Обошлось.

В конце марта Шуша вспомнил о Грише и решил его навестить. Дача выглядела нежилой. Все было покрыто толстым слоем слежавшегося почерневшего снега. Он с трудом открыл вмерзшую калитку и двинулся к дому, проваливаясь в глубокий снег. В доме все выглядело примерно так же, как и в декабре. Те же тряпки на полу. Те же одеяла на окнах. Тот же запах сырого дерева и преющих матрасов. Он зажег свет. Посреди комнаты стоял этюдник с холстом, на котором был Гришин портрет. Гриша стоял, прислонившись к березе, у него были большие грустные глаза с пушистыми ресницами. Не хватало только надписи “люби меня как я тебя”. Заметил ле-

жащую на этюднике записку: “Дорогой Шуша, я испортил холст и много краски. Прости. Не выдержал холода и убегаю. Спасибо за все. Твой Г. Рид”.

Шуша огляделся. Пустовато. Кое-какая мебель явно пошла на растопку. Решил проверить сарай. Начерпав полные ботинки снега, добрался до сарая, отпер дверь и замер: не было не только газет и журналов, но и коробки с архивом. Ну и скотина! Поэтому у него такой виноватый вид на автопортрете? И почему он подписался не Гриша, как обычно, а Г. Рид? Знал ли он, что *greed* по-английски — жадность? Было ли это случайностью или какой-то игрой с самим собой? Или с Шушей?

Этого Шуша так и не узнает, потому что Гришу он больше никогда не видел. Через несколько лет пришло известие, что тот покончил с собой в сумасшедшем доме где-то под Ленинградом.

Спустя многие годы, когда Шуша сидел у окна своей студии на 20-м этаже в даунтауне Лос-Анджелеса, с тоской наблюдая яркую ночную жизнь внизу, зазвонил телефон.

— Мистер Шульц? Это Джеффри снизу. Вам тут посылка. Спускаться не надо, Боб поднимет ее к вам на тележке, она тяжелая.

Через несколько минут в дверь постучали.

— Куда ее ставить? — спросил улыбающийся Боб. На тележке стояла огромная разваливающаяся картонная коробка, скрепленная липкой лентой и какими-то веревочками. На ней были написаны и зачеркнуты все Шушины многочисленные американские адреса, кроме самого последнего.

— Прислали по почте? — спросил Шуша.

— Вроде нет. Как она попала в вестибюль, ни я, ни Джеффри не заметили.

— Ставь прямо тут, — сказал Шуша. — Я разберусь.

— *Yes sir!*

Шуша нащупал в кармане доллар и сунул его Бобу.

— *Thank you sir!* — сказал Боб и вышел.

Шуша принес длинный кухонный нож, сел на пол рядом с коробкой и начал вскрытие. Из коробки донесся слабый запах плесени. Как только Шуша разрезал все веревочки и куски липкой ленты, картонка развалилась. Он протянул руку и взял первый попавшийся предмет, прозрачную магнитофонную бобину с пленкой. Смятый и перекрученный конец пленки размотался. На бобине можно было разглядеть выдавленные буквы “З-Д № 6 г. ЗАГОРСК”. К самой бобине приклеена бумажка с надписью детским почерком “Птичка”.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ДЖЕЙ

ПТИЧКА

Все было как всегда. “Ригонда” на конических модернистских ножках стояла на своем месте в кабинете отца. На полированной крышке Шушин серо-зеленый Grundig TK-5 с неработающей перемоткой. Кабель тянулся к задней панели “Ригонды”, так что звук шел из нее. Прозрачные бобины вращались. И как всегда, звучала “Птичка”. Но что-то было не так.

Откуда взялась эта запись и почему ее назвали “Птичкой”, никто уже не помнит. Скорей всего, Шуша подсоединил свой TK-5 к дедовской “Спидоле” и записал с эфира. Запись была с шумами и помехами, время от времени врывается голос на непонятном языке. Много лет спустя Шуша с помощью интернета установил, что песня называлась *What a Lovely Day** и ее исполняла шведская певица Дорис Свенссон. Когда Шуша услышал песню в чистом виде, ему чего-то не хватало, в те далекие 1970-е они

* Какой прекрасный день (англ.).

слушали ее столько раз, что шумы и помехи воспринимались как часть музыки. Помехи напоминали птичий свист, уж не поэтому ли ее называли птичкой?

Это было счастливое время. Каждый день в семь утра звонил будильник. Шуша будил сестру и отца. Они натягивали свитера, надевали ошейник на Татошу и бежали по синеватому, припорошенному снегом асфальту. Мимо конструктивистского кинотеатра “Шторм”, который когда-то был эклектичным “Наполеоном”, а в эту зиму на фасаде красовался сам Наполеон в исполнении Рода Стайгера; через проходные дворы в парк Алексеевского женского монастыря, того самого, который в 1830-х годах был перенесен из Чертольа в Красное Село, освободив место для храма Христа Спасителя. Никакого монастыря, конечно, уже не было, его разрушили в 1926-м. В перестроенном храме Алексия человека Божия теперь располагался Дом пионеров, где Шуша когда-то причащался искусству и спорту в кружках рисования и туризма.

Потом они возвращались домой, снимали кеды и шли в кабинет отца за последней порцией спорта. Шуша включал “Птичку”, отец, стоя на коленях, катал свое колесо, качая пресс, Джей на коврике изображала позу “лотос”, а Шуша начинал свои двести приседаний. Кабинет отца был небольшим, места на полу было мало, они почти задевали друг друга, но в этой стиснутости было что-то магическое. Все сложности между Шушей и отцом как будто улетучивались, и им было хорошо вместе. Всем четверым, если учитывать Татошу.

Но это продолжалось недолго. Джей скоро вышла замуж за социолога (она так и называла его —

‘мой Социолог’), переехала к мужу, и бег прекратился. Шуша с отцом какое-то время пытались поддерживать традицию — бегали, заводили “Птичку” и по очереди катали колесо, но выяснилось, что без Джей это не работало. Похоже, что двух мужчин объединяло желание защитить “маленькую девочку”, хотя маленькой она давно уже не была.

...Утром, в самом конце 1978 года, Шуша постучал в кабинет отца. Звучала “Птичка”, было ясно, что он не спит. Постучал еще раз. Отец не откликнулся. Шуша осторожно приоткрыл дверь. Все было как всегда. На полу на коврике по пояс голый отец катал свое колесо. Прошло не меньше минуты, прежде чем Шуша понял, что именно было странным: движения отца были явно замедленными. Он пригляделся. Широкая мускулистая спина отца сотрясалась от рыданий. Отец сделал еще одну попытку прокатить колесо вперед, но не смог. Его руки дрожали, он прилагал огромные усилия, чтобы сдвинуть колесо с места, но оно только дергалось. *What a lovely day to wake up in the morning*, — неслось из “Ригонды”. Не замеченный отцом, Шуша вышел, осторожно закрыв за собой дверь.

За неделю до этого в два часа ночи в квартире раздался звонок. Шуша снял трубку.

— Джей не у вас? — спросил Социолог.

— Нет.

— Жалко. Я еще не дома, а она не подходит к телефону.

— Жалко? — переспросил сонный Шуша, — Да, хорошая была девочка...

* Как приятно проснуться утром в такой день (англ.).

Можно сказать “жалко”, если разбилось блюдо, но не о жене, которая неизвестно где шляется в два часа ночи.

В комнату вошла мать, торопливо запахивая расшитый самаркандский халат:

— Что случилось?

— Ничего, всё в порядке, Джей где-то болтается. Ложись спать.

Через какое-то время телефон зазвонил опять. Мать тут же вошла в комнату. Было видно, что она не ложилась. Шуша снял трубку.

— Слушай меня внимательно, — заговорил Социолог, — ничего не изображай лицом и ничего не говори, быстро возьми такси и езжай сюда...

— Что? Что он говорит? — спрашивала мать. — Что случилось?

— Не знаю, — сказал Шуша, натягивая штаны. — Ничего серьезного. Он просит меня к ним приехать. Я тебе позвоню оттуда.

Он быстро выбежал на улицу, чтобы избежать расспросов. Черная декабрьская ночь. Оранжевый под фонарями снег. Такси останавливается сразу. Они мчатся по спящему городу, и только тут до Шуши начинает доходить смысл происходящего.

Несколько дней назад мать заметила, что из аптечки отца исчезли все снотворные. Она сразу вспомнила, что, уезжая домой к мужу, Джей как-то долго и нежно с ней прощалась, что было совсем на нее не похоже. Мать тут же поехала к ней, позвонила в дверь, а когда Джей открыла, произнесла решительно:

— Отдай мне все снотворные.

Джей открыла было рот, чтобы начать все отрицать, но вместо этого заплакала. Они долго стояли

на лестничной клетке обнявшись. Потом вошли в квартиру, и Джей принесла упаковки “Летардила”.

“Мать сказала, «все упаковки», — думал Шуша, несясь в такси по пустому и темному Ленинградскому проспекту, — а кто их считал?”

У лифта его ждал Социолог. В руках у него был телефон на длинном шнуре, который тянулся в квартиру.

— Я два часа подряд делал ей искусственное дыхание рот в рот, — сказал он. — Скорая где-то застряла, они мне давали инструкции по телефону. — Он протянул трубку Шуше. — Вот, звони маме.

Мать примчалась через полчаса. Она стояла в открывшемся лифте, прижавшись спиной к стенке, как будто боялась потерять опору, и не мигая смотрела на Шушу, пытаясь силой взгляда остановить слова, которые он сейчас должен был произнести. Шуша молчал. Потом медленно отрицательно покачал головой. От этого движения грузное тело матери стало медленно и беззвучно сползать вниз. Прежде чем Шуша смог сдвинуться с места, в его сознании произошла вспышка. Он вдруг отчетливо увидел сползающее по кирпичной стене изуродованное пытками тело дяди Левы, когда его расстреливали в киевском подвале в 1938 году.

СЕСТРА

Единственный период полного счастья, который Шуша может вспомнить, продолжался до трех лет. Тогда было достаточно произнести слово “мама”, как где-то внутри возникало что-то теплое и сладкое,

как манная каша. В тех редких случаях, когда приходилось выходить на улицу, он попадал в чужой и страшный мир. Ездили на деревянных тележках безногие инвалиды, шлепали в валенках с калошами мрачные тетки в серых платках, громыхающий трамвай обгонял скрипучую телегу, запряженную покрытой инеем лошадью.

— Я не люблю тётъ в платочках, — шепнул он маме.

— Я тоже хожу в платочке, — улыбнулась она.

Он попытался ей объяснить разницу, но подходящих слов у него не нашлось. Мама была молодая и красивая. Тетки, инвалиды и телеги были старые и грязные. Они принадлежали миру, которого не должно было быть.

Счастье кончилось, когда мама отвела его в детский сад, который, несмотря на то что принадлежал Литфонду, оказался частью страшного мира. Его записали позднее, чем всех, он был чужой. В большой туалетной комнате на стене висели деревянные сидения для унитазов, на каждом было имя. Он протянул руку к сидению с надписью “Саша”, но сидящие на пяти унитазах на своих именных сидениях дети закричали:

— Это не твое! Это другого Саши!

После этого он старался вообще не ходить в туалет. Этих нескольких лет страданий он долго не мог простить матери.

Школа оказалась ненамного лучше. Под строгим взглядом Веры Николаевны (“как держишь ручку, Шульц?”) надо было писать палочки в прописях, макая железное перо в чернильницу. Как-то осенью

перед вторым классом к ним забежала мать Жоры Соловьева.

— В Сокольниках открылась английская школа! — закричала она с порога. — Пока принимают всех. Поезжайте прямо сейчас. Жору я уже записала.

— Поехали прямо сейчас! — сказал Шуша матери, когда Соловьева ушла.

— Давай завтра, — неуверенно ответила мать. Было видно, что идея ей не нравится.

Шуша продолжал приставать, а мать отказывалась под разными предлогами. В конце концов произнесла что-то странное:

— Я не хочу, чтоб ты там учился. Там будут учиться, — она задумалась, — дети дипломатов.

Дети дипломатов? Что за ерунда? Еще одна обида, которую он долго не мог ей простить. Много лет спустя он вспомнит эпизод, который мог объяснить загадочное поведение матери. Это было летом после первого класса, когда они еще не переехали на дачу. К Шуше зашел Жора. Они были одни в комнате. Внезапно с заговорщицкой улыбкой Жора стал расстегивать Шушины штаны и попытался просунуть руку ему под трусы. Шуша замер в недоумении, потом стал вырываться, и в этот момент открылась дверь и в комнату вошла бабушка Рива. Жора быстро отдернул руку и направился к двери.

— Мне пора, — сказал он и вышел.

Похоже, бабушка все рассказала маме, та решила спасти сына от содома и приняла меры — Жора у них больше не появлялся. Об английской школе тоже пришлось забыть. А если бы бабушка не вошла? Наверное, он гораздо лучше знал бы английский и, возможно, стал не архитектором, а диплома-

том. Или переводчиком, как отец. Шансов увлечь его в “содом” было мало — ничего, кроме брезгливого недоумения, Жорины действия не вызвали.

— Ты бываешь груб с мамой, — сказал отец. — Давай договоримся, если я замечу, что ты с ней плохо разговариваешь, я тихо скажу тебе какое-нибудь слово, например “ахтунг”, это по-немецки “внимание”, чтобы никто, кроме тебя, не догадался.

Восьмилетний Шуша задумался. Груб с мамой? Странно. Ничего такого он не помнил. Если кто-то и бывал груб с мамой, так это как раз отец. Мог сказать ей: “Не выношу эту вашу деревенскую манеру”.

— Это очень важно, — продолжал отец, — ей сейчас нельзя нервничать, у нее будет ребенок.

— Ребенок? — удивился Шуша. — Когда?

— Через несколько месяцев.

— Как же можно знать заранее? — недоумевал Шуша.

— Ну, врачи могут...

Новость была непонятная, и Шуша о ней тут же забыл. Мама становилась толще, но он никак не связывал это ни со своей грубостью, ни с отцовским ахтунгом. Потом маму увезли в больницу. Шуше сказали, что у него родилась сестра, но увидит он ее не сразу, потому что и у мамы, и у новорожденной температура сорок и неизвестно, выживут обе или нет.

Приехала мамина подруга Муха.

— Данька, — сказала она строго, — завтра их выписывают. Состояние тяжелое. Мы с тобой сейчас едем покупать все необходимое. Меня Валя умоляла: не позволяй ему ничего покупать без тебя, он потратит уйму денег и купит не то, что надо.

Шушу взяли с собой. Ездили в такси целый день и купили кроватку, коляску, пеленки, матрас и одеяло.

— Теперь езжайте прямо домой, — сказала Муха, — мне еще на работу надо. Обещай, что больше ничего покупать не будешь — едешь прямо домой! Обещаешь?

— Обещаю, — торжественно произнес отец, но как только они отъехали и Муха скрылась за поворотом, быстро сказал водителю:

— К гостинице “Москва”. И подождите нас. Две минуты.

Напротив Совета труда и обороны, уже ставшего Домом совета министров, находился Гастроном № 24, знаменитый своим кондитерским отделом.

— Какой у вас самый большой торт? — спросил отец у продавщицы в белом переднике.

— Вот есть один, заказали и не востребовали.

— Покажите!

Принесли торт. Это было монументальное сооружение, которое могло бы стать украшением сельскохозяйственной выставки, на которую Шуша попадет только через два года. На толстом бисквитном основании стояло шоколадное ведро, наполненное зеленоватыми цукатами, изображающими лед. Из льда торчала шоколадная бутылка, на которой можно было прочитать рельефную надпись “Советское шампанское”. Бутылка, как потом выяснилось, была наполнена сливочным кремом.

Дома коробку с тортом поставили в недавно купленный холодильник “Саратов”, для этого из него пришлось вынуть все остальное. Привезли маму с небольшим свертком, в котором была сестра. Она была такая слабенькая, что даже не плакала.

Дважды в день стала приходиться медсестра делать уколы пенициллина. Это было новое лекарство, и его, как говорили, делали из плесени. Про Шушу забыли. Он сидел на кухне, время от времени открывая холодильник и отламывая очередной кусок шоколадной бутылки. Ее хватило на три дня. Потом он перешел на бисквит. Несмотря на тошноту, это была счастливая неделя. Когда торт кончился, температура у обеих спала, и сестра научилась плакать.

Когда ей исполнилось четыре года, а Шуше было двенадцать, всех троих — маму, сестру и Шушу — отец отправил в Дом творчества писателей. Он находился в пригороде Одессы, на Фонтане, в районе 12-й линии. Поселили в главном корпусе, потому что Шульц был достаточно известным переводчиком, правда, недостаточно известным для двухкомнатного номера. В комнате было две кровати, для сестры принесли раскладушку. Окна были открыты, в них залетали мухи, и было жарко. В первый день, часов в пять вечера, пошли на пляж.

До этого семья всегда ездила отдыхать на Балтийское море — а тут Шуша понял, что такое южное солнце.

После часа сидения на досках пирса у него обгорела нога.

Через два дня у сестры начал болеть живот. Становилось все хуже, лекарства не помогали.

— Дизентерия, — сказал врач из Дома творчества. — Надо везти в Москву. Здесь мы ничего сделать не можем.

— Ты уже большой мальчик, — сказала мать Шуше. — Оставайся, а мы полетим в Москву. Если что-то случится, беги к Мухе, она в третьем коттедже.

Самое главное, вот твой обратный билет на самолет. Смотри не потеряй!

Как потом рассказала мама, сначала они долго тряслись в разбитом автобусе до аэропорта. Самолет опаздывал. Два часа просидели в душном зале ожиданий, где не было питьевой воды. В самолете болтало. Сестре было так плохо, что мать боялась, что живой не довезет. А во Внуково по аэродрому метался отец, который не понимал, куда они пропали, и подозревал худшее. Прямо с аэродрома сестру отвезли в больницу.

А Шуша остался один с тремя кроватями. Ситуация ему скорее нравилась. Через два дня, вернувшись домой из столовой после обеда, он обнаружил, что их комната абсолютно пуста и выглядит как в первый день, когда они приехали, — кровати застелены, на полу ни соринки и — никаких вещей. Посреди комнаты стояла уборщица Люда в зеленом платье и грязном черном фартуке.

— А я твои вещи аккуратно сложила и перенесла, — сказала она с улыбкой. — Все-все вещи, всё как было. Пойдем покажу, куда тебя переселили.

Она повела его мимо фонтана в сторону коттеджей. Открыла ключом самый маленький из них и впустила Шушу в комнату. Там была только одна кровать. На столе разложены его вещи примерно в том же беспорядке, как раньше. “Билет, — подумал Шуша, когда Люда ушла, — он был в той комнате на столе”.

Билета не было. Он перерыл все ящики и свой чемодан. Никаких следов. Что с ним будет? Как попадет домой? Он бросился к Мухе. Она взяла его за руку и потащила в кабинет директора.

— Жди здесь, — сказала она, усадив его в дубовое кресло с подушками из темно-красной кожи.

Из кабинета доносились сердитые голоса, но что говорят, разобрать было трудно. Через пятнадцать минут к Шуше подбежала растерянная Люда все в том же грязном фартуке, держа в руках смятую бумажку.

— На, держи свой билет.

Новое жилье понравилось Шуше. Весь домик принадлежал ему, и впервые в жизни была полная свобода. Он проводил все дни с толстым рыжим веснушчатым Севой и черноглазой молдавской девочкой Аникой. Они бегали купаться, ездили на трамвае в Одессу, гуляли по холмам, болтали обо всем на свете.

Почему ему не приходило в голову назвать Анику в свой домик и поиграть с ней во что-нибудь запретное? Может быть, он был напуган лекцией отца о том, “к каким страшным последствиям могут привести игры мальчика с девочкой”?

Был, правда, один эпизод, когда они оба забежали в его домик за полотенцем, пока Сева ждал их на пляже. Они провели там около минуты, он искал полотенце, а она смотрела на него и улыбалась.

Много лет спустя у Шуши в голове возник кинофильм. С ним это бывает. Кино включается внезапно. Иногда он может перематывать, редактировать, дописывать, стирать неприятные куски. Может даже вмешиваться в действие. Вот сейчас ему показывают, как они с Аникой стоят посреди комнаты. На ее тонких загорелых ногах бежевые босоножки с дыркой для большого пальца, платье в мелкую бело-розовую полоску с отложным воротником и белыми манжетами на коротких рукавах. В правой руке ко-

жаная сумочка неопределенного цвета, с которой Аника не расстается, держа ее, как всегда, двумя тонкими пальцами. Она смотрит на него и улыбается, белые зубы и черные глаза блестят в полутемной комнате. Он подходит к ней ближе, и тут пленка обрывается. Пустой черный экран.

Где-то там сидит киномеханик, который сам решает, что и когда показывать. Часто совсем не то, что хочется видеть.

Примерно до семи лет сестра интересовала Шушу только как фотомоделю, примерно так же, как скайтерьер Татоша или его собственное отражение в зеркальном шаре на елке. В архиве сохранилось довольно много отпечатков десять на пятнадцать на кремовой фотобумаге с белой рамкой и фигурным обрезом. Эта рамка казалась Шуше верхом профессионализма, поэтому после долгих упрасиваний мама купила ему специальный резак в фотоотделе ГУМа. Потом в результате многочисленных переездов резак пропал, но кусок коробки затесался среди фотографий. На коробке было написано: "Изготовлено на Ленинградском оптико-механическом заводе, 1946, цена 1 р. 60 коп."

На некоторых фотографиях сестра на льду на фигурных коньках. На других — перед елкой в кокошнике Снегурочки. Были еще фотографии на качелях, на каруселях, перед клеткой слона в зоопарке. Удивительно, ни на одной фотографии она не улыбалась — смотрела прямо в объектив серьезно и внимательно, хотя потом все помнили ее улыбающейся.

— Скажи ей, чтобы надела куртку, — сказала ему как-то мать, — тебя она послушает. Ты же знаешь,

что она всё повторяет за тобой, все твои дурацкие шутки.

Это была сенсация. Появился кто-то, для кого он стал авторитетом.

БАХ. “КАПРИЧЧО НА ОТЪЕЗД ВОЗЛЮБЛЕННОГО БРАТА”

— Дедушка, — просят дети, — расскажи про Иосифа Прекрасного.

Дача в Баковке. Дедушка Нолик сидит в плетеном соломенном кресле на террасе. Он снимает очки в золотой оправе, протирает их и снова надевает.

— Это всё, конечно, сказки для детей...

— А мы и есть дети! — кричат они.

— Хорошо, — соглашается он. — У Иакова был брат-близнец по имени Исав.

Иаков был кротким, а у Исава тело было покрыто шерстью, он был искусным в звероловстве. Исав родился на пять минут раньше. Мой Даня тоже родился на пять минут раньше Арика. Они всегда ссорились. Арик стал радистом, пошел на фронт добровольцем, пропал без вести...

— Дедушка! Про Иосифа Прекрасного!

— Я и говорю, — продолжал дед, — Исав, как старший сын, должен был стать наследником отца. Но Иаков перехитрил брата. Сначала предложил голодному брату чечевичную похлебку в обмен на первородство. А когда умирающий отец хотел благословить Исава, их мать Ривка, которая любила Иакова больше, чем его мохнатого брата, подучила

его подойти к умирающему Исааку, одевшись в козлиную шкуру, и получить благословение. Слепой Иаков ощупал его и говорит: “Голос вроде Иакова, но шерсть Исава”. И дал ему благословение. Когда Исав понял, что его обманули, он хотел убить брата. Иакову пришлось бежать из Ханаана в Харран. Там он нашел своего дядю Лавана и стал на него работать. Лаван обещал отдать ему в жены свою младшую дочь Рахиль, если Иаков проработает семь лет. Через семь лет свадьба. Приводят невесту, закрытую покрывалом. Дома Иаков снимает с нее покрывало и видит, что вместо красавицы Рахиль ему подсунули ее старшую сестру Лию с больными глазами. Иаков бежит к тестю, а Лаван ему объясняет: нельзя младшую дочь выдавать замуж раньше старшей, это нарушение традиции. Вот поработай еще семь лет — получишь Рахиль. Деваться некуда, Иаков работает еще семь лет и получает вторую жену. Лия родила ему шесть сыновей.

Дед быстро, без запинки перечисляет имена, заученные восемьдесят лет назад:

— Рувен, Шимон, Леви, Иехуда, Иссахар, Зевулун. Рахиль родила двух: Йосефа и Биньямина. Были еще служанки. Служанка Лии Зелфа родила ему Гада и Асира, служанка Рахили Валла — Дана и Неффалима. Итого двенадцать детей — двенадцать колен Израилевых. Почему Израилевых? Потому что Иаков после того, как он боролся с Богом, стал называться Израиль.

У детей кружится голова от этой карусели жен, служанок, детей, имен и колен, но они терпеливо ждут их любимой финальной сцены. Дедушка продолжает бесконечную историю:

— Отец любил Йосефа и сделал ему разноцветную одежду. Все братья, кроме маленького Биньямина, возненавидели Йосефа, особенно после его сна, где солнце и луна поклонялись ему. Сначала хотели его убить, но решили, что выгоднее продать в рабство в Египет. Он попал в дом Потифара, а жена этого Потифара, ужасная женщина, потребовала, чтобы Йосеф разделил с ней ложе... В темнице он увидел вещий сон...

— Дедушка, — кричат дети. — Мы всё это уже знаем! Давай, как братья его не узнают.

Дед замолкает, потом продолжает. “Подойдите ко мне, говорит Йосеф. Посмотрите на меня. Неужели вы не узнаете меня, брата своего?”

Дедушка начинает рыдать. Дети терпеливо ждут. Они знают, что в этом месте надо рыдать, это будет длиться несколько минут, а потом история продолжится.

Много лет спустя, в пансионе Ламармора в Риме, Шуша начнет рассказывать Нике и Мике историю Иосифа Прекрасного. Когда дойдет до слов “неужели вы не узнаете меня”, у него из глаз хлынут слезы.

“Павловский условный рефлекс”, — думает Шуша, и только в этот момент до него наконец доходит, что именно заставляло деда плакать в этом месте. Деду слышался голос брата: “Неужели ты забыл меня, я брат твой, Левик!” Брат тоже на короткое время стал любимцем фараона, а потом тоже попал в темницу. Но даже если он и видел там вещие сны, это не избавило его от кирпичной стены киевского подвала.

UHER

Когда Джей исполнилось восемнадцать, родители заняли денег у дедушки Васи и подарили ей немецкий репортерский магнитофон с романтическим названием “Ухер”. Она придумала целую историю, что немецкую фирму основал русский эмигрант, который использовал для названия старинное русское слово, которое значило “слушатель”. Очень типичная для нее игра со словами, про свою собаку, например, она говорила: “Мой Татоша — ужасный лайнер”. Эту способность видеть неожиданный смысл в словах, вещах и событиях, которую для простоты можно назвать талантом, она сохранила даже в самые последние месяцы, когда ее сознание постепенно погружалось в хаос.

Со своим “слушателем” она не расставалась и записывала все подряд. Когда писала диплом про детский фольклор, записывала детей. Это было еще до эпохи компакт-кассет, и пленки были намотаны на катушки или — употребим более профессиональный термин — на бобины.

Много лет спустя, получив загадочную коробку, Шуша обнаружил в ней и бобины. “Ухеры” и другие профессиональные магнитофоны в Америке в то время уже не продавались, хотя за бешеные деньги их можно было найти на специализированных сайтах. Однажды Шуше в дверь постучал Тодд Костелло из соседней квартиры. Чем Тодд занимался и на что жил, было непонятно, но с утра до вечера из его комнаты доносились звуки классической музыки. Вкусы у него были разнообразными — от Палестрины до Шёнберга. Каждый раз, поднявшись на лифте, Шуша оста-

навливался у двери его квартиры и несколько минут слушал. Когда они сталкивались у лифта, что было редко, потому что Тодд почти никогда не выходил из дома, Шуша обычно говорил ему что-нибудь вроде:

— Вчера получил большое удовольствие от последней части Четвертой симфонии Малера.

Маленький худенький смуглый Тодд, одетый в черную майку и обтягивающие джинсы, расплылся в детской улыбке.

— Надеюсь, тебя не беспокоит моя музыка. Я всегда могу сделать потише.

— Что ты! — отвечал Шуша. — Делай погромче!

На этот раз вид у Тодда был испуганный.

— Прости ради бога, что я тебя беспокою, — сказал он. — Ты что-нибудь понимаешь в электронике?

— Что-то понимаю. Когда-то в детстве собрал детекторный приемник.

— Можешь зайти на минутку? Я абсолютная бестолочь в технике.

Квартира-студия Тодда представляла собой сочетание минимализма с гедонизмом. Почти все было белым — стены, ковер на полу, копии стульев Татлина, шторы, книжные полки, причем корешки книг тоже были белыми. Посредине стоял овальный обеденный стол, видимо, викторианской эпохи. Крышка стола была идеально отполирована, и на ней были разбросаны мужские носки очень ярких цветов. На стенах висели огромные черно-белые фотографии обнаженных мужских и женских тел, несколько напоминающие работы Роберта Мэпплторпа*. Ряз-

* Мэпплторп Роберт (*Mapplethorpe Robert*; 1946–1989) — американский художник, известный своими гомоэротическими фотографиями.

дом с огромной, *California King size*, белой кроватью стоял белый столик, а на нем, *oh, my god*, стоял “Ухер”, но не маленький репортерский, а студийный. Это был черный красавец, он стоял вертикально, на нем было куда больше кнопочек и стрелочек, чем на том старом у Джей. Большие матовые алюминиевые бобины с крестообразно расположенными прорезями напоминали ветряные мельницы, на каждой хорошо знакомым Шуше шрифтом было написано *UHER*. Бобины крутились, но звука не было. Быстро заглянув за магнитофон, Шуша мгновенно понял, в чем проблема: кабель, который шел в стереосистему, не был вставлен полностью. Тут в Шуше проснулась не свойственная ему крестьянская хитрость.

— Я, конечно, попробую разобраться, — сказал он. — Но у меня тоже небольшая просьба.

— Все, что ты хочешь! — отвечивал Тодд.

— У меня есть несколько бобин со старыми семейными записями. Мне нужно их переписать на компакт-кассеты. Кассеты я принесу.

— Господи! — воскликнул Тодд. — Да это мелочи. Кассеты можешь не приносить, у меня их целый ящик, я ими не пользуюсь.

Шуша сел на край кровати, повозился для приличия несколько минут, потом вдвинул на место кабель, и комната наполнилась хорovým исполнением шубертовской *Heilige Nacht*.

Через два дня Тодд постучал опять и со счастливой улыбкой вручил Шуше коробку с бобинами и компакт-кассетами. Наплевав на ужин и необходимость рано вставать утром, он отключил телефон и слушал всю ночь.

На одной кассете были хулиганские песенки, исполняемые ангельскими детскими голосами, на другой — занудная лекция о маниакально-депрессивном психозе. Потом он наткнулся на кассету, где Джей расспрашивает деда о его талмудическом прошлом.

ДЕДУШКА НОЛИК

— Мой папа заведовал ишиботом* в местечке Глуск, — рассказывает дедушка Нолик. — Там готовили шойхетов**, они должны были резать птиц. Масса тонкостей, знаете ли. Надо было знать, что такое кошер, что такое трэф***. Страшная вещь! Схластика! Когда моему брату Натану пришлось резать курицу в первый раз, он прекрасно справился. Потом пришел домой и грохнулся в обморок. Никто не мог привести его в чувство. К счастью, в этот день к богачу Глускину приехал из Бобруйска врач по фамилии Шульц. “У нас тоже есть Шульцы”, — сказал ему Глускин. Врач заинтересовался и зашел к нам. Увидел Натана без сознания и потребовал зажечь лампу. А в пятницу вечером этого делать нельзя, шабат. Папа был религиозный человек, но он сказал: “В Талмуде написано: спасение человека отменяет все запреты на шабат. Зажигайте”. Когда лампу зажгли, Натан очнулся, и врач был уже не очень нужен. Тем не менее его пригласили разделить с нами

* Ишибот (ишива, ешибот) — высшее еврейское учебное заведение.

** Шойхет — резник в еврейской общине.

*** Трэф — некошерная пища.

куриный суп. За столом выяснилось, что он наш родственник, двоюродный брат — мой, Натана, Левика и нашей покойной сестры Леи.

— Натан был старше? — голос Джей. Наверное, она сидит на табуретке со своим верным “Ухером” в руках.

— Да, старше.

— А отчего умерла Лея?

— Это была девочка легендарной красоты. Мама говорила: ну разве такие красавицы могут жить на свете? Ну, она и умерла. У нас с ней была общая скамеечка, мы всегда сидели рядом...

— А Левик?

— Левик был на два года младше. Он был избавлен от этой местечковой опеки, от всего, что я перенес, — ишибот, Талмуд.

— А что такого ужасного в Талмуде?

— Это страшная вещь! — возмущается дед. — Средневековая наука! Когда мне было семь лет, я должен был изучать бракоразводные дела. Все это давно умерло. Это схоластика, которая только на пользу антисемитам.

Пауза. Дед снимает очки, протирает платком слезящиеся глаза и неожиданно добавляет:

— Антисемиты, они были гои, язычники, а евреи были монотеистами... Ритуалы не менялись веками. При молитвах евреи надевают на голову такую штуку, талес. И еще на левой руке такая коробочка, тфилин. И длинный пояс, который завязывается как буква, название Бога, которое нельзя произнести. Ни один еврей никогда не произнесет этого слова. Имя состоит из таких знаков, которые считаются опасными, если произнести... А вообще-то все

это полная чушь! Левик этого благополучно избежал. В тринадцать лет вошел в революционное движение.

— Тоже не лучший вариант, — говорит Джей.

— Не лучший, — соглашается дед. — Уехал из местечка. Здорово изучил марксизм. Начал нелегальную работу. Подпольная кличка у него была Хашиц. Он был под большим влиянием Розалии Залкинд. Тоже из Белоруссии, из Могилева. Фамилию потом поменяла на Землячку. Партийная кличка у нее была Демон, очень подходящая. Страшная женщина, крайне нервная и больная. Она и Бела Кун были членами “Пятаковской тройки”, расстреляли в Крыму 120 тысяч белогвардейцев, которым Фрунзе обещал амнистию. Пятакова расстреляли в 1937 году, Куна в 1938-м. Розалия умерла своей смертью и теперь лежит в кремлевской стене. А Нина, жена Левика, русская девушка, боевая подруга, приехала к нам во время Первой мировой войны, увидела, как мама зажигает свечи и молится, — и стала проделывать то же самое, очень остроумная женщина. Она потом была подругой этой поэтессы, как ее, “Дневные звезды”...

— Ольги Бергтольц.

— Да, Ольги Бергтольц.

— Но ты рассказывал, что Левик потом бросил Нину, и у него появилась эта Аннушка, от которой он не мог ни на минуту оторвать рук.

— Он был совершенно без ума от Аннушки! К счастью, они не были официально женаты, это ее спасло. Когда началась революция, Лева поступил в институт Красной профессуры. Окончил его. Был послан в Кустанай. Стал делегатом Второго Всерос-

сийского съезда Советов от Кустаная. Потом был редактором “Кооперативного пути” в Центросоюзе. Потом написал книгу “Проблемы народонаселения с точки зрения марксистской социологии”. Пришел к Бухарину, чтобы тот написал предисловие. Тот спрашивает: какими источниками вы пользовались? Лева говорит — немецкими. А английскими? Лева говорит: английского языка я не знаю. А Бухарин ему: голубчик, нельзя братья за демографию, не зная английского языка, потому что немцы плохо знают демографию, а англичане — хорошо. Лева засел за учебники и так выучил английский язык, что его послали в Америку. Привез оттуда две теннисных ракетки племянникам Дане и Арику. Стал секретарем парторганизации Красной Пресни. В 1934-м попал на прием к Сталину, и тот его отправил на Украину наркомом земледелия — Левика, который никогда в жизни не держал в руках серпа...

— И молота? — острит Джей, пытаясь отвлечь его от грустных мыслей. — А помнишь, ты рассказывал про двух братьев у вас в гимназии?

Дед начинает излагать, сначала неохотно, потом все больше оживляясь.

— У нас в классе были два брата, Кроник Лев и Кроник Яков. Они такое вытворяли! Боже мой! Особенно Кроник Лев. Настоящий паяц. Кроник Лев поднимает руку. Что тебе? “Кроник Яков хочет выйти”. А почему ты поднимаешь руку? Он задумывается и садится. Через полчаса вдруг вскакивает и радостно кричит на весь класс: “Он мне сказал!”

Дедушка смеется. Джей тоже из вежливости улыбается, хотя ей непонятно, почему это смешно. Тем более что эту историю она слышала сто раз.

— Ты представляешь, — говорит дед, — прошло полчаса, все забыли, о чем речь, он вдруг вскакивает и кричит: “Он мне сказал!”

Дедушка смеется так, что на глазах у него появляются слезы. Джей видит, как они скапливаются за стеклами двойных очков в тонкой золотой оправе. Два пустых аквариума без рыбок.

Гимназия, в которой учился дедушка, была специально придумана для русификации еврейских детей. В дедушкином случае русификация сработала безотказно. Он постарался вычеркнуть из памяти все, чему его учили в хедере* и ишиботе, практически выучил наизусть и мог цитировать страницами русскую прозу и стал преподавателем русской литературы в военно-морском училище, где на его еврейский акцент никто не обращал внимания до самого 1948 года. Они с бабушкой прекрасно владели русским, но все-таки для обоих это был второй язык. Это можно было заметить по словоупотреблению — никогда не ошибочному, но иногда архаическому. Как-то Шуша приехал на дачу из Москвы на велосипеде. Дед уважительно посмотрел на него и сказал: “Я тоже в молодости ездил на велосипеде. Ты знаешь, я был удивительный гимнаст”. В 1960 году сказали бы “спортсмен”.

— Расскажи, как ты поступал в гимназию, — говорит Джей. Дедушка доволен.

— Вместе со мной поступал один мальчик из местечка. Он сам выучил по книгам русский язык и на вступительном экзамене читал стихи Пушкина. Читал прекрасно, с выражением. Единственная проблема — он не знал ударений, поэтому произносил:

* Хедер — начальная еврейская школа.

“Ночной эфир струит зэфир”. Очень талантливый мальчик. Геометрию тоже выучил сам, правда, слова *maximum* и *minimum* он произносил “тахитит” и “типитит”. Его, конечно, приняли.

— При индийского петуха расскажи, — просит Джей.

— У нас в гимназии был очень строгий учитель истории. Всем ставил только тройки и двойки. Объяснял это так: “Бог знает на пять, учитель на четыре, а ученик в лучшем случае — на три”. Когда ученик задумывался, учитель спрашивал: “Что ты молчишь?” Ученик отвечал: “Я думаю”. На что учитель медленно, почти по слогам произносил одну и ту же фразу, которую все мы знали наизусть: “Думают индийские петухи и се-на-то-ры. Ты не сенатор. Следовательно, ты...” — и весь класс хором: “Индийский петух!”

— Расскажи, как вы отрезали голову царя на портрете и приклеили ее к ногам.

— Это длинная история. В другой раз.

— Ну, тогда про Талмуд.

— Что там рассказывать. Я всю жизнь старался выбросить всю эту чепуху из головы. Нам было по девять лет, а мы должны были учить наизусть “Песнь песней”. Мальчики читали и заливались краской.

— А девочки? — интересуется Джей.

— О чем ты говоришь? Какие девочки в хедере!

Дед замолкает, видно, что он мысленно переводит с иврита. Потом медленно, с паузами произносит:

— Твой живот... круглая чаша, в которой не кончается вино; твое... чрево — сноп пшеницы... окруженный лилиями; груди твои... два козленка... А учитель нам объясняет: “груди твои” не надо понимать буквально, имеются в виду Исаак и Авраам.

Джей смеется.

— У нас даже был такой анекдот, — продолжает дед. — Ученик приходит в хедер сонный, с опозданием на час. “Что с тобой?” — спрашивает учитель. “Да вот, всю ночь пытался разобраться, где Исаак, а где Авраам”.

Теперь оба смеются.

— Не понимаю, — говорит Джей. — Я бы лично предпочла учиться в хедере, чем в советской школе.

— Ты не понимаешь! — возмущается дед. — Это схоластика! Средневековая наука. У них даже имя Бога нельзя было произносить вслух.

— А у Бога есть имя? — спрашивает Джей. — Какое?

— Ну... ммм...

Дед шевелит губами. Джей смотрит на свой “Ухер”. Стрелка громкости не шевелится, звука нет.

ГОСТЬЯ НИОТКУДА

Семья дедушки Нолика была одной из самых бедных в местечке Дуск. Еды всегда не хватало. Привычки голодного детства сохранились у дедушки даже в сравнительно сытые 1960-е. Летом на даче, когда вся семья садилась ужинать, он быстро говорил:

— Я не голодный, мне не кладите!

Его уговаривали. Он в конце концов соглашался:

— Ну хорошо, тогда совсем чуть-чуть.

Киевская семья бабушки Ривы была богатой. Дед Ривы по матери, Бер-Ицхок, владел стекольными заводами и конюшней. Дед по отцу, реб Мендл, был

раввином. Его сын, бабушкин отец, Исраэль, тоже был раввином. Это значит, что с утра до вечера он должен был сидеть и читать Талмуд, а все хозяйство — дети, еда, стирка, ремонт крыши и тому подобные бездуховные материи — лежали на могучих плечах его жены Сура-Ханы.

У Ривы было три сестры и два брата. Рива была старшей из дочерей, потом шла рано умершая Блума, потом Соня, за ней самая младшая, Рахиль. Старший брат Арье был на год старше Ривы, а Залман — на год младше Сони.

В 1924 году Исраэль, вместе с тысячами других евреев из Восточной Европы, решил переехать в Палестину, где после Первой мировой войны кончилась власть Османской империи и начался “Британский мандат”. Сура-Хана и Залман поехали с отцом. Залман, который, примерно как дедушка Нолик, считал свое пребывание в хедере пыткой, а Талмуд — средневековой схоластикой, по дороге передумал ехать в Палестину. Он отправился в Ригу, оттуда в Неаполь, там сел на пароход “Адриатик”, где познакомился с другими эмигрантами, в частности архитектором Олтаржевским, и доплыл до Нью-Йорка. Там он вскоре основал журнал *Yiddishe kultur*.

Остальные сестры и брат Арье к этому времени жили уже в Москве. Соня была связана с театром “Габима”. Он возник в Вильно в 1913 году, а в 1917-м его создатель Давид Цемах попросил Станиславского помочь перевезти театр в Москву. Тот выделил им студию во МХАТе и назначил руководителем Вахтангова. Идею еврейского национального театра поддержал нарком по делам национальностей с пар-

тийной кличкой Коба, но к 1948-му понял, что это была ошибка молодости.

В 1922 году, незадолго до смерти, Вахтангов поставил в “Габиме” знаменитый спектакль “Диббук” с декорациями Натана Альтмана и музыкой Юлия Энгеля. В 1926 году “Габима” отправилась в европейское турне, а в конце того же года начались гастроли в США. В июне 1927 года большая часть актеров, включая Соню и ее мужа Бен-Хаима, вернулась в Европу, а оттуда переехала в Палестину. В первые годы между Москвой и Иерусалимом шла бурная переписка. Самое первое письмо из Палестины были встречено московскими родственниками с некоторым недоумением.

“Дорогие, — писала Сура-Хана, — у нас большое несчастье, нас обманули! С деньгами было трудно, мы решили купить мешок картошки, чтобы продержаться до весны. Когда же мы притащили с рынка этот тяжеленный мешок домой и развязали его — о ужас, сверху лежало несколько картофелин, а остальное — апельсины!”

В конце 1920-х родственников за границей уже надо было скрывать, и переписка прекратилась. Но в 1965 году произошло сенсационное событие — Соня внезапно объявилась в Москве. Ее сестры и брат не видели ее около сорока лет и даже не знали, жива ли она. Соня каким-то образом узнала телефоны родственников, позвонила всем, и встреча была назначена на субботу, 6 июля, у Шульцев на Русаковской — там, по крайней мере, была одна большая комната и стол, за которым все могли поместиться.

Все волновались и никак не могли решить, как нужно одеваться для такой встречи. Бабушка Рива

достала из потайной шкатулки серебряную брошку с маленькими синими камешками и приколотла к своему строгому серому платью. Мама Валя надела Шушино любимое темно-зеленое платье с желтыми листьями и накрасила губы, чего почти никогда не делала. Мужчины по случаю жары были в светлых рубашках без пиджаков. Одна только Соня, маленькая горбатая старушка с умным пронизательным взглядом, выглядела совершенно спокойной. На ней были пыльные сандалии, длинная юбка и легкая полувоенная рубашка, обе песочного цвета. Такие рубашки Шуша позднее обнаружит в магазине *Banana Republic* в Лос-Анджелесе.

Когда все расселись, начался разговор. За полвека советской власти у московских родственников не могло возникнуть опыта общения с иностранцами, тем более с иностранными родственниками, которых у советских граждан по определению быть не могло. Они всё никак не могли найти правильную интонацию и не решались задавать вопросы. Вопросы в основном задавала Соня. Шушу поразило не столько то, что она говорила, сколько ее русский язык — свободный и лишенный советизмов, школа Вахтангова давала себя знать. Ей было интересно все — как они живут, что делают, о чем думают. Серьезно отвечать на ее вопросы родственники не решались. Говорили: “Ну, Соня, ты ж понимаешь...” Тогда она обратилась к Шуше:

— Ты что-нибудь знаешь про еврейские традиции и обряды?

— Конечно, — самоуверенно ответил третьекурсник.

— Знаешь, например, что значит “лехаим”?

— Конечно, заливная рыба.

На лицах дедушки и бабушки, которые всю жизнь добросовестно уберегали внуков от “схластики иудаизма”, появилось выражение ужаса.

Соня засмеялась:

— Придется тебе приехать к нам и узнать, что такое “лехаим”. Заодно поработаешь в кибуце.

— А что такое кибуц?

— Приедешь — узнаешь. Я пошлю вам с Джей приглашения. Может быть, даже заработаете немного.

— Соня! — воскликнул Шуша. — Ты не понимаешь, где мы живем! Нас никто не отпустит за границу.

— Дорогой мой, — ответила Соня, — я знаю, где вы живете, немножко лучше, чем ты. Времена меняются. Сейчас это уже можно. Многие мои знакомые съездили к родственникам в Израиль и даже вернулись обратно.

В этот миг привычная картина мира в голове Шуши стала рассыпаться.

Мир расширился до бесконечности. Границы СССР утратили статус “нерушимых”. Они с Джей могут полететь в гости к двоюродной бабушке. А когда придет время возвращаться, кто сможет заставить их лететь обратно в Москву, а, скажем, не к двоюродному дедушке в Нью-Йорк? Или в Йель, поступать на архитектурный факультет, где учился Ээро Сааринен, построивший легендарный терминал TWA*?

* Сааринен Ээро (*Saarinен Eero*; 1910–1961) — американский архитектор финского происхождения.

TWA — терминал одноименной авиакомпании в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Построен в 1955–1962 гг.

Когда Соня уехала, родители попытались нейтрализовать опасную информацию.

— К счастью, вас никто не отпустит, — говорили они. — А если каким-то чудом и отпустят, подумайте, что будет с нами. У нас тоже есть несколько знакомых, которые съездили в Израиль и вернулись, но это все пенсионеры, им терять было нечего. А мы оба потеряем работу. Не портите жизнь себе и нам!

Контрпропаганда сработала. Приглашение Сони осталось без ответа. Идея, зароненная в сознание Шуши, зрела медленно, и в терминал TWA он попал только через шестнадцать лет.

ОТЕЦ

Дедушка Нолик, переживший войну, революцию, погром, террор и гибель любимого брата, готовил сыновей Даню и Арика к будущим жизненным катастрофам не совсем обычным способом — он развивал в них скорость реакции и чувство юмора.

— Кто первый скажет, сколько будет тридцать семь умножить на три? — неожиданно спрашивал он.

Эту игру “кто первый” или “кто лучше” близнецы усвоили в раннем детстве и потом продолжали ее уже без провокаций.

— Я старше! — кричал Даня.

— На какие-то пять минут, — возмущался Арик. — Зато я лучше знаю математику.

— Кому нужна твоя математика!

— А кому нужен твой немецкий язык!

— А вот когда в Германии победит советская власть, тогда узнаешь.

У близнецов часто менялось настроение. Было ли это следствием Киевского погрома, когда Рива и Наум, держа в руках двух новорожденных младенцев, бежали всю ночь из горящего города, или результатом генетической лотереи — науке установить не удалось.

— Не подает, — объяснял Арик, когда остроумный ответ не приходил ему в голову. При этом он показывал куда-то в нижнюю часть живота, как если бы там у него находился генератор энергии. А если у Дани “не подавало”, он просто замыкался в себе и избегал общения.

Таковыми перепадами настроения особенно отличались английские поэты XVIII века. Даниил Шульц перевел “Оду Меланхолии” Китса на немецкий, но немцы ничего не поняли, меланхолия была им неизвестна, и перевод остался неопубликованным. Когда читаешь воспоминания о Маяковском, всегда кажется, что речь идет о двух разных людях. В одних это человек с мгновенной реакцией, заражающий всех энергией, непрерывно выдающий блестящие экспромты. В других — мрачный, неконтактный, депрессивный. Возможно, именно эмоциональное сходство с Маяковским помогло Даниилу Шульцу стать “лучшим переводчиком Маяковского на немецкий язык”, как писал литературный критик газеты *Süddeutsche Zeitung*.

В мрачные периоды Шульц-старший избегал людей. Но для Шульца-младшего в них была своя прелесть. Вот ему пять лет, отец лежит в кровати, а мама

говорит, что папа плохо себя чувствует. Шуша залезает к нему в кровать, и папа два часа подряд поет песни своей молодости — холодные волны вздымает лавиной, там вдали за рекой, мы красная кавалерия. Восторг! Его даже не повели в ненавистный детский сад.

Раздвоенность отца проявлялась во всем — с одной стороны, в уважении к авторитетам, в стремлении к высокому покровительству, в страстном желании продвинуться на самый верх советской иерархии, с другой — в невозможности не высказать вслух пришедшую в голову любую, пусть даже святотатственную, остроту. Это делало его желанным гостем на любых застольях.

— Он был павлин, — рассказывала потом подруга родителей Муха. — Невозможно забыть. Вот все садятся за стол, и Даня начинает распускать хвост. Это было прекрасно. Если представить себе эти годы без твоего отца, они были бы намного скучнее. Весь наш скепсис и цинизм по поводу власти никогда бы не был осознан и сформулирован, если бы не было Дани.

Один из секретов его юмора — способность видеть в словах не то, что всем кажется очевидным. В слове “овощ”, например, он видел “О, Валя! О, Щеголева!” — Щеголева была девичья фамилия Шушиной матери. Можно было бы предположить, что это было навеяно Маяковским, который в слове “люблю” видел аббревиатуру ЛЮБ — Лиля Юрьевна Брик, но это скорее говорило о сходстве их мышления. Оно заметно и в скорости реакции. Когда Даню спросили про его впечатление от фильма Бондарчука “Война и мир”, он не задумываясь ответил:

“Актерская работа замечательная, съемки удивительные, режиссура — первый класс. Роман — говно”. Его хохмы и сатирические стишки ходили по рукам.

1949 год. В мире происходят серьезные вещи. Иосиф поссорился с Иосипом.

“Стоит мне пошевелить пальцем, не будет Тито”, — сказал Сталин. Пошевелил — не получилось. Тито ответил: “Сталин. Перестаньте посылать ко мне убийц. Мы уже поймали пятерых, одного с бомбой, другого с винтовкой. Если не перестанете присылать убийц, то я пришлю в Москву одного, и мне не придется присылать второго”.

Папа приезжает на дачу после партсобрания, возбужденный.

— Знаешь, кто наш главный враг? — спрашивает он пятилетнего Шушу.

— Америка?

— Нет, — радостно произносит отец. — Югославия!

Слово “Югославия” Шуше не говорит ничего. Впрочем, “Америка”, про которую часто говорят по радио, тоже.

Вечером отец возится на террасе, стараясь вставить темно-красную книжку в черную плоскую металлическую коробку с выдвигающей крышкой. Книжка слишком толстая, и крышка не вдвигается.

— Что это за коробочка? — спрашивает Шуша.

— Это кассета от старого фотоаппарата. Там хранился стеклянный негатив, чтобы на него не попал свет.

— А что ты туда засовываешь? — спрашивает Шуша.

— Партийный билет, — говорит отец с гордостью. — Сегодня получил.

— Он от света может испортиться?

— Нет-нет, я просто хочу, чтобы он был в полной сохранности.

— А у тебя есть еще одна кассета?

— Есть. А что?

— Я хочу спрятать туда свой билет.

— У тебя есть?

— Я сделаю. Дай мне бумагу и ножницы.

Отец достает из портфеля еще одну кассету, пачку белой бумаги и ножницы, с которыми он никогда не расстается. Такую бумагу купить нельзя, ее выдают членам Союза писателей. Шуша разрезает лист пополам, складывает обе половинки еще раз пополам, получается книжка с четырьмя страницами. Потом цветными карандашами начинает перерисовывать папин партийный билет. К вечеру оба партийных билета благополучно заправлены в кассеты.

— Ты мне расскажешь сказку? — спрашивает он отца, уже лежа в кровати.

— Я сочинил тебе песню. Спеть?

Ладно. Отец поет:

Вот стоит на посту часовой,
Дни и ночи страну хранит.
Спи спокойно, мой дорогой,
Потому что Сталин не спит.

Шуша засыпает счастливый.

Пять лет спустя на открытии Кольцевой линии метро Шуша с родителями поднимается по эскалатору.

Отец смотрит на вертикальные светильники, заканчивающиеся бронзовыми коронами, и громко произносит: “На полной скорости движемся к монархии”. Это не столько остроумие, сколько точное наблюдение, все еще святотатственное: Сталин уже умер, но хрущевская кампания против “излишеств” еще не началась. Мама испуганно шепчет: “Тише! Тише!”

Любовь отца к Сталину постепенно угасала. Шуша вспоминает, как он пришел домой из школы в день смерти Сталина. Мать сидит на диване и плачет. Диван покрыт колючим ковром. На матери темно-зеленое платье с желтыми листьями. Перед ней стоит отец в сером полосатом пиджаке с большими лацканами, углы голубой рубашки выпущены поверх пиджака. Он смотрит на мать.

— Что ты плачешь? — холодно спрашивает он.

— Ты не понимаешь! — отвечает мать, вытирая платком глаза. — Нас теперь сомнут! Кто нас защитит?

День, когда Шуша понял, что унаследовал от отца перепады настроения, он запомнил навсегда: 15 сентября 1959 года. Шуша сидел дома на диване. Отец вышел из-за занавески, отделяющей его альков от общей комнаты, и спросил:

— Что такой грустный?

— Да так, что-то настроение плохое.

Отец понимающе кивнул и, помолчав, добавил:

— Когда выпадет снег, все будет хорошо.

Первый снег выпал 7 ноября. Настроение заметно улучшилось.

1 января 1964 года отец подарил ему ежедневник. На серой клеенчатой обложке была выдавлена

надпись “Центральный дом литераторов”. Каждая из 365 страниц была разлинована. На авантитуле была цветная фотография, но не красивого фасада ЦДЛ с улицы Воровского и даже не унылого фасада, с керамической плиткой телесного цвета, с улицы Герцена. Это была фотография Красной площади, снятой, судя по ракурсу, с Никольской башни. На фотографии виден мавзолей, Сенатская и Спасская башни, чуть левее — Собор Василия Блаженного, а еще левее вдали — высотка на Котельнической, в которой через два года появится кинотеатр “Иллюзион”, а еще через год Шуша посмотрит там трогательный шведский фильм “Эльвира Мадиган” с музыкой Моцарта. Если бы он увидел этот фильм на семь лет раньше, он, возможно, попытался бы уговорить Рикки, свою тогдашнюю любовь, бежать с ним в леса, а потом совершить совместное самоубийство, как это сделали герои фильма. К счастью, фильм запоздал, а к 1967 году Шуша уже был отличником в МАРХИ, собирался жениться на однокурснице, и трагическая романтика его больше не привлекала.

1 января 1965 года он по привычке открыл дневник. На первой странице, как и на многих других, уже была прошлогодняя запись. Подумав минуту, он начал писать под ней. После нескольких лет такого дописывания “день в день” он с удивлением обнаружил, что новая запись иногда дословно повторяет одну или несколько предыдущих на той же странице. Некоторые страницы содержали фразы “упадок сил”, “день неудач”, “ничего не происходит” и “всё плохо”. Чаще всего они приходились на сентябрь и март. В оптимистических записях

упоминалось получение денег, новые романтические знакомства, перечисления фейерверка событий за один день, мечты и планы, часто нереалистические.

Когда Шуша рассказал отцу о своем открытии, тот был поражен.

— Гениально! — воскликнул Даниил. — Записывать мысли одного числа, но разных лет на одну страницу. Как ты к этому пришел?

— Случайно. Дневник за 1964-й кончился, а заводить новый не хотелось. А почему ты удивляешься? У тебя самого состояние связано с временем года. Помнишь, ты мне сказал: “выпадет снег, и все будет хорошо”?

— Да, но ты пошел дальше. Если у тебя нерабочее состояние, ты можешь просто пролистать вперед и узнать, какого числа начнется подъем. Этим дневником ты себя уже практически вылечил.

После этого разговора Шуша стал внимательно изучать свой сильно распухший от вклеенных и вложенных страниц ежегодник и отмечать синим маркером все печальные записи, а желтым все позитивные. Типичный сентябрь — всё плохо, октябрь — уже виден просвет, декабрь — эйфория.

От отца Шуше достался еще один секрет — в классической форме отцовского абсурдизма: “Чтобы сделать любое дело, надо приложить усилий в два раза больше, чем нужно, чтобы сделать это дело”. Потом много раз Шуша убеждался в точности этого афоризма.

JEWISH GIRL

У нее было нормальное русское имя, но все называли ее Джей. В русском контексте имя воспринималось скорее как мужское. В раннем детстве она называла себя “кот Мурзик” и говорила о себе в мужском роде: я пришел, я проголодался. Потом, правда, стала считать себя “свинкой” и коллекционировать картинки и игрушки, изображающие свинок. Их у нее набралось не меньше тридцати.

Вообще-то, имя было Джей-Джи. Имелось в виду *JG, Jewish Girl*, хотя еврейской крови в ней была только половина, и то не по матери, и на еврейку она была совсем не похожа. “Джи” со временем утерялось.

От нее исходила удивительная легкость. Не красавица, но взгляд ее темных глаз, “цвета неочищенной нефти”, как говорил Социолог, завораживал. Когда шестнадцатилетнюю Джей увидел режиссер Ложкин, к тому времени уже перетрахавший всех своих несовершеннолетних актрис, он задумчиво произнес:

— Есть еще девушки, на которых можно жениться.

Но на нее Ложкин произвел скорее отталкивающее впечатление. У нее вообще была способность сразу видеть, нужен ей человек или нет, — не по делу, а в смысле музыкальной гармонии, что ли. Потом эта способность пропала, и последние несколько лет своей жизни, к радости мужа и огорчению брата, она провела с теми, кто был нужен по делу. Странно, потому что единственным делом, которым она в то время серьезно увлеклась, было знакомство с людьми, полезными для дела.

Теплый свет, исходивший из ее глаз, постепенно угасал, взгляд становился холодным и оценивающим. Она теперь учила английскому языку “детей советской буржуазии”.

— Буржуазия? — возмутился Социолог. — Какая может быть буржуазия без собственности?

В 1975-м, когда “Битлз” пели в Кремлевском дворце съездов, а попасть туда было невозможно, Джей решила, что она попадет. В ее глазах снова появился огонек. Яркий, но холодный. Добыла где-то прямой телефон администратора Дворца съездов. Позвонила.

— С вами говорят из Всемирного Совета Мира, — сказала она первое, что пришло ей в голову.

— Откуда?

— Из Всемирного Совета Мира.

Долгая пауза.

— От Иванова, что ли?

— Ну да!

— А, ну так бы и сказали. С Ивановым мы хотим дружить. Чего он хочет?

— Нам нужно тринадцать билетов на “Битлз”.

— Ммм, тринадцать не обещаю. Как вас зовут?

— Лена, — Джей назвала первое попавшееся имя.

— Леночка, можете называть меня просто Михаилом. Дайте ваш телефон. Я вам позвоню, а вы пока составьте список. Вписывайте пока всех, но тринадцать не обещаю. И скажите Иванову, что он нам будет должен, и не тринадцать, а все тридцать.

Следующие три дня Михаил с Леночкой перезванивались по пять раз в день. Иванов оказался директором кинотеатра “Мир”, где, как выяснилось, тоже

бывали закрытые просмотры. Шушу она включила в список, но тот категорически отказался идти.

— Всех вас будут ждать у входа с наручниками, — сказал он, но Джей была в эйфории, и такая мелочь, как наручники, ее остановить не могла.

В день концерта все, кто был в списке, собрались, как им было сказано, у Кутафьей башни. Ждали Джей. К ним подошел охранник в форме и спросил, кто из них Елена.

— Она опаздывает, — сказали ему.

— Ждать никого не можем. Если хотите попасть, идите за мной.

Они пошли. Джей так и не появилась. Она, оказывается, пришла на час раньше и все это время болтала с Полом Маккартни. Он подарил ей диск *Abbey Road*, на котором расписались все четверо, каждый под своей фотографией, а Пол еще приписал *JG, I love you*. Она потом забыла этот диск в электричке.

АНЬКА: ЗАГОРСК

Мой отец, композитор-авангардист, тоннами поглощал книги по психологии.

Сначала это была психология творчества, типа “как стать гением”. Все у него было в порядке: секретарь Союза композиторов, дача в Пахре, черная “Волга”... Но гением он не был. В их компании должность гения уже была занята Арчилом, тот слезать с нее не собирался. Потом пошли книги о психологии секса и отношений. С мамой у них всегда были проблемы, они вечно запирались в его кабинете и громко эти отношения выясняли. В таких случаях

я надевала наушники и включала на полную громкость кого-нибудь из любимых (настоящих!) авангардистов — Берга или Веберна. Когда родители наконец развелись, мне было четырнадцать. Тут папаша переключился на книги о детских травмах. Чтобы у меня не возникло травмы от потери “фигуры отца”, всюду таскал меня за собой. Четыре года “полового созревания” я провела в компании друзей отца, сорокалетних мужчин, часами разговаривающих о пифагорействе, эолийском строе, додекафонии и параллельных квинтах.

Все они были уверены, что я тайно влюблена в Арчила (что было правдой) и что скоро он на мне женится (что было шуткой). Он был *perfect male*, вокруг него не было не влюбленных в него женщин. Сначала я влюбилась в его музыку, что-то среднее между Пяртом и грузинским хоровым пением, а потом выяснилось, что это была сублимация, на самом деле мне нужен был он сам — такой бритый наголо Жан Маре, с потухшей трубкой в зубах, в замшевых пиджаках. Когда мне исполнилось семнадцать, я поняла, что надо действовать. Для грузина дочь друга — это святое, лишить ее невинности — грех. Значит, надо было избавиться от этого препятствия — невинности. Но как и с кем? Ровесники мужского пола казались мне дебилами. Мысль о физическом контакте с ними вызывала отвращение. Потом меня осенило: совсем не обязательно, чтобы это было правдой, главное — сказать.

Как-то мы остались вдвоем в папашинной квартире, и я произнесла заранее отрететированную фразу: — Ах, Арчи, я так тебя люблю, что ради тебя даже лишилась невинности.

Дальше все было как в плохом кино. Он грубо схватил меня за руку и потащил на улицу. Молча впихнул в такси и всю дорогу до его дома не произнес ни звука. Заговорил только, когда мы вошли в комнату:

— Тебя раздеть или ты сама разденешься?..

На следующий день вся компания должна была, как всегда, собраться у папы. Я дрожала от страха: как он будет себя со мной вести и как мне себя держать? Но он таким же ласковым голосом попросил чайку и после этого ни разу не взглянул на меня. Я поняла, что проиграла. Единственный человек, которому я рассказала об этой истории, была Джей. Она слушала с широко раскрытыми глазами, а потом сказала:

— Где-то под Загорском есть бабка, которая умеет привораживать.

— Узнай где! Я поеду. Мне нужно.

— Я с тобой.

— А тебе-то зачем? Привораживать?

— Нет, — говорит Джей, — скорее наоборот, но я не для этого. Мне интересно.

Через неделю мы выходили из электрички в Загорске. Лето. Пыль. Мухи.

Стоит разбитое такси. Мы растерянно оглядываемся по сторонам. Окно водителя открывается:

— Вам к бабке?

Мы обе застываем от изумления, и Джей вдруг принимается руководить:

— К бабке.

— К дальней или ближней?

— А чем они отличаются?

— Сестры. Старшая — подальше живет. Она и порчу навести может. А младшая, та только привораживать. Но зато ближе и всего сорок.

— Нам без порчи.

— Значит, порядок такой. Даешь мне сорок рублей. Я везу к ближней бабке и жду, сколько надо, а потом везу обратно на вокзал.

— Сорок за двоих?

— Да, там еще бабке заплатить придется, но там не много, рублей пять с каждой, ближняя не жадная.

— Поехали, — решительно говорит Джей.

У меня, разумеется, сотня припасена.

— Я еду по разбитой дороге, — говорю я, — в разбитом такси и с разбитым сердцем.

Джей фыркает:

— Давай без литературных красот.

Всю остальную дорогу трясемся молча.

— Мне засвечиваться нельзя, — говорит таксист. — Я тут машину поставлю, а вы направо за этот колодец. Там увидите, машины стоят у избы.

Мы поворачиваем направо за бревенчатый колодец с железной ручкой и ржавым ведром. Прямо перед нами семь или восемь машин. Два “мерседеса”, черный “ситроэн”, такой, как у Рихтера, и еще какие-то незнакомые. В каждой шофер. Изба ветхая, вот-вот развалится. Джей с трудом открывает скрипучую дверь. Внутри темно, в глубине можно различить какое-то мерцание. Когда глаза привыкают к темноте, я понимаю, что это блеск бриллиантов, — на лавке вдоль стены сидят хорошо одетые женщины. От другой стены отделяется фигура: сгорбленная бабка в калошах подходит к нам.

— Маня вон в той комнатке принимает, — говорит она ласковым голосом, — а я ей помогаю. Давайте мне, доченьки, по пять рублей и садитесь на лавку. Я все Мане говорю, что ж ты по пять рублей берешь, смотри, на каких машинах приезжают. А она говорит, нельзя. А деньги все мне отдает. Если, говорит, больше брать и себе оставлять, сила пропадет. Ну я, конечно, на эти деньги ей продукты покупаю, только она ест мало.

— Она одна пойдет, — говорит Джей. — Я просто провожаю.

Через сорок минут я вхожу в комнатку. Маня, в телогрейке и валенках, несмотря на лето, сидит в углу на лавке под иконой, пристально смотрит на меня.

— А ты, доченька, и не говори ничего, я все вижу. Тебе приворожить надо. Ты мне только скажи, ты его видишь когда-нибудь?

— Почти каждый день.

— Тогда пойди сейчас в сельпо, налево за колодецем, еще пять домов. Купи там колотый сахар, двести грамм. И приходи ко мне. Без очереди.

Я выскакиваю в сени, хватаю Джей, и мы несемся в сельпо. На всякий случай беру килограмм колотого сахара. Его заворачивают в кулек из мятого пожелтевшего обрывка “Литературной газеты” за 26 января 1937 года, где можно прочитать “...антисоветского троцкистского центра — обвини...”. Мы бежим обратно, и я вхожу в комнатку без очереди.

— Зачем столько купила? — сердито спрашивает Маня. — Сказала тебе: двести грамм. Вот это оставь, а это я Фекле отдам. Теперь смотри, здесь святая вода, заговоренная.

И дальше нараспев:

— Кусочек сахара отколешь, святой водичкой покропишь и в чай ему бросишь. Как он отхлебнет, так с места не встанет, на тебя посмотрит и глаз отвести не сможет. А если какая одежда его попадет, то и ее покропи. Еще сильнее приворожишь.

Я схватила пакет и бутылочку, в сенях махнула рукой Джей, и мы бегом обратно к такси.

ГЛОБУС

У Розалии Самойловны Тартаковской был глобус. Когда маленький Шуша сталкивался с ней на лестнице, она всегда говорила:

— Деточка, зайди ко мне, я дам тебе покрутить глобус.

Он заходил, потому что был послушным ребенком, но глобус его не очень привлекал. Его и правда можно было крутить, но сколько можно крутить глобус.

Все в ее комнате, кроме глобуса, было розовым. Долгое время Шуша был уверен, что Розалию называли под цвет комнаты.

Милочка, дочка Розалии, была учительницей английского. Когда Шуше исполнилось девять, он стал два раза в неделю ходить к Тартаковским на первый этаж, заниматься с Милочкой английским в ее крошечной комнате. Первый урок был самым трудным, надо было произнести *Pete has a hat in his hand*. От этого “хэ-хэ-хи-хэ” заплетался язык. Потом пошло легче. Милочка казалась Шуше идеалом женской красоты — маленькая, худая, с черными глазами, и если бы не вечная сигарета в тонких пальцах, была бы

похожа на кузину Дину, его предыдущий идеал женской красоты.

Когда патологически непрактичные родители затеяли ремонт, который продолжался два года и погрузил семью в бесконечное болото долгов, находиться в квартире стало невозможно. Шушу отправили сначала на Таганку к дедушке и бабушке, маминым. Раскладушку в их единственной комнате поставили под иконой Василия Кесарийского с лампадой, в которую рукодельник дедушка Вася сумел ввинтить крохотную лампочку Ильича. Потом, когда выяснилось, что конца ремонту не видно, Шушу предложили взять к себе родители Физика, считавшие, что “мальчикам будет веселее вдвоем”. На Таганке десять семей пользовались одним туалетом, одной кухней и одной ванной, предназначавшейся, разумеется, не для мытья, а для стирки. Семья Физика жила в гигантской сталинской квартире из четырех комнат, где на стенах висели полотна подпольных абстракционистов, а в гостиной на тщательно натертом паркетном полу стоял концертный рояль.

Мать никуда уехать не могла, ей надо было ругаться с малярами, паркетчиками, кафельщиками, электриками, столярами и водопроводчиками, которые изобретали всё новые проблемы и взвинчивали цены. Только в страшном сне можно было представить себе близорукую и сердобольную маму Валу в роли прораба.

Чтобы положить паркет, убеждали ее паркетчики, надо сменить прогнившие доски пола. Чтобы повесить привезенные из Болгарии люстры, говорил ей интеллигентный электрик Эдуард Юрьевич, надо было штробить потолок.

Эдуард Юрьевич, сильно отличавшийся от прочих маляров, паркетчиков, водопроводчиков и кафельщиков, вежливо объяснял Вале, что когда он будет штробить, в квартире будет такое количество ядовитой известковой пыли, что им всем лучше на один день уехать. Шуша все еще жил в квартире Физика. Валя с Джей решили переехать на один день к Мухе. Отец и так под любым предлогом сбегал из дома. Главной проблемой для него был дневной сон, без которого он не мог функционировать, а в квартире стоял грохот. На помощь пришла Розалия Самойловна.

— Данечка, — сказала она, — комната моего покойного мужа стоит совершенно пустая. Вот тебе ключ, ты можешь приходить в любое время дня и ночи и спать в его комнате сколько твоей душе угодно. Я уже постелила там чистое белье.

Это было спасением. Он уходил туда поспать днем, а теперь, по совету Эдуарда Юрьевича, переехал туда на сутки. Когда ремонт наконец закончился, Шуша и Джей получили по отдельной, хотя и крохотной, комнате, а Даня — вполне приличный кабинет. Валя довольствовалась диваном в гостиной. Даня по привычке продолжал ходить спать к Тартаковским днем. Иногда ночью. В какой-то момент перенес туда пищащую машинку. Потом выяснилось, что Милочка ждет ребенка.

АНЬКА: СНОВА ЗАГОРСК

Мне было забавно смотреть, как Шуша и Джей становились стихийными нищееанцами. Даниил Наумович был для них *Übermensch*, а у Валентины Васильев-

ны была “рабская психология”. Все в ней раздражало. Ремонт все никак не заканчивался, с рабочими торговаться она не могла и переплачивала вдвое. Писала себе на бумажках список дел на каждый день, редко их выполняла, и эти дела потом много месяцев переползали с бумажки на бумажку. Они делали то же самое, но считали это “свободой от догматизма”.

Мать была очень критична к себе, к своей внешности и к своим способностям. Никогда не могла написать статью, потому что, написав первую строчку, сразу начинала ее редактировать и переписывать. Отец, наоборот, мог в любой момент выдать любое количество перевода или посредственного собственного текста и всегда был доволен. Но, конечно, больше всего детей раздражала ее преданность мужу, который изменял ей направо и налево, почти не скрываясь. А что она должна была сделать — хлопнуть дверью и уйти? Они лишились бы семьи, дома и средств к существованию, ведь сама она зарабатывала во много раз меньше отца, что тоже в их глазах снижало ее статус.

Потом, когда они начали сами что-то зарабатывать и жить отдельно, все изменилось. Прямо по Марксу, бытие определило сознание. Мама стала хорошей, она их подкармливала, когда они забегали домой, а работы ушедшего из семьи отца стали “чересчур советскими”. Он по-прежнему дарил им все свои переводы и сочинения с трогательными надписями в стихах, а они с кислой мордой выдавали вымученные комплименты. Этот *Übermensch* не мог жить без обращенного к нему восхищенного взгляда, поэтому ушел к черноглазой Милочке, там этот взгляд выдавали ему круглые сутки.

Одно лето мы жили большой компанией в Коктебеле. Захожу как-то днем к Шульцам — Шуша лежит на кровати и читает “Былое и думы”.

— Купаться не идешь?

— Нет, буду читать.

На следующий день опять захожу — он опять на кровати, опять “Былое и думы”. Рядом на одеяле разорванный конверт.

— Купаться не идешь?

— Нет.

— Что пишут? — показываю на конверт.

— Да так, ерунда. У отца ребенок родился.

Ничего себе ерунда. Два дня подряд лежать на кровати и читать Герцена, причем одну и ту же главу, где Наталья собирается уйти к Гервегу.

На третий день — всё. Герцен отложен, пошел с нами купаться. Пережил. С Джей все оказалось сложнее.

Я вернулась в Москву, звоню ей. Она не отвечает. Звоню неделю — не отвечает. Потом она звонит. Слышно плохо, голос странный, стоит какой-то звон.

— Ты откуда?

— Из Загорска.

— Что ты там делаешь?

— Я у бабки.

— О господи! Кого привораживала?

— Я не привораживала. Мне очень плохо. Можешь за мной приехать?

— А что ты там делаешь? Откуда ты звонишь?

— Я была у бабки. Я сказала ей, что мне плохо, и они меня окрестили. Я там уже неделю.

— О господи! Откуда ты звонишь?

— С вокзала. Из автомата.

— У тебя деньги есть на билет?

— Есть.

— Покупай билет и садись в электричку. Зачем мне туда ехать? Я тебя встречу.

Долгое молчание. Слышен колокольный звон.

— Ладно.

Всё. Гудки. Повесила трубку. Какая же я сволочь! Надо было за ней поехать. Но теперь уже поздно.

Провела на Ярославском два часа. Одна электричка пришла — ее нет. Еще две электрички. Узнала не сразу: идет медленно, с большой сумкой, на голове какой-то старушечий платок, лицо — обычно живое и подвижное — сейчас как будто застыло. Говорит еле слышно:

— Мне было очень плохо. Я не знала, что делать. Сказала Социологу, что еду в фольклорную экспедицию, а сама к бабке. В тот же дом в Первом Первомайском переулке. Я думала, раз она умеет привораживать, то, наверное, и боль в душе может вылечить.

— Какая боль? Это из-за ребенка?

— Я не знаю. Просто как-то весь мир стал рушиться.

Это я понимаю. Когда мой папаша ушел, меня он как бы забрал с собой, а новых детей у него не было. Так что мой мир только немного треснул. Джей всегда твердо знала, что была единственной настоящей любовью отца, и когда у него появился еще один ребенок, ее мир развалился на части.

ДЖЕЙ: ДНЕВНИК

Толстая записная книжка, переплетенная в темно-красную ткань со множеством оранжевых цветочков, каждый с четырьмя лепестками, стебли образу-

ют решетку. На первой странице написано печатными буквами: “151-01-93. Джей. Пожалуйста, верните”.

9 ЯНВАРЯ

Мама была у папы в больнице — тот в ступоре полном. Ощущение жуткой надвигающейся на всех нас катастрофы.

20 ЯНВАРЯ

Господи, как все это спуталось и смешалось — папина болезнь, его “фортеля”, видимо, внебрачный ребенок, и только ли это? Он все время плачет.

13 ФЕВРАЛЯ

Разбила телефон и разругалась с Социологом. Вдруг надоело все это страшно — умеренность и аккуратность. Все мои прозрения насчет нынешней стабильности, способности и трезвости лопнули. О боже, неужели это безнадежно? Все казалось таким стабильным, мне казалось, что я люблю мужа, а теперь все вернулось. Он такой рациональный, он всегда знает, что есть что. Он часто оказывается прав; разумное трезвое, методическое начало, конечно, это то, что мне нужно, иначе меня собьет, разболтает пульсирующее, прерывистое, нерегулярное мое существо. И всё же...

Мне кажется, что я постоянно бьюсь головой об стену. А что если уйти, ну хоть на несколько дней? Забрать свои бумажки и пожить у мамы? Но я-то хочу быть одна, а там мама меня доведет своими проблемами, которые я не могу вместить. Да, папина Милочка должна родить в июне, и, подумав, что родиться может девочка, я впервые почувствовала

мамину боль и ревность. До этого страшно было только, что он мог умереть или не выздороветь, а остальные проблемы меня и не касались как бы, место мое никак не задевалось — я знала, что нас с Шушей он все равно страшно любит. А вот если будет снова маленькая девочка, да еще с июня.

20 ИЮНЯ

Боже, пожалей бедного отца и несчастную маму. Она любит его, но боль-то во мне главная в том, что я не могу полностью ее утешить, не могу сказать: “Ладно, ничего, мы проживем (вместе) и без него, и славно проживем”. Я не готова, не могу жить вместе, т. е. буду, если нужно, конечно, но не хочу, трудно мне это, тяжело, я как с камнем за пазухой. Господи, есть ли человек в мире, перед которым я не держу этого камня?

Папина Милочка, видимо, родила на днях (правда, действительно интересно кого, не чувствую совсем ничего — ну, точнее, чуть-чуть, что девочка, но совсем немного). Он позвонил ее маме, Розалии Самойловне, его мучает обещанный долг — ребеночку на обзаведение, 300 рублей, и вообще, он просит разрешения туда ходить. Шесть дней он будет идиллически жить дома, а на седьмой — к Милочке и к ребенку. Боже, что с мамой сделала вся эта история, как она топчет ее, мнет и треплет. Боже, как жалко, жалко, жалко, ведь сил отпущено не безмерно, а отмеренно, и их-то глотает, глотает, гложет эта история. Вот я поеду к нему в четверг, но что я скажу, что я сделаю? Он звонил сегодня, мама не стала с ним разговаривать, отдала мне трубку — он умильный человек или просто хватющийся в этом мире

безумных, шатких, дребезжащих вещей за единственную вещь, не причиняющую боли, не требующую решения, собранности духа и внутреннего мира, — просит второй том *Eckersley*^{*}, и я чувствую, что чуть не плачет там. И вся моя решимость “сказать ему наконец” и т. п. мякнет, исчезает, уплывает, и я вдруг чувствую, что страшно к нему привязана, это вдруг как звонок из совсем дальних времен, он ведь по-настоящему, внутри, перестал для меня существовать, умер, стал фигурой просто известного человека (кстати, только утратив с ним детскую внутреннюю связь, а вместе с ней и любовь, я осознала его внешние параметры — известность, “вхожесть в круги”), и вдруг звонок, как бы от покойного родителя (прости мне, Господи, эту фразу ужасную), вернее, утраченного ходом времени родителя, и вдруг снова эта связь, и вот он есть, мой папа. Но что же со всем этим будет?

6 ИЮЛЯ

Господи, господи, господи — кому нужна эта моя сумятица, это колготение души, это раздиранье ее на куски — да никому, я думаю, кроме бедной мамы, которая несчастна сейчас особенно и в этом несчастье хочет сосредоточиться на мне, помимо просто любви ко мне. Господи, да со всем этим — кто примет меня — даже и Ты, наверное, хотел бы от меня все же определившейся, решившейся на какое-то состояние души. Ну, может, начнет отпускать все же, ну их всех просто, я одна — ведь есть же я все же, есть мои границы, надо стрести себя в них и осмотреться.

* Эккерсли Чарльз Эварт (*Eckersley Charles Ewart*; 1892–1967) — автор пособий для изучающих английский язык.

17 АВГУСТА

Меня положили в 12-ю психиатрическую больницу. Отвозили туда меня в полубеспамятстве, когда я еле разговаривала (в синих старых джинсах, которые впоследствии там я и сносила, и в синем свитере), Социолог и мама. Мама заплакала, когда уходила.

7 НОЯБРЯ

Боже мой, Боже мой, справлюсь ли я с этой болью? Да меня и нет вообще, нету личности, нету у нее дела, смысла жизненного, кроме того, чтобы подлаживаться, подстраиваться под окружающих, ну, под Социолога, скажем. Господи, это толкает меня на путь вранья, двойной жизни, которую я выносить не в силах. А что же делать? Я должна буду делать вид, что мне там хорошо, на несколько секунд я этим прониклась, но потом опять охватывает ужас и страх от этой залитой дневным светом комнаты, и главное, от притворства, притворства своего и страха, что вот сейчас обнаружится, что меня нет вовсе, просто оболочка, а за ней — ласковое пустое место...

ГЛАВА ВТОРАЯ

ВАЛЯ И ДАНЯ

ВАЛЯ: ДЕТСТВО

22 апреля 1928 года, в музее Ленина, меня приняли в пионеры. Когда я вернулась домой, спросила бабушку Таню:

— Бабушка, а ты помнишь крепостное право?

— Помню, внученька.

— А как его отменяли, помнишь?

— Помню, внученька. Мы так плакали, так плакали. Что теперь с нами будет, кто нас защитит...

“Старорежимная у меня все-таки бабушка”, — подумала я.

Бабушка Таня была карелкой. Карелки, как все тогда знали, были “смирные, кроткие и добросовестные”. Петр I переселил под Лихославль целую карельскую деревню, чтобы по-мичурински привить эти ценные качества русскому народу. Привой, судя по всему, не прижился, и серьезные женихи все равно, даже в XX веке, ездили в эту карельскую деревню за невестами.

Таня была круглой сиротой. Во время эпидемии умерли родители, ей было тогда семь лет. Воспиты-

вала община. Одну неделю жила в одном доме, другую в другом, третью в третьем, и так по кругу. У нее были необыкновенно густые волосы, мыть и сушить голову было серьезным делом. Когда Тане исполнилось шестнадцать, деревня собрала приданое. В село приехал старообрядец Морозов, владелец извозных дворов на Покровской заставе. Увидев красавицу-сироту, замер. Это была судьба.

Рядом с домом Морозова была конюшня. В детстве я проводила там много времени — автомобилей в Москве еще было мало, и семейное дело продолжалось, хоть и под другой вывеской. Много лет спустя я узнала, что моя свекровь, Рива Израилевна, тоже в детстве любила бывать в конюшне. Уж не поэтому ли мы с ней всегда понимали друг друга?

Морозовские извозчики кормили и чистили лошадей, при этом ругались “как извозчики”. Каким-то образом эта ругань прошла мимо, я ее как будто не замечала. Когда много лет спустя сидела в редакции, ко мне приходили авторы, иногда по делу, иногда просто поболтать. Иногда кто-нибудь начинал рассказывать анекдот и предупреждал:

— Только извините, Валентина Васильевна, там будут матерные слова.

Я всегда отвечала:

— Я выросла на извозном дворе, матерными словами удивить трудно, но, если можно, давайте без них.

Родилась я в деревянном доме недалеко от Покровской заставы, которую потом переименовали в Абельмановскую в честь “какого-то еврея”, как говорил папа.

Через десять лет кусок монастырского парка превратили в сад для детей, поставили при входе выкрашенные известкой косые решетки и повесили название, где все четыре слова висели под разными углами: САД ИМЕНИ ТОВ ПРЯМИКОВА. А еще два года спустя на входе в сад Прямикова возникла светящаяся надпись САД — “первое использование неоновых трубок в Москве”, как писали в газетах. По вечерам народ собирался смотреть на эту огненную надпись. Хорошо помню, что некоторые крестились, а один старичок из “бывших” в полуистлевшей, некогда зеленой форме Кадетского корпуса, без погон, но с гербами на оставшихся медных пуговицах, сказал: “Это «мене текел фарес» царя Валтасара. Скоро конец большевикам”.

Сохранился бабушкин сундук, там лежало “приданое”. Летом во дворе натягивали веревку, доставали из сундуков зимние вещи и вывешивали на солнце сушить — чтоб моль не заводилась. Там я увидела бабушкины платья, которые та носила в молодости. Одно из малинового бархата, а другое из голубого. Крохотная, узкая в талии блузочка на крючочках, а юбка длинная и широкая, до полу. Позже, когда бабушка умерла, а семья успела несколько раз переехать, я наконец дорвалась до этих платьев. Из юбок нашла береты. Себе сделала бархатные, голубой и малиновый, а подругам попроще.

Говорили, что береты вошли в моду под влиянием испанской революции. Но первый берет я сделала еще в десятом классе, а испанская революция началась только через год. Как отличницу, меня послали на костюмированный бал в Колонный зал. Я была в костюме Татьяны. Белое платье в талию,

веер и малиновый берет. “Кто там в малиновом берете с послем испанским говорит?” Вот я и ходила по Колонному залу, как пушкинская Татьяна, обмахивалась веером, свою косу завила, а спереди — подставные локоны. Никаких испанских послов там не было. Они появились только через два года, и то не послы, а беженцы.

Мать папы Васи, бабушка Аня, была практичная и умная. После смерти мужа пошла работать на кондитерскую фабрику. Ходила туда раз в неделю, ей давали решето, полное конфет, пачку бумажек, и она шла с ними домой, заворачивать. Вечно голодные дети воровали конфеты, а в бумажки заворачивали камешки, чтобы не нарушать счет. Мать всегда находила эти камешки, а детей порола ремнем. Ее можно понять — выгнали бы, и остались без средств. Но детей наказание не останавливало, между блаженством и поркой проходило достаточно времени, чтобы условный рефлекс не возник.

Васю мать отдала в синодальное училище при кремлевском храме с проживанием. За хороший голос его приняли в мужской хор. Потом голос стал ломаться — в это время петь нельзя. Он вернулся домой и поступил в реальное училище. Туда приезжали купцы, которым были нужны грамотные работники. Приехал Сиротинин, у которого был ювелирный магазин в Верхних торговых рядах на Красной площади. Васю взял сначала учеником, потом бухгалтером. Сколько Васе платили, никто уже не помнит, но он мог содержать всю семью.

У Васи был глубокий бас. Каждую неделю перед выходными Сиротинин устраивал чаепития. Васю просили спеть “Хас-Булат удалой” или “Из-за остро-

ва на стрежень”. Однажды зашел брат Сиротинина. Он был врач и работал в Кремле. Послушал Васино пение и сказал: “У твоего бухгалтера замечательный голос. Ему надо учиться”. Сиротинин поехал в консерваторию, узнал, сколько стоит учеба, какое расписание, как можно совмещать с работой, и записал Васю. Он не только платил за него, но и отпускал с работы на занятия. Капитализм с человеческим лицом.

Вася вступил в Русское хоровое общество, где познакомился с Акулиной, дочкой бабушки Тани и моей будущей мамой. По-карельски имя звучало Окку, дома ее звали Акуля, а Шуша в детстве звал ее “бабушка Куля”. Она тоже училась в консерватории, но у нее, в отличие от Васи, не было богатого покровителя, шла по специальной программе для одаренных детей из бедных семей. Правда, некоторые педагоги считали, что учить музыке “кухаркиных детей” — надругательство над высоким искусством, и охотно делились своим мнением с самими учениками. Преподаватель сольфеджио обычно говорил маме: “Сейчас будет урок для тех, кто платит деньги, а вы, Морозова, посидите в коридоре”.

Вася проучился в консерватории с 1914 по 1918 год. Работал, учился и еще ходил в Русское хоровое общество, которым руководил композитор и дирижер Николай Голованов. Голованов очень любил Васю. В Петрограде тем временем случилась революция. В Москве были только отголоски, но все равно жизнь резко изменилась. Торговля прекратилась. Сиротинин впал в растерянность. Вася окончил консерваторию, и его, по рекомендации Голованова, взяли в хор Большого театра. Он ушел

от Сиротинина, а тот собрал свои драгоценности и уехал в Берлин. Вовремя уехал. Постепенно Васе стали давать сольные партии. Сначала второстепенные — сват в “Русалке”, стражник в “Кармен”, а потом он уже пел Мельника в “Русалке” и Собакина в “Царской невесте”. Сохранился его портрет в этой роли, нарисовал приятель. Там надпись на обороте: “Дорогому Васюне с началом большой артистической карьеры”. Тоже певец, а нарисовал прямо как настоящий художник.

В Москве царил разруха и голод ужасный, и папа, прирожденный организатор, собрал группу артистов Большого, и они стали ездить с концертами в армейские клубы. Платили продуктами, поэтому дома голода не было, он привозил белые булки и колбасу, чего давным-давно никто не видел. Папа чем-то там заведовал в месткоме. Однажды сказал: я поведу ваш класс в Большой театр. Закупил билеты, целую ложу на втором ярусе, ложа номер 15, рядом с Царской. Балет “Конек-горбунок”. Класс был небольшой, человек двадцать, во время революции рождаемость была не очень. Первоклассники сидели по двое на стульях. Сзади была аванложа, где во время антракта полагалось пить чай. Оттуда выдвинули диванчик, все разместились, сидели плотно. Балет всем очень понравился.

Спокойная жизнь продолжалась недолго. 1928 год. В Большом театре склоки. Голованова называли “оплотом старых традиций”. Он не член партии, православный, его солисты по воскресеньям поют в церквях. Всем заправляют звезды дореволюционного театра — жена Голованова Антонина Нежданова, Леонид Собинов и сам Голованов. Все верующие. Го-

лованов жалуется на “жидовское засилье в театре”. У папы сохранилась вырезка из “Комсомольской правды”: “Вождем, идейным руководителем интриганства, подхалимства является одно лицо — Голованов. Руби голову, и только тогда отвратительное явление будет сметено с лица земли”. Сталин назвал Голованова “вредным и убежденным антисемитом”, а головановщину — “явлением антисоветского порядка”, из чего, правда, не следовало, что “сам Голованов не может исправиться”.

Издан приказ об увольнении Голованова. Вместо него из Ленинграда вызывают Ария Моисеевича Пазовского. Какой-то местный футурист нарисовал плакат “Клином красным бей головановщину”, но плакат запретили. У клина был профиль Пазовского. В Большом театре смута. Половина согласна, назначают — надо смириться. Папа, который, конечно, за Голованова, принимает активное участие как член месткома. Местком собирается объявлять забастовку против Пазовского. Театр бурлит четыре месяца. Кто-то жалуется в высшие инстанции, те велют навести порядок. Порядок обычно наводится так: самых активных сажают в Бутырки. С папой именно так и поступили. Подумать только, папа арестован “за антисемитизм”! Знал бы он, что через десять лет ему суждено породниться с еврейской семьей.

Тем временем в театре все постепенно утихивается, Пазовский дирижирует, причем хорошо, спектакли продолжают. Папа сидит в Бутырках, мама носит передачи. Через какое-то время следствие заканчивается, начинают постепенно выпускать. Папа — последний. Все уходят: “Прощай, ты,

наверное, тоже скоро". Почему выпустили, не рассказывают. Вызвали папу:

— Ну вот, Василий Иванович, все выяснилось, жизнь вошла в берега, и практически завтра можете приступать к работе. Вот только подпишите эту бумажку.

Дают ему бумажку: "Я, такой-то, обязуюсь обо всех случаях высказываний против советской власти немедленно доносить в ГПУ". Папа отвечает:

— Меня отец драл ремнем, если я доносил. Извините, не могу.

— Тогда в ссылку.

Отправили в Красноярск. Мы с мамой ничего не знали, но ему удалось бросить из поезда записку. К нам домой пришел незнакомый человек и передал ее. Такие случаи бывали.

Театра в Красноярске не было, но был цирк. Вот папа и устроил там спектакль. Позвонил в Большой театр своим друзьям, и они привезли все тот же балет "Конек-горбунок". Царь-девицу танцевала Екатерина Гельцер, знаменитая балерина. Она уже была, мягко говоря, не очень молода к этому времени, пятьдесят два года, и весила намного больше, чем положено балерине. Игорь Моисеев потом мне рассказывал, что ее мог поднять только Иван Смольцов. Но и тот однажды сорвал себе спину. Поручили Моисееву, как молодому и спортивному. Он с большим трудом ее поднял, потом закачался, в глазах потемнело, ноги понесли за кулисы, там и брякнул ее об стену. Она отлежалась, открыла глаза и говорит: "Никому ни слова".

В Красноярске "Конек-горбунок" прошел с успехом, правда, все поддержки из хореографии удалили.

Папа быстро освоился, его приняли в музыкальный техникум заведующим учебной частью. А в Москве дома голод. Маму взяли на работу секретарем домоуправления. Зарплата нищенская, как прокормить двоих детей и свою мать — непонятно. Папа послал ей телеграмму — присылай детей ко мне. Отправлять меня с младшим братом Володей одних — страшно. На помощь пришел папин друг, Иван Федорович, офицер-воспитатель Второго Московского кадетского корпуса. Он ехал в Красноярск и был готов захватить нас с собой. Пять дней ехали до Красноярска.

У меня наступило счастливое время. Я с папой. Подруги появились. Вместе с ними научилась залезать на столбы в калошах. Узнала новое слово: “столбист”. У нас была целая компания “столбистов”, называлась “Аккорд”. Название придумала я, как-никак была дочерью музыканта и сама училась в музыкальной школе.

Осенью нас с Володей отправили обратно в Москву, всё с тем же Иваном Федоровичем. А там новые проблемы. У бабушки Тани инсульт. А на ней держалась вся жизнь, вся кухня — всё. В конце года бабушка умерла. На ее похоронах простудился Володя. Ему все хуже и хуже, врач приходит, говорит: у него очень плохое горло, надо снять мазки, надо в больницу. Мама: в больницу ни за что. Это ее соседи настроили: “Они у тебя погубят ребенка!” И она не отдала. Я хорошо помню, как в дверь отчаянно барабанил врач. Приехала скорая помощь, чтобы забрать мальчика, потому что у него высокая температура и диагноз — дифтерия. А мама все повторяла: “Не отдам”. Володе было восемь лет. Пока он болел, я за-

писала его в первый класс. И вот он умер. Мама страдала, ее было жалко, но в моих глазах ее авторитет пошатнулся. Навсегда.

Папа вернулся в конце 1932-го. За четыре года в стране многое изменилось.

Его сравнительно легко прописали, он же не из тюрьмы вернулся, а из ссылки. Потом ссыльных уже не впускали в Москву. Называлось “минус шесть”. Некоторые получали “минус двенадцать”. Я думала, что папа вернется в Большой театр, но он сказал: “Ни за что!” Понял уже, каким способом освободились из Бутырок остальные “активисты”. Там, в Красноярске, он был в окружении ссыльных, арестованных, освобожденных и оставшихся там жить, и они его просветили. В общем, он стал директором клуба при Наркомате совхозов.

Какой-то неизвестный постоянно писал на папу заявления в милицию, те приходили проверять документы, а у папы, как у ссыльного, в паспорте были особые отметки. Этот неизвестный, видимо, был заинтересован в комнате. Папа понял, что ему надо из этого района бежать. В один прекрасный день он отправил нас с мамой в санаторий на Черном море. Первый раз я купалась в море — какое блаженство! Писала папе письма, просила, чтобы он прислал пять рублей, очень хотелось купить резную шкатулку из самшита. Папа прислал эту пятерку в письме, и шкатулка, ему же в подарок, была куплена. Четверть века спустя Шуша привез мне точно такую из похода по Кавказу.

В Москве нас встретил папа, очень торжественный, взял такси, сейчас, говорит, мы поедем в одно

место. А домой-то как? Сейчас увидишь, интересно будет. Въезжаем в Богословский переулок, входим в подъезд. Через подъезд надо пройти в следующий дом, второй этаж без лифта. Поднимаемся с чемоданами. Открываем дверь, входим.

Какие-то сундуки в прихожей стоят. Папа ключом открывает дверь...

Что такое? Папа, что это? Это, говорит, теперь наша квартира. Комната гораздо меньше той, где мы жили. Все тесно, стол квадратный, вокруг него стулья, рядом мамин комод, буфет с посудой, сбоку пианино, там папина кровать, здесь гардероб, а здесь диван, на котором буду спать я. На диване огромное розовое покрывало с вельветовым рубчиком. На покрывале сидит огромный рыжий “тысячерублевый кот”. Папа его так называл — знакомый одолжил тысячу рублей, отдать не смог, но подарил кота. Так и прожили много лет в тесноте, но зато никого не арестовали и не выселили.

ВАЛЯ: ИФЛИ

Пронесся слух, что в Москве открывается новый институт. По чьему распоряжению — непонятно. Много лет спустя наш бывший аспирант Юра Шарапов рылся во всех архивах, пытался найти, кто дал команду, но так и не нашел. Первое постановление было подписано заместителем Наркома просвещения Эпштейном в 1931 году. Но сам он не мог принять такое решение, наверняка была команда сверху.

Сначала институт назывался Историко-философским. В 1934-м к нему добавили литературный фа-

культет, а еще позже — экономический. Первый набор состоялся в 1935 году. Принимали в основном москвичей (до провинции слух еще не дошел). Отличников — без экзаменов.

В 1936 году открыли прием для всех, и хлынуло дикое количество людей. Ввели вступительный экзамен из одиннадцати предметов, для отличников — только собеседование. У Аси, которая потом стала моей лучшей подругой, были две или три четверки в аттестате, ей пришлось сдавать не только литературу, историю, язык, но и физику, химию, математику, биологию. Сдала и получила все пятерки. Муха и Белка тоже сдавали, но очков не хватило, и их приняли на исторический. Проучились на истфаке год и перевелись к нам на литературный.

Это был удивительный институт. Разыскали старых преподавателей, которые прозябали где-то забытые, заброшенные, голодные. Их друзей и коллег в 1922 году погрузили на пароходы и отправили в Германию. Ленин называл их “растлителями учащейся молодежи”. Теперь “растлители” понадобились Сталину. Старым профессорам поручили преподавать историю так, “как они делали это до революции”. Марксизм, похоже, был больше не нужен.

С нами училась Рая Либерзон вот с такой шевелюрой вьющихся волос — она потом вышла замуж за Леню Шершера, — необыкновенно активная комсомолка. Леня, худой, бледный, очень остроумный. Был редактором нашей стенной газеты “Комсомолия”, она делалась с таким энтузиазмом, что каждый раз получалась необыкновенной длины, целиком занимала всю стену коридора. Чего только там не было — карикатуры, стихи. Обязательно стихи на-

ших поэтов, Павла Когана, Эдьки Подаревского (оба погибли на фронте). Даня тогда писал только лирические стихи, и только мне.

У нас с Даней начался роман, а тут Эдька тоже в меня влюбился... Но Даня встал насмерть, они даже подрались. Потом, правда, помирились. В моей жизни было так: пришла в институт, познакомилась с Даней, а когда роман начался — всё, на этом все мои романтические истории были заперты на ключ. Так и прожила до развода. Уже через много лет, когда я работала в журнале “Новый мир”, ко мне пришел Вадим Струве.

— А ты знаешь, что я в тебя был влюблен? — сказал Вадим.

— Ты с ума сошел!

— Ну как же, я пытался через твоего Даньку пробиться, но ничего не получалось.

Если бы я была более свободной, раскованной, может быть, прожила бы более веселую жизнь. Я с детства была страшно стеснительная. Помню, меня девятилетнюю послали в аптеку. Надо было сначала заплатить в кассу, а потом с этим чеком идти к прилавку. Я чек в кассе выбила и по рассеянности пошла к двери. Мне кричат из-за прилавка:

— Девочка! Ты лекарство получить забыла.

Я залилась краской и быстро говорю:

— А мне не надо, — и бегом на улицу.

Первый день в ИФЛИ выпал на международный юношеский день, и все студенты шли на демонстрацию на Красную площадь. А там на Мавзолее вожди. Один вождь лежал внизу в гробу, а наверху стояли вожди сегодняшние. Идти пешком от Сокольников

до Красной площади не меньше трех часов. Построились, двинулись шеренгами по четыре человека. Кто-то пришел с гармошкой. Как только мы останавливались, начиналась музыка, сразу начинали танцевать, прыгать, вообще веселье.

Мы оказались с Даней в одном ряду и разговорились. Что ты любишь читать? Я люблю Маяковского. И я люблю Маяковского. Я люблю Чехова. И я люблю Чехова. Боже мой, как все совпадает! Наум Лазаревич, отец, читал им дома Чехова по вечерам, а Маяковского он сам полюбил. В моей семье книг было мало. Зашла однажды к соседям, увидела книжку — стихи. Я говорю, а что это такое? Возьми почитай, если хочешь, мы в библиотеке взяли, но у нас как-то не идет. Я взяла томик домой, открыла Маяковского, “Летающий пролетарий”. У меня родители из прошлой эпохи, религиозные, дома икона висит, а тут я читаю: “Небо осмотрели и внутри, и наружно. Никаких богов, ни ангелов не обнаружено”. Прочитала и влюбилась.

В девятом классе был учитель по литературе Александр Иванович. Мы обычно читали вслух, а потом проводили разбор. И тут как раз должны были проходить Маяковского. Александр Иванович его явно не любил. Ну, говорит, найдется кто-нибудь, желающий прочитать вслух? Я и вызвалась.

Вовек
такого
бесценного груза
еще
не несли
океаны наши,

как гроб этот красный,
к Дому Союзов
плывущий
на спинах рыданий и маршей.

Я читала с таким чувством, что, когда закончила, он сказал задумчиво: да, да, это, пожалуй, интересно. Так я распропагандировала своего учителя. А с Чеховым у меня было так: пошли с папой в гости, там были незнакомые дети, я застеснялась, отошла подалее и увидела книжку на диване, села и уткнулась в нее. А это оказался Чехов. Прочитала рассказ “Радость”. Человек попал под лошадь, и об этом напечатали в газете. Потом позвали к столу, я с трудом оторвалась, и, когда обед закончился и люди стали разговаривать, я сползла со стула и скорее снова на диван за этой книжкой. Потом попросила родителей, чтоб мне достали Чехова.

Итак, мы с Даней познакомились, разговорились, как-то хорошо было. Потом на занятиях сели не совсем рядом, но близко. В институте можно было заниматься немецким, английским и французским — на выбор. Я выбрала немецкий, у меня в школе был немецкий. И Даня тоже.

Ну вот, Даня все время мелькал, здравствуй-здравствуй, весь сентябрь так проходили рядом, а потом он перестал почему-то появляться. Ну ладно, не ходит и не ходит. Где-то к концу декабря Даня опять вдруг возник в аудитории и садится недалеко от меня. Потом передает записку: “Я тебя люблю”. Боже мой, с ума сошел человек! И дальше: “Не уходи после лекции домой, поговорим”. Ну, пожалуйста, давай поговорим. Кончается лекция, мы не идем домой, а под-

нимаемся на пятый этаж, оттуда вела лесенка на чердак, считалось, что там кабинет помощника ректора, а на самом деле там сидел Яша, работник НКВД.

Кстати, этот Яша Додзин многим помогал. Агнессе Кун, дочери Бела Куна, когда арестовали ее отца, помог остаться в институте. А вот Ханке Ганецкой, дочери польского революционера, и Елке Мураловой, дочери коменданта Кремля, помочь не смог. Их исключили из комсомола и выгнали из Москвы. Теперь часто пишут: “В эту страшную эпоху террора ИФЛИ был оазисом”. Не был. Шли процессы, у нас проходили эти дикие собрания, где дети арестованных должны были публично каяться, отречься от родителей. Нужно было голосовать за их исключение. А бывало и так, что человека исключили из комсомола, а потом он просто исчезал. У нас был такой Иван Шатилов. Я сделала доклад о международном положении, еще на первом курсе, Иван подошел ко мне и сказал:

— Оказывается, девчонки умеют соображать.

Я просияла. Через неделю его исключили из комсомола, уже не помню за что. Еще через несколько дней он исчез. Много лет спустя пришел ко мне в “Новый мир”.

— Ты меня узнаешь?

— Да.

— Я знаю, кто на меня донес, но не скажу, потому что вы все его обожаете.

Я поняла, о ком речь. Рассказала Дане. Он помрачнел:

— Никому не рассказывай!

...Ну так вот. Мы с Даней поднимаемся по лесенке на пятый этаж, он притащил два стула, садимся, и он

начинает объясняться мне в любви. Он так хорошо и интересно говорил, что мы просидели там, наверное, час. Народ уже почти разошелся, а мы двинулись домой пешком. От института до метро “Сокольники” минут сорок. И с тех пор эта дорога стала нашей традицией.

Учиться было необыкновенно интересно. В программе — всё на свете: латынь, история, начиная с Египта, потом Греция, Рим, Средние века. На первом курсе древнюю историю читал профессор Сергиевский. Так Даня всю лекцию его записал стихами в моей тетради:

Товарищи, что мы зрим?
Сулла идет на Рим.
Идет за одной одна
Самнительная война.
Самнительная, пойми ты,
Потому что дрались самниты.

Тетрадь эта пропала. При разводе, кстати.

Лекции заканчиваются в три часа, мы бежим обедать. Рядом был завод “Красный богатырь” (делали галоши), и там, в фабричной столовой, нас кормили. Мы платили, конечно. Мама и папа давали с собой десять рублей на день, а Дане пять. А потом допоздна сидели в институте, в читальне. В десять часов вечера институт запирался, и мы шли домой.

Иногда, когда нас рапирала нежность, мы шли не только до “Сокольников”, а дальше пешком. Я жила в Богословском переулке, приходила домой часа в три. А вставать в полвосьмого. Ну и что! А бывало, вечером идем-идем, сворачиваем в мой переулочек

около Камерного театра, и я вижу — у нашего крыльца стоит мама, волнуется. Но видит, что мы идем вдвоем, и она юрк, и бегом-бегом наверх. Как будто она спит — не ждала и не волновалась.

Летом 1937 года Даня, его брат Арик, их друг Лева Бергельсон и еще несколько приятелей пошли в поход по Военно-грузинской дороге. Меня звали с собой, мне очень хотелось, но я отказалась. В детстве у меня обнаружили “шумок в сердце”, а в то время для лечения сердечных заболеваний рекомендовалось как можно больше лежать и как можно меньше делать резких движений. Мне всегда хотелось бегать и прыгать, но я была послушной девочкой. От добросовестного лежания у меня с годами образовалось искривление позвоночника. Когда врач в Америке прописал мне упражнения для спины, я пыталась объяснить ему, что мне нельзя, и рассказала про “шумок в сердце”. Мне тут же сделали кардиограмму и сказали: “Такого здорового сердца в вашем возрасте мы давно не видели”. Это о пользе лежания, Илья Муромец тоже сорок лет на печи пролежал.

Из рассказов Дани о походе я помню только два эпизода.

— Подниматься тяжело, — рассказывал он, — особенно с рюкзаком в шестьдесят килограммов. Но это сравнительно безопасно. Все травмы обычно происходят при спуске. Спускаться надо медленно. Пока есть силы, это удается. Но постепенно устаешь, рюкзак тянет вниз, и через какое-то время начинаешь бежать. Тогда травмы неизбежны — всё что угодно, от подвернутой стопы до трещины в черепе. Другая опасность — камни. Первый, кто заметил ка-

тящийся сверху камень, громко кричит: “Камень!” Все тогда быстро смотрят вверх, пытаясь вычислить траекторию, чтобы успеть отскочить или прикрыться рюкзаком.

Когда они вернулись в Москву, развлекались так. Идут по улице Горького мимо новых домов, и кто-нибудь крикнет: “Камень!” Все тут же — головы вверх, но вместо камня взгляд натывается на смотрящие вниз скульптуры.

Сразу после похода Даня повез меня на дачу знакомиться с родителями.

Волновался — как родители отнесутся. Ну да, они уже не были местечковыми евреями, но “шикса” из православной религиозной семьи?.. Младшая сестра Ривы, тетя Рахиль, которая однажды встретила нас вдвоем, уже провела с Даней беседу:

— Ты понимаешь, что рано или поздно она тебя назовет “жидом”?

Я волновалась не меньше Дани, но не по поводу реакции его родителей, меня скорее волновали мои собственные. Хотя я не могла вспомнить, чтобы папа хоть раз употребил слово “жид”, но он все-таки был арестован не за что-нибудь, а за антисемитизм — пусть не свой, а Головановский.

При мне ни папа, ни мама ничего “антисемитского” не произносили никогда. Не знаю, может быть, в душе им и хотелось, чтобы продолжение семьи было более близким и родственным, но они никогда этого не показывали. Даню со временем искренне полюбили. И про разговор Рахили с Даней я знала. Но когда мы с ней познакомились поближе, и особенно в эвакуации, мы очень подружились.

Она говорила, что лучше человека, чем Василий Иванович, она не знает. Так что у нас с Шульцами потом было полное единение.

Много лет спустя, уже после смерти папы, наша домработница Катя Харченко говорила мне, что папа ей якобы признавался: вот внучка у меня хорошая, она на русскую похожа, а внук, к сожалению, еврей. Но алкоголичке Кате верить нельзя, могла и соврать.

ВАЛЯ: МУЖ ЗАБОЛЕЛ

В 1938 году мы с Даней поехали в Крым. Путевки в санаторий Наркомата совхозов в Курпатах устроил, конечно, мой папа. На вокзале все четверо родителей наконец встретились. Ощущение было странное: мы не женаты, ни о чем не объявляли, просто едем отдыхать. Но на фоне того, что происходило в стране, и тем и другим родителям было о чем беспокоиться помимо внебрачного секса, поэтому они пожали друг другу руки, расцеловали каждый своего ребенка и сунули нам по пачке денег. Моя пачка оказалась в два раза толще, но мы тут же объединили обе пачки в одну.

В Курпатах Даня заболел. Это был его второй приступ, первый случился на три года раньше, когда он вдруг исчез из ИФЛИ. Тогда на мои вопросы он отвечал неопределенно — плохо себя чувствовал, болела голова, плохо спал. Я не расспрашивала, он был такой сильный, от него исходил такой напор жизненной энергии... В Курпатах он внезапно стал меняться.

Однажды утром, когда надо было собираться на пляж, он лежал в кровати и пел “Там вдали за рекой зажигались огни”. Сначала я решила, что это игра, и стала подпевать, но вдруг заметила у него в глазах слезы.

— Что с тобой?

— Я вспомнил дядю Левика. Как они с папой хохотали всю ночь, когда он приезжал. Он не мог оторваться от Аннушки. Я знаю, что его расстреляли...

— Как расстреляли? Он же сорвался в пропасть.

— Это тайна, никому никогда не говори, его расстреляли как американского шпиона... Он был членом РСДРП с 1915 года, партийный билет № 12... Я не могу жить с этим... Я не хочу жить с этим... Я не хочу жить...

Вид у него был страшный, глаза полузакрыты, мертвенная бледность. И опять начал петь:

И боец молодой вдруг поник головой,
Комсомольское сердце пробито.

Так и пел двое суток. Я не отходила от него. В какой-то момент показалось, что он заснул, я помчалась на почту и дала телеграмму Риве Израилевне: “Даней плохо”. Ей не надо было ничего объяснять, она появилась через трое суток с санитаром, мы все погрузились сначала в автобус до Симферополя, а потом в купе поезда Симферополь — Москва, а потом, не заезжая домой, прямо в Кащенко, где его уже ждали.

Я была в панике. Не знала, как мне жить дальше, с кем посоветоваться.

После смерти брата Володи я не слишком доверяла мнению мамы, но тут включился какой-то биологический, что ли, инстинкт, и я бросилась к ней:

— Мамочка, это так страшно! Это был другой человек. Я его не могла узнать. Как я могу связать свою жизнь с человеком, который вдруг может превратиться из яркого, умного, талантливого, любящего существа в какую-то безжизненную мумию.

— Доченька, — сказала моя верующая мама, — ну как же можно оставить больного человека?

Я замерла. Я привыкла относиться к религии родителей как к простительной слабости, но тут что-то во мне вспыхнуло. Я вдруг поняла, что этот крест мне предстоит нести всю жизнь, и, как ни странно, это меня успокоило.

После месяца в Кащенко Даня пришел в себя и снова с головой бросился в институтскую жизнь.

Мы решили пожениться в начале 1941 года, на последнем курсе. Конечно, приходилось думать, что же нам делать дальше, если нас распределят в разные места. Либо мы разъезжаемся, либо должны пожениться. Мы не считали наш роман чем-то легкомысленным, считали, что всё правильно, в общем, решили жениться и подали заявление в ЗАГС.

Я знала, что мой папа — человек старых нравов, полагается просить руки. Даня говорит: я не могу, это как-то странно, старомодно. Но что делать, надо уважать чужие традиции. Короче, я родителей предупредила, что мы придем. Они, я думаю, догадывались зачем — когда я приходила домой из института, я тут же брала телефонную трубку, и мы с Даней разговаривали часами. Мама все слышит.

Папа пытается позвонить домой — невозможно. Так что они понимали.

Они что-то приготовили, купили вина. Мы пришли, папа наливает всем вино и говорит — ну, за что пьем? Даниил молчит. Папа говорит — ну хорошо, выпьем за знакомство. Еще полчаса, еще наливает — за что пьем? Даня молчит. Весь вечер наливают, пьют, а он молчит. Наконец папа еще раз разливает и говорит:

— Я уж не знаю, за что и пить-то.

Тут наконец Даниил берет себя в руки и выдавливает:

— Василий Иванович, я прошу руки вашей дочери.

— О, какая неожиданность, ну что же, дети, будьте счастливы...

Данино объяснение в любви было 4 марта 1937 года, а 15 марта 1941 года мы расписались, и я переехала к ним. Дальше начиналась полоса экзаменов...

Уже шла Вторая мировая война, но нас она как-то не коснулась. Хотя в 1939 году мы сочувствовали Франции, нам казалось, что английские войска здесь не подалеку, была какая-то надежда. Нацизм ничего, кроме отвращения, не вызывал. И тут этот жуткий пакт Молотова — Риббентропа, Сталин заключил братский союз с Гитлером. Ведь мы уже знали про отношение к евреям, про концлагеря, про то, как Гитлер захватывал одну страну за другой, — мы всё это знали. Но как мы могли реагировать? Молча. По большей части люди недоумевали и не понимали. У нас свои были проблемы, людей арестовывали, друзья исчезали.

А мы оканчиваем институт, надо готовиться к экзаменам. Я живу у Шульцев с Наумом Лазаревичем и Ривой Израилевной. А Арик за два месяца до нашей свадьбы, в начале февраля, женился на Доре и переехал к ней, в нашем же доме, только в другом корпусе, они на пятом этаже, мы на втором. Я из своего окна всегда видела, горит ли у них свет, спят они уже или нет.

Экзамены сдавали не только за пятый курс, а за все пять лет. Диплом.

Две недели сидели дома безвыходно, готовились. Вставали рано утром, сразу за учебники, тетради... Спали мало. 21 июня, в субботу, пошли сдавать. Сдали все очень хорошо, пришли, счастливые, домой, рано легли спать. Родители с утра уехали на дачу отдохнуть, они тоже мучились с нами эти две недели. Часов в двенадцать звонки и стук в дверь. С трудом просыпаемся. Стук усиливается. Я в ночной рубашке, накинула халат и бегу открывать. Открываю дверь, там стоит Арик:

— Что вы спите, что вы спите, идиоты!

— Что случилось?

— Вы не знаете? Ничего не знаете? Война! — он был абсолютно счастлив. — Мы с Гитлером будем воевать, с фашистами. Мы им дадим!

ВАЛЯ: ЭВАКУАЦИЯ

Наум Лазаревич вместе с Военно-морской школой эвакуировался раньше всех в какой-то город на букву “К” — то ли Коломна, то ли Калуга, не помню. Даня, у которого после эпизода 1938 года белый би-

лет, копает окопы под Ельней вместе с Дзизиком Самойловым, тоже белобилетником. Арик, выпускник института связи, мобилизован, естественно. Их часть находилась в Ачинске, недалеко от Красноярска, куда я ездила к папе в ссылку. Анна Ароновна, теща его, тоже мобилизована как врач и никуда трогаться не может. Я окончила курсы медсестер и дежурю в метро на учебных тревогах. В квартире на Русаковской только я и Рива Израилевна. В соседнем корпусе Дора на седьмом месяце беременности и Анна Ароновна, которая дежурит в больнице и даже не приходит ночевать, только иногда ее отпускают домой.

В этот момент моего папу назначают начальником эшелона, в котором собираются вывозить всех детей наркомата совхозов — детский сад, пионерлагерь и всех остальных. Телефон у нас уже сняли, позвонить папе не могу. Поехала к нему на трамвае. Он говорит решительным тоном, каким никогда со мной не разговаривал:

— Собирайся, поедешь с нами.

— Папа, как же я уеду без Дани?

— Оставишь ему письмо, я дам адрес, я знаю, куда мы едем.

— Пап, ну как же я могу ехать, когда у нас с Даней назначение в Пензу?

— Я тебя здесь не оставлю.

Он, видимо, уже слышал, что делается на оккупированных территориях, с начала войны прошло двадцать дней. Я к Риве Израилевне:

— Что же мне делать?

— Папа правильно говорит, — отвечает она, — тебе надо ехать. А у меня к тебе просьба, поговори

с ним, может, он возьмет меня с Дорой. Анна Ароновна уехать не может, а Дора не может остаться в Москве в таком положении.

Я опять на 45-м трамвае к папе:

— Папа, Рива Израилевна — очень хороший учитель, прекрасный организатор!

— Ладно, — говорит папа, — где моя не пропадала. Семь бед, один ответ.

Вписывает и их. Мы все собираемся и едем на метро до Сокола. Там на станции чего-то ждем. Я позвонила из автомата подруге Асе, автоматы работали, а у Аси телефон почему-то не сняли, и она приехала прощаться. Я сняла с себя лаковый поясок и отдала ей, на память.

Недалеко от Сокола — окружная дорога, мы идем туда, товарные вагоны, какие-то железные лестницы, по которым надо лезть. Даже мама лезла в свои пятьдесят лет, хотя нельзя сказать, чтобы она была такая уж ловкая.

Короче говоря, едем в товарном вагоне. Папа в другом вагоне, как начальник. Был еще вагон — детский сад со своим заведующим, пионерлагерь занимал два вагона. Ехал еще с нами представитель партбюро, такой был Мартьянов, очень хороший человек. Папа с этим Мартьяновым из вагона в вагон переходили, следили за всем, надо было как-то кормить людей — а ехали мы долго, десять дней.

Папа был неспокоен. Детей-то вывозили без матерей, без отцов. А тут едет начальник эшелона с женой и дочерью, это ладно, но еще со сватьей и ее беременной невесткой. Но Рива Израилевна сразу включилась в работу, показала, что она нужный человек. Смешно, конечно, сначала сослали в Сибирь за анти-

семитизм, а потом неприятности из-за того, что спасает еврейских родственников.

Приехали в Миловку, это в Башкирии, двенадцать километров от Уфы. Дана я оставила очень длинное письмо, очень трогательное, с напутственными словами — кошмар, стыдно вспомнить. 11 октября у Доры родилась Диночка, а 15-го к нам приехала Рахиль с дочкой и племянницей. Папа и их принял и поселил с нами.

В Миловке находился Башкирский сельскохозяйственный институт, который был подотчетен наркомату совхозов. Мы все жили в студенческом общежитии, а Рахиль устроилась делопроизводителем. Как человек деятельный, она быстро нашла себе жилье, так что они с дочкой и племянницей только несколько дней жили у нас.

Арик прислал телеграмму, что находится в Чебаркуле и скоро на фронт. Тогда Рива Израилевна решила отправиться к нему. Я хорошо помню ее рассказ. Надо было ехать из Уфы в Чебаркуль, это больше трехсот километров. Поезда шли без расписания. С большими мучениями поздно ночью она добралась до Чебаркуля. Вокзал был забит бойцами.

— Ты к кому едешь-то? — спросил ее пожилой солдат.

— К сыну.

— Это другое дело. Я думал, жена. Жен-то много, а мать одна. Что-нибудь придумаем.

Под утро бойцы построилась, а ее поставили посередине. Пожилой солдат взял ее чемоданчик. Рядом кто-то выругался.

— Не видишь, с нами мать, — оборвал его пожилой солдат.

Ее довели до командирской палатки. В полумраке она увидела фигуры трех военных. Один из них бросился к ней. Это был Аарон — повзрослевший, усатый, подтянутый лейтенант.

Весь день были вместе. Говорили, говорили без конца.

— Работа начальника связи полка, — сказал Арик, — совершенно не опасна. Да и победа близка. Я должен рассчитаться с Гитлером — как комсомолец и как еврей...

Потом, когда их повезли на фронт, они ехали через Уфу. Арик упросил командира отпустить его на несколько часов. Бежал бегом двенадцать километров, провел часа два или три с Дорой и новорожденной Диной, а потом так же бегом обратно в Уфу. Часть свою успел догнать.

1 сентября 1941 года мы должны были встретиться с Даней в Пензенском университете. Это был полный идиотизм с нашей стороны, мы не позвонили, не проверили, сохраняется ли это назначение. Он вообще не хотел ехать. Ему Рива Израилевна послала телеграмму: подводишь Валю, что она там будет делать одна?

А он только что вернулся в Москву с рытвья окопов, это было настоящее бегство, по их следам шли немецкие танки. В Москве оставалось несколько ифлийцев, он там с ними колготился. И рвался на фронт. Потом, в Миловке, пошел в военкомат, его, естественно, не взяли — у него был белый билет. Тогда он пошел в психиатрическую больницу, чтобы они сказали, что годен. Упорно твердил, что хочет на фронт, ну, они и решили — точно сумасшедший.

Короче, мы поехали в Пензу, он из Москвы, а я из Миловки. Я с диким трудом добиралась, с вещами, одна, опять же в теплушке. А в университете мне говорят — да что вы, к нам эвакуировался весь Ленинградский университет, все вакансии заняты, нам никто не нужен. Дали мне койку в общежитии с одной сеткой, без матраса. Но с клопами. Туда же приехал Даня. Делать нечего, надо возвращаться в Миловку.

30 августа сели в поезд. Едем, целый день едем. Жарко. Очень жарко. Часов в пять-шесть подъезжаем к Волге. Станция Батраки. Огромный железнодорожный узел. Все пути забиты эшелонами. Наш поезд остановился, не доезжая станции, на обрыве, над самой Волгой. Красота необыкновенная. Солнце садится. Пошли к машинисту:

— Какие перспективы?

— Не меньше четырех часов простоим.

Даня мне говорит:

— Пошли искупаемся.

— Нет, я купаться не буду.

— Пойдем, пойдем, жарко.

Он в одной рубашке и брюках, а я в черной юбке и сиреневой кофточке вышитой. В руках ничего — все вещи, деньги, документы в поезде остались. Спускаемся по обрыву к реке, я сажусь на бревнышко.

— Пойду окунусь, — говорит Даня.

Ему хочется показать мне, как он хорошо плавает.

— Как же ты потом в мокром пойдешь?

— Я без трусов.

Раздевается. Я отворачиваюсь. Хоть и женаты, а я все стесняюсь.

— Можно повернуться уже?

Не отвечает. Оборачиваюсь — его нет. Поднимается ветерок, на реке какие-то всплески. Какая-то тень, кажется, что это голова. Я сижу. Проходит час. Сижу. Хожу. Ничего не понимаю. Ко мне спускается женщина.

— Ты что тут сидишь?

— Да вот муж поплыл, и не знаю, где он.

— Милая, да он же утонул. Я смотрю из окна, там кто-то плывет-плывет. Я думаю, какой дурак там плавает, вечереет уже. А он рукой машет, еще раз помаhal, потом еще раз помаhal. И всё, ушел с головой. Пойдем, пойдем со мной.

Я как в тумане, ничего не понимаю. Говорю:

— Мы с поезда, у нас там все вещи.

— Пойдем, пойдем ко мне.

Отвела меня к себе, налила горячего чаю. Я в каком-то оцепенении.

— Что же теперь делать?

— Ну, пойдем, доведу тебя до твоего поезда. Тебе ж надо свои вещи все-таки забрать.

Потом смотрит в окно и говорит:

— Подожди, подожди. Лодка какая-то плывет. Вон, с того берега.

Мы с ней побежали вниз. Смотрим, действительно плывет лодка. В ней сидят бабы, и с ними Даниил. Голый. Каким-то фартуком обмотан. Эти бабы поехали на остров косить сено, собрали его — и назад. А Даниил доплыл до середины Волги, выбился из сил, чувствует, что идет ко дну. В это время мимо движется баржа. Низкая-низкая. С дровами. Он уцепился и влез на нее. Отдышался — и обратно в воду. Доплыл до острова. Решил, что обратно не доплывет.

Пустынный остров, песчаный, ни растений, ни людей. Вдруг видит вдалеке, бабы лодку спускают. Он к ним кинулся и кричит:

— Бабы!

Те дико испугались. Голый. Бежит. Немец? Шпион? А он им:

— Я не шпион! Помогите!

Они ему кинули фартук. Он им обмотался, и они привезли его прямо к тому бревнышку, где мы расстались. У меня его штаны и рубашка, он оделся, сказал “спасибо” бабам, я поблагодарила женщину, и мы пошли искать наш поезд.

Ночь. Темно. Прошло не меньше четырех часов. Поднимаемся по обрыву — эшелона нет. Станция далеко. Дошли. Пошли к начальнику станции: не знаете, где наш эшелон? Номер мы помнили. Он смотрит в свои бумаги:

— По-моему, он все еще стоит у семафора. Ищите.

Одиннадцать путей по одну сторону вокзала и девять по другую, и на всех путях стоят эшелоны. С закрытыми дверями, естественно, поскольку ночь. Первый раз мы вместе обошли одиннадцать путей. Пролезаем под вагонами. Страшно. В любой момент состав может тронуться. Часа два ходили. Я говорю:

— Больше не могу. Я тут посижу.

— А я еще поищу.

Он ушел, а я села на какой-то железный ящик. Проходит еще минут двадцать, вижу, он бежит ко мне:

— Нашел! Я нашел!

Он, оказывается, шел-шел, и вдруг слышит разговор за закрытой дверью:

— Подумать только, что за идиоты. Ушли с поезда. Куда?

Он стучит им в дверь:
— Это не у вас ушли двое?
— Кто это?
— Мы вот ехали, пошли купаться...
— Ох, идиоты!
— Мы сейчас, я только сбегаю за женой...
Вот так мы доехали до Миловки.

После этого эпизода я поняла, что отныне все должна решать сама. Я привыкла к жизни с папой — всё в руках у мужчины, все решения, перемещения. Я думала, что и у нас будет так, но ничего подобного. Пришлось брать власть в свои руки, не имея для этого никаких данных. Управлять я не умела совершенно, деловых качеств тоже не было. Так что у меня была нелегкая жизнь.

...В 1943 году мы вернулись в Москву — разными путями. Сначала уехал папа, раньше всех, в 1942-м. Там были всякие несчастные случаи в детском доме, погибло четверо детей, но это была не его вина. Папу сняли с работы, прислали другого директора, а его вызвали в наркомат. К счастью, во всем разобрались, хотя на работе не восстановили.

Вскоре уехала мама. Школу Наума Лазаревича перевели в Сибирь, в тот самый Ачинск, где в 1941 году стояла часть Арика. Рива Израилевна уехала к мужу. Анну Ароновну наконец демобилизовали, и она приехала в Миловку, точнее в Затон, это ближе к Уфе, и работала там в госпитале. Дора с Диночкой переехали к Анне Ароновне. И мы остались там вдвоем с Даней.

1943 год, уже понятно, что можно возвращаться. Но как?

Мне поручили сопровождать наркоматовских девочек, которые закончили седьмой класс. Даня нанялся матросом на корабль, который шел из Уфы в Москву. На Русаковской первой появилась я. Затем — загорелый и сильно окрепший Даня. Потом приехала Анна Ароновна с Дорой и Диночкой. Они поселились у нас, потому что в их квартире не было отопления, а потом присоединились и мои папа с мамой — у них тоже не топили. Жили так: мы с Даней в нашей комнате, мои родители в столовой, а в кабинете Дора с Диной. Потом, когда немного потеплело, мой папа поставил на Богословском печурку, и летом они переехали обратно.

В это время было уже известно, что Арик погиб на фронте. То есть это было известно Науму Лазаревичу, Риве Израилевне, Дане и мне, но не было известно Доре. Оба родителя каким-то образом узнали о смерти сына, но долго скрывали это друг от друга, считая, что другой не перенесет.

9 мая 1945 года, в праздник Победы, я первый раз в жизни увидела Риву Израилевну рыдающей. Тогда она уже поняла, что все, надежды больше нет. В извещении было написано “пропал без вести”.

Мы съездили в Баковку посмотреть и нашли там полный развал. Солдаты разводили костры прямо на полу. Хотя дача строилась как зимняя, бревенчатая, печка была только на половине родственников, и осенью, зимой и весной там было холодно. Переехали мы туда, только когда родился Шуша.

Напротив дачи был высокий глухой забор. Участок принадлежал, кажется, маршалу Малиновскому. Потом шли дачи маршалов Рыбалко и Баграмяна.

Я хорошо помню пленных немцев, которые строили дачу Малиновского. Они жили в бараках прямо в поле и каждый день ходили мимо нас. Всегда просили чего-нибудь поесть, обычно повторяли: “люк, люк, люк”, надеялись, что лук поможет от цинги. Я помню, как Рива Израилевна давала им этот лук. Я тогда думала: боже мой, как у нее хватает сил, они же убили ее сына. Удивительный человек.

Потом рядом построили стадион “Локомотив”. А раньше там был “искосок” — это пошло от четырехлетнего Шуши: на станцию можно было идти по дороге, а можно было срезать через поле, пойти наискосок. Он и решил, что поле называется “искосок”.

ДИНА: БАКОВКА

Мой дедушка Ефим Павлович заведовал чем-то в системе Наркомата путей сообщения, и этот участок в Баковке он, как и другие начальники, получил от НКПС в середине 1920-х. Сначала участок был в том месте, где теперь проходит Минское шоссе, близко к станции, а когда стали строить шоссе, дедушке предложили подальше, на Лесной улице. Ему даже удалось выбить двойной участок, потому что он выписал из Киева свою младшую сестру Евгению. Построили дом и разделили его капитальной стеной на две части.

Сначала жизнь дедушки складывалась счастливо. Бабушка Аня была прекрасным детским врачом, дедушка Ефим ее обожал, у них была чудесная дочка Дора. Потом начались несчастья. Михаила Кагановича, родного брата все сильного Лазаря Моисеевича,

сняли с должности наркома авиационной промышленности. Для дедушки Ефима это была катастрофа. Михаил был его другом и покровителем. Потом дошел слух, что Михаил Каганович застрелился. В НКПС стали исчезать начальники. Ефим Павлович понял, что он следующий. Он знал, что происходит с “членами семьи изменника родины”, и решил спасти семью. Инсценируя несчастный случай, выбросился с балкона конструктивистского здания НКПС у Красных ворот.

Когда Шуша, мой “родной двоюродный брат”, как я его называю, писал курсовую работу о “пролетарской классике” Фомина, он долго ходил вокруг этого здания, пытаясь представить себе, с какого именно балкона мог выброститься дедушка Ефим. Два балкона на той стороне башни, которая обращена к Садовому кольцу, справа от циферблата квадратных часов, нависали над крышей четырехэтажного крыла, расстояние недостаточное, чтобы разбиться насмерть. Остаются три балкона со стороны Новой Басманной, слева от второго циферблата и длинного вертикального окна. Эти балконы тоже нависают над крышей, но если прыгнуть с самого верхнего балкона немного в сторону Садового кольца, то до крыши еще целых шесть этажей.

План дедушки сработал, бабушка Аня не стала “членом семьи изменника родины” и осталась на работе в больнице. Дочка получала пенсию до окончания школы, семья сохранила и квартиру, и дачу. Дача была кооперативная, за нее надо было продолжать платить, а после смерти мужа денег у бабушки не было. Вот тогда-то она и предложила Шульцам купить половину ее половины.

Выплатить всю сумму сразу Шульцы не могли. Хотя оба работали, дедушка Нолик преподавал русскую литературу в Военно-морской школе, а бабушка Рива была завучем в обычной, на жизнь им хватало в обрез. Сошлись на том, что Шульцы возьмут на себя месячные платежи. Как они это вытянули, не знаю, а спросить теперь некого.

Когда родился Шуша, мне было три года. Я помню, как новорожденного привезли на дачу, а он не переставая плакал днем и ночью. Валя все ночи напролет пыталась его укачивать, а он все кричал. Только когда бабушка Аня приехала на дачу и Валя ей все рассказала, та сразу поняла:

— Деточка, ребенок голодает, у тебя почти нет молока.

Даня побежал через лес в “лесхоз”, где, как ему сказали, живет татарка Сима с коровой. В шесть утра на следующее утро пришла веселая румяная Сима с бидоном парного молока. Шушу напоили, и он перестал плакать. Потом много лет Сима приходила с бидоном каждое утро, и мы все пили парное молоко. У Шуши страсть к парному молоку сохранилась на всю жизнь. Без этого молока он бы не выжил.

ДИНА: ВНУКОВО

Даня всегда ругал меня за желание писать красиво. Поэтому рассказу без художественных приемов и лирических отступлений. Если меня вдруг понесет в красоты, останавливайте.

Когда Шуше было восемь, а мне одиннадцать, мы поехали на велосипедах во Внуково встречать

Даню. Он возвращался из ГДР, мы знали день, но не знали ни времени, ни номера рейса. Мы часто ездили во Внуково, но всегда с Дымчатым или с Витьком. На этот раз я уговорила Шушу ехать вдвоем. От нашей дачи до Внуково километров пятнадцать, на его “Орленке” и моем ржавом дамском велике неизвестного происхождения это обычно занимало больше двух часов. Сначала надо было ехать по Минскому шоссе, где непонятно почему нас ни разу не сбили грузовики, хотя мы часто возвращались по нему в полной темноте и никаких фар на наших великах не было. Потом ехали по Внуковскому шоссе, где грузовиков почти не было, а потом маленький кусок по тихому и красивому Боровскому. Моей маме и дедушке Нолику мы ничего не сказали. Они так привыкли, что мы целыми днями где-то пропадаем, что уже перестали волноваться.

Я думала, что если нам удастся встретить Даню, он будет так рад, что тут же возьмет нас с собой в Москву. Всю зиму мечтаешь о даче, а к концу лета уже не хочется ни смородины, ни крыжовника — тянет в Москву. Куда мы денем велосипеды, если он возьмет нас с собой, мы как-то не подумали.

В 1954 году аэропорт Внуково выглядел совсем не так, как сегодня. Это было большое зеленое поле. Никакого забора, никто нас не остановил, мы въехали прямо на поле и покатали по влажной после дождя траве мимо казавшихся забытыми самолетов. У одного из них работали моторы и крутились два пропеллера. Мы бросили велосипеды и стали осторожно приближаться к самолету. Из раскрытой двери на нас смотрел летчик и улыбался.

— Дяденька, покатайте, — крикнула я.

— Залезайте, — прокричал он в ответ, — только быстро!

Мы вскарабкались в кабину, и Шуша сразу же уткнулся взглядом во все эти кнопочки и стрелочки.

— А это что? А это зачем? — спрашивал он, а летчик, которому, наверное, надоело сидеть одному в пустом самолете, охотно отвечал. Может, у него не было детей, и он мечтал о сыне. А может, его бросила жена и забрала детей. Не знаю. Но видно было, что ему нравится все нам показывать и рассказывать.

— А теперь держитесь крепче, — сказал он. — Покатаю.

Моторы взревели, и мы медленно покатались по траве. Я сначала думала, что мы сейчас взлетим, но он просто хотел покатавать нас по земле. Все равно это был полный восторг. Кабина была высоко над землей, и казалось, что мы летим. Как жаль, что никто нас не видел в этот момент. Дымчатый умер бы от зависти. Кто нам поверит, что все это было на самом деле.

— Приехали, — сказал летчик. — Вылезайте. Покажу вам реактивный самолет.

Мы были в совсем другой части поля, далеко от велосипедов. Реактивный самолет был намного меньше нашего, и у него не было пропеллеров.

— Вот сюда попадает воздух, — объяснял летчик, — а отсюда вылетает пламя.

— Горячее? — спросил Шуша.

— Нормальное. Мы всегда с собой сырую курицу возим. Проголодались — подставляем курицу прямо к соплу — через 30 секунд курица готова.

Шуша слушал с широко раскрытыми глазами. Я-то, конечно, понимала, что летчик шутит, я все-таки на три года старше, а он верил каждому слову.

— Всё, ребята, — сказал летчик, — мне пора.

— А как же мы найдем наши велосипеды? — спросила я.

— Как-нибудь найдете, — летчик почему-то вдруг потерял к нам всякий интерес. А может быть, ему сигнал какой-то послали азбукой Морзе. Он быстро залез в свой самолет и укатил, а мы с Шушей медленно двинулись через поле в сторону леса.

Мы шли, наверное, час. Велосипеды лежали в траве, там, где мы их бросили, никто их не тронул, а трава за это время высохла.

— Поехали домой, — сказала я, но Шуша смотрел на что-то за моей спиной и не отвечал.

— Смотри, — произнес он вдруг.

Я обернулась. На фоне желтого закатного солнца прямо на траву спускался черный силуэт самолета.

— Данька прилетел, — заорала я. — Бежим!

Мы снова бросили велосипеды и помчались навстречу самолету. Сейчас, вспоминая эту историю, я думаю, какие же мы были идиоты — бегать по полю, на которое садятся самолеты, но у нас не было никакого чувства опасности.

Самолет остановился, когда от нас до него было метров пятьдесят или сто. Никакой уверенности, что это был тот самый самолет, у нас не было, но мы продолжали бежать. К самолету подкатили трап, пропеллеры остановились, и наступила тишина. По трапу стали спускаться люди, одетые во все бежевое. Они выглядели как иностранцы, но говорили по-русски.

— Даня, Даня! — закричала я, когда он появился на трапе.

Он меня не слышал и увлеченно говорил что-то женщине, державшей его под руку. Они спустились по трапу на траву и вместе с остальными двинулись в нашу сторону.

— Даня, Даня! — продолжала кричать я.

Тут он наконец нас увидел, и его оживленное лицо сразу застыло. Женщина выдернула руку.

— Что вы здесь делаете? — мрачно спросил он.

Я растерялась.

— Мы приехали тебя встречать.

— Кто мы?

— Мы с Шушей.

— На чем приехали?

— На велосипедах с дачи.

— Так. А теперь то же самое, но в обратном порядке, — с этими словами он повернулся и двинулся вместе со всеми к автобусу с надписью “Аэрофлот”.

Мы стояли и смотрели, как Даня и женщина, ярко освещенные закатным солнцем, последними вскарабкались в зеленый автобус, дверь закрылась, автобус изверг клубы коричневого дыма и покатился по направлению к лесу.

Мы постояли еще несколько минут и медленно двинулись в сторону наших брошенных велосипедов.

— Ты понял, почему он разозлился? — спросила я.

— Да, — сказал Шуша грустно. — Он волновался, что мы поехали одни и что могли попасть под машину.

— Да, — сказала я. — Ты прав.

Он был маленький и ничего не понял. А я все поняла, я все-таки на три года старше.

У Дани была любовница!

ЧЕРЕЗ ЛЕС

Иногда они шли через лес вдвоем с отцом, иногда втроем, иногда к ним присоединялись дети родственников и соседей. Иногда шли на пруд купаться, иногда на речку, иногда к Старухе.

— Пока мы не дошли до конца леса, — говорил Даня, — вы все должны выучить одно стихотворение. Сначала я прочту все подряд, а потом по одной строчке.

Была ли это магия леса или интонации отца, но все выученные таким образом стихи застряли в голове у Шуши практически навсегда. Иногда, непонятно по какой логике, в разных странах, строчки начинали звучать в ушах:

Я покинул родимый дом,
Голубую оставил Русь.
В три звезды березняк над прудом
Теплит матери старой грусть...

Первый раз Шуша увидел Старуху в ее московской квартире. Стена в прихожей была целиком покрыта зеркалами и техническими изобретениями ее мужа вроде застекленной коробочки: как только почтальон опускал что-нибудь в почтовый ящик, из этой коробочки выпрыгивали пять почтовых марок, а на них слово ПОЧТА. Это чудо происходило благо-

даря реле, которое рукодельник-муж установил на крышке почтового ящика.

Остальные стены были увешаны живописью раннего Маяковского, Бурлюка, Пиросмани, Штеренберга, Тышлера, фотографиями, жостковскими подносами, мексиканскими соломенными распятиями, лубками Первой мировой войны, расписными тарелками и бесчисленными бра. Общее ощущение, оставшееся у Шуши с детства, — роскошь.

Зеркальная стена создавала иллюзию гигантской анфилады, хотя комнат было всего три: гостиная, где стояли черное пианино и японский телевизор, подаренный Майей Плисецкой, кабинет, где все пространство было заполнено радиотоварами фирмы *Grundig*, проданными мужу по протекции Луи Арагона с большой скидкой, и, наконец, спальня, где всю стену занимала картина, изображающая молодую Старуху в синем платье, полулежащую на красном покрывале рядом с газетой и спящей кошкой, среди разноцветных подушек.

Не странно ли, думал Шуша, что квартира, взявшая на себя функции мемориала футуристов, носивших рукописи в наволочках и подкладывающих под голову полено, аскетов, мечтающих откидывать кровать на ночь из шкафа, этих больших детей, ошарашивающих взрослых своей непосредственностью, все время что-то бормочущих и раздающих налево и направо пощечины общественному вкусу, не странно ли, что квартира эта — будем называть вещи своими именами — так буржуазна. Даже жестяная вывеска Пиросмани “ЧАЙ.ПИВО”, висящая над пианино рядом с антикварной лампой, выглядела шикарно, как, впрочем, и абажур из ткани, распи-

санной Пикассо, а где-то с краю, возможно, была надпись “от Павлика П. с любовью”.

А что вы хотите, могла бы ответить на это Старуха, лично я никогда не хотела откидывать на ночь кровать из шкафа, моя кровать была откинута днем и ночью. И нечего удивляться, если работы нищих художников продаются после их смерти за миллионы, а рукописи из наволочек появляются в академических собраниях сочинений. Так устроена жизнь, смиритесь с этим.

В шестнадцать лет Шуша сам был таким бормочущим юношей. Он ходил, правда, не с наволочкой, а с рюкзаком, в котором лежал старый магнитофон *Grundig TK-5*, купленный в комиссионном магазине на Смоленской за 500 рублей, заработанных съемками в научно-популярных фильмах в роли пытливого школьника. Как потом рассказал приятель, работавший в этом магазине, магнитофон принес на продажу советский драматург, автор пьес “Человек с ружьем” и “Ленин в 1918 году”, и ему, как лауреату Сталинских премий, оценили старый *Grundig* в 500, хотя цена ему была в лучшем случае 300. Да, Шуша был тогда бестолковым бормочущим юношей, притворяющимся сумасшедшим и некоммуникабельным, хотя притворяться было не обязательно, он действительно в то время был сумасшедшим и некоммуникабельным.

Он приезжал со своим рюкзаком к Старухе, бормотал что-то, видимо, напомилавшее ей то ли Хлебникова, то ли Маяковского, еще влюбленного в Эльзу, то ли Витю Шкловского, уже влюбленного в Эльзу, во всяком случае, это был ее стиль, и ей это нравилось. Муж доставал свои заветные пластинки, ставил их

на лучший из своих проигрывателей, протягивал Шуше шнур, один конец которого был воткнут в усилитель фирмы *Grundig* стоимостью 1600 марок, — мужу он, конечно, достался за 800, — а другой конец Шуша втыкал в свой древний потертый ТК-5 с неработающей перемоткой.

Пока шла перезапись, Старуха поила его чаем. Она наливала неполный стакан и говорила:

— Я вам оставляю место для сахара.

Она расспрашивала его о жизни, а он в ответ бормотал что-то нечленораздельное.

— Какой прелестный сын у Даниила Наумовича, — рассказывала она знакомым.

В один из таких приездов дверь ему открыла Майя Плисецкая. Она была уже в пальто и, очевидно, собиралась уходить.

— Господи, какая тяжесть, — сказала она, пытаясь снять с него рюкзак, — Шуша, как ты это носишь?

Балетная школа Елизаветы Гердт дала себя знать, своими пластичными руками Плисецкая грациозно сняла рюкзак, мягко поставила на пол, приветливо помахала Шуше и вышла из квартиры.

Из кабинета доносилась иностранная речь.

— Шуша! — раздался голос Старухи. — Идите скорее сюда!

— Иду, иду, — крикнул он в ответ. Хотя идти совершенно не хотелось, он не спеша начал вытаскивать из рюкзака магнитофон.

— Ну что же вы? — раздался опять голос Старухи.

— Сейчас, сейчас, — крикнул он и не сдвинулся с места. Ему казалось, что еще несколько минут, и про него забудут.

— Шуша! — закричала Старуха требовательным голосом. — Я вас жду!

Потом он услышал, как она добавила кому-то негромко:

— Это прелестный юноша, вы увидите.

Делать было нечего, он пошел, как человек с ружьем или Ленин в 1918 году, неся перед собой свой ТК-5, защищающий его от иностранцев, перед которыми ему предстояло играть роль прелестного юноши. Страх сцены! Его даже Лоуренс Оливье не мог преодолеть.

В кабинете он увидел несколько мужчин и женщин, одетых, как показалось Шуше, с вызывающей роскошью. Он остановился прямо посередине, не выпуская из рук магнитофона.

— Идите же сюда, — раздался из угла раздраженный голос Старухи.

Она сидела в огромном кожаном кресле, обложенная подушками, увешанная цепочками, лорнетками, слуховыми рожками, очками и прочей аудиовизуальной техникой. Шуша поднял голову и прямо перед собой увидел высокого мужчину во фраке. Как, несомненно, поступил бы на его месте Хлебников, Шуша прижал левой рукой к себе магнитофон, а правую протянул мужчине. Тот растерянно пожал ее. Шуша постоял молча еще три минуты, потом в полной тишине вышел из кабинета.

Через несколько месяцев его снова стали приглашать, скорее всего, по настоянию мужа, который еще не успел переписать все Шушины пластинки, особенно его интересовали английские мюзиклы. Когда обмен пластинками закончился, визиты в московскую квартиру на несколько лет прекратились.

Потом возобновились. К этому времени Шуша уже научился притворяться нормальным и общительным и даже веселил Старуху и ее гостей историями из студенческого быта.

На этот раз они шли к ней на дачу втроем: мама, папа и Шуша. Был теплый августовский вечер. Солнце едва проникало сквозь переплетение березовых и сосновых веток, рисуя на усыпанной сосновыми иголками тропинке живописные пятна. Когда подошли к даче, на террасе уже был накрыт стол — с крахмальной скатертью, салфетками, серебряными вилками, хрустальными бокалами и бутылками французского вина. За столом сидело человек двенадцать. Опоздавшим Шульцам было оставлено три стула и три прибора. Старуха, раскрашенная, как пасхальное яйцо, возмущенно говорила:

— Перестаньте мне твердить про этого Мандельштама. Он был дурак. Мы только так его и называли: дурак.

Справа от Шуши сидел Симонов, за ним Плисецкая с Щедриным, дальше какие-то французы. Высокий человек во фраке показался Шуше знакомым. Старуха разливала чай, говоря каждому гостю: “Я вам оставляю место для сахара”. Отец развлекал гостей своей коронной историей про пьяного Смелякова. Мать показывала семейные фотографии. Когда дошли до фото беременной Дины, Старуха быстро сказала:

— Уберите! Я на это смотреть не буду.

Детей у нее не было, возможно, и не могло быть, и любое напоминание о том, что они у кого-то бывают, было ей неприятно. Ее легкое отношение к сексу не распространялось на его последствия.

— Даниил Наумович, — вдруг сказала она, обращаясь к Шульцу, — вы все время говорите и не даете раскрыть рта вашей жене. Помолчите, я хочу послушать Валентину Васильевну. Говорите, Валентина Васильевна! Расскажите нам что-нибудь.

Шуша замер. Мать была патологически застенчива. Выталкивание ее на сцену могло кончиться катастрофой. За этим столом с крахмальной скатертью, серебром и *Château Cheval Blanc*. Валя залилась краской и начала:

— У нашего Татоши очень длинная шерсть. Сегодня утром он сделал по-большому, и у него все застряло...

— Валя! — прошипел Даня. — Это не застольная тема.

— Помолчите, Даниил Наумович! — прикрикнула на него Старуха. — Мне очень интересно. Рассказывайте, Валентина Васильевна.

— У него все застряло в шерсти, получился полный затор. Я все утро провела выстригая, отмывая...

Наступила пауза.

— Спасибо, Валентина Васильевна, очень трогательно, — сказала Старуха.

Потом, обращаясь к гостям, продолжала:

— В девятнадцатом году мы жили в Москве и питались одной мороженой картошкой. А как вы знаете, от мороженой картошки у людей бывают газы. Каждые несколько минут кто-нибудь портил воздух. И тогда Володя придумал. Все мы — Витя, Володя, Давид, Ося — ходили со спичками. Тот, с кем это случалось, немедленно зажигал спичку — во-первых, он предупреждал окружающих, а во-вторых, пламя спички устранило запах.

“Да, — подумал Шуша, — вот что такое светскость”.

На обратном пути учили Маяковского:

Уже второй
должно быть ты легла

А может быть
и у тебя такое

Я не спешу
И молниями телеграмм

мне незачем
тебя
будить и беспокоить.

КИНО: МАЯКОВСКИЙ

У Шуши, как всегда, в голове крутятся обрывки кинофильмов. Сейчас он видит себя с отцом. Они одни в квартире, видимо, на Русаковской.

Звонок в дверь. Шуша открывает. На пороге стоит Маяковский.

— Ты звал меня — чай гони! — громко говорит Маяковский. — Гони мне, Шульц, варенье!

— Да, да, звал, — говорит Даниил. — Спасибо, что заглянули. Я тут переводил вашу поэму “Хорошо!” на немецкий и столкнулся с проблемой. Вы пишете: “Мы только мошки, мы ждем кормежки, закройте, время, вашу пасть, мы обыватели, нас обувайте вы,

и мы умрем за вашу власть”. Но обыватели совсем не те люди, которые готовы умирать за что бы то ни было...

— Это же мошки, — перебивает Маяковский, — они живут один-два дня. Они все равно умрут.

— Мошки живут несколько недель или даже месяцев.

— Хорошо! — говорит Маяковский. — А как бы вы сказали?

— Я не поэт...

— А как вы можете переводить стихи, если вы не поэт?

— Во-первых, я глубоко убежден, что стихи надо переводить точно, а для этого стоит пожертвовать рифмами...

— Что?! — взвизгивает Маяковский. — Вы переводите мои стихи без рифм? Что там остается?

— Как что, содержание.

— Не говорите глупостей! Форма стихов и есть их содержание! Почитайте Витю Шкловского. (*Задумывается.*) А насчет “умрем за вашу власть” вы, может быть, и правы. Где у вас телефон? Надо позвонить Лиличке.

Шульц пододвигает к нему телефон. Маяковский недоверчиво смотрит на циферблат:

— А где же буквы?

— Давайте я наберу, — Шуша набирает номер и передает трубку Маяковскому.

— Лиличка! — кричит Маяковский в трубку. — Шульц убеждает меня, что обыватели не могут говорить “умрем за вашу власть”, слишком героично. Что ты думаешь? Хорошо, перезвони. Номер знаешь?

Кладет трубку.

— Они с Васей подумают и перезвонят. “С Васей подумают”! С каких это пор Вася стал мыслителем? И она откуда-то знает ваш номер.

— Да, да, — отвечает Даниил. — Мы друзья.

Через пять минут — звонок. Маяковский быстро снимает трубку:

— Да. Да. Спасибо! (Шульцу.) Они с Васей предлагают “поддержим вашу власть”.

— Я бы сказал “уже за вашу власть”, — осторожно говорит Даниил. — Тоже начинается на “у”.

— Молодец, Шульц! А говорил “не поэт”! Теперь можешь переводить.

КАТЯ ХАРЧЕНКО

Я на Башиловке жила. С Олегом. Он самоварами промышлял. Ходил по всем местам, где утильсырье собирали. Он всех там знал. Я с ним тоже ходила. Спускаемся в подвал, темно, грязь, пахнет не поймешь чем. Сидит там старый еврей, весь оборванный, а он на самом деле миллионер.

— А, Олечка, давно тебя не было, заходи.

А Олег ему:

— Ну что, Иосиф Аронович, для меня есть что-нибудь?

Там много евреев было, в этом утильсырье. Олег и сам еврей, но как человек он был хороший. Со всем не пил. Евреи вообще мало пьют. Если я себе четвертинку покупала, он не возражал. А он еще инвалид был, ходить ему было тяжело. Но умный. Забирал он эти самовары, чинил, лудил, полировал

и продавал. К нам как-то милиция пришла. Спрашивают его:

— Вы что, самоварами спекулируете? Где вы их берете?

А он им:

— Я, между прочим, инвалид. Вот мое удостоверение. А сломанные самовары я по помойкам собираю, реставрирую и отдаю в музеи.

Они и отстали. Ни в какие музеи он самовары не отдавал, а продавал. Когда умер, у меня дома этих самоваров осталось штук семь. Я один Шушке подарила. Тогда я и пошла работать к Шульцам. У них мать русская, отец еврей, но тоже хороший человек. Шутил, смеялся. Про самовары меня все расспрашивал. Но блядун был страшный. Мне Валентину Васильевну иногда жалко становилось. Она все знала, но терпела. Я бы не терпела. Выгнала бы нах — и всё. Но у них дети, хотя уже большие.

А с Шушкой мы так жили. Днем дома я одна. Он приезжает с работы:

— Обед есть?

А я ему:

— Что ты все обед да обед? Купил бы мне бутылочку портвейна.

Он дает мне три рубля и говорит:

— Сама иди, Арина Родионовна, а я пока телевизор посмотрю.

Он меня все Ариной Родионовной звал.

— А ты-то со мной выпьешь?

— Нет, — говорит, — мне обратно на работу ехать.

Я в магазин, а он телевизор включает. Учебный канал. Там в это время всегда показывали профессора бородатого. Толстый такой, голос громкий. Ходит

между кроватями, на них алкоголики лежат, а он их гипнозом лечит. Они лежат спокойно, а он ходит между кроватями и тихо-тихо им что-то говорит. Потом как заорет:

— Водка! Запах водки! Вас душит водка! Вам тяжело! Очень тяжело. Водка душит!

Алкоголики свешиваются с кроватей и начинают блевать в тазики. Поблевали, а профессор им:

— Снимаю запах водки! Нет водки. Вам хорошо. Очень хорошо.

Алкоголики начинают успокаиваться и вроде как засыпают. Минут через пять профессор опять как заорет:

— Водка! Душит запах водки! Вам тяжело! Душит водка!

Те опять блевать. И так много раз.

Вот я из магазина возвращаюсь, ставлю суп греть и сажусь вместе с Шушкой профессора смотреть. Привыкла. Как профессор скажет “водка душит”, наливаю себе полстакана портвейна. Как он скажет “вам хорошо”, выпиваю и еще полстакана наливаю.

Шушка мне как-то подарок принес, сигару кубинскую, в алюминиевом футляре, огромная такая. Тогда в Москве стали продавать кубинские сигары и ром. Ром Шушка тоже приносил, но мне он не понравился. Водка лучше. А сигара понравилась. Я как от Шульцев домой приеду, четвертинку по дороге куплю, телевизор дома включу, сигару закурю, ноги задеру — всё в дыму, водка душит, а мне хорошо.

Еще я к родителям Валентины Васильевны ездила убирать комнату. Ее отец мне всегда бутылку портвейна оставлял. Иногда даже и выпьет со мной. Хо-

роший человек был, царствие ему небесное. Верующий. Икона в комнате висела. Но тоже ходок. Купит своей Акульке бутылку, она кагор очень уважала, и уходит “в преферанс играть с докторами”, а сам по бабам, хотя ему уже больше шестидесяти было. Как-то мы с ним выпили, и я спрашиваю:

— Василий Иванович, сколько у тебя баб-то было в жизни?

А он так правой рукой за голову, потом за живот, потом за правую подмышку, потом за левую, вроде как крестится, и говорит:

— Катя, у меня ни тут, ни тут, ни тут, ни тут волос не хватит, чтоб всех моих баб пересчитать.

Я ржу не могу. Верующий он! Но евреев не любил. Сказал мне как-то:

— Внук у меня хороший, на русского похож, а внучка — еврейка.

Однажды говорит:

— У моих друзей домработница живет, а к ней приехал какой-то дальний родственник из деревни. Ищет одинокую женщину с пропиской, хочет жениться. Две тысячи рублей готов заплатить. Не хочешь замуж?

— Да старая я замуж выходить, — говорю. — И жить с чужим человеком не хочется.

— Это понятно, но он, кроме двух тысяч, еще готов жену содержать. Ты сможешь не работать и весь день телевизор смотреть. Встреться с ним, посмотри. Не понравится — откажешься.

Уговорил. Встретилась. Старый, ниже меня, волосы крашенные, голос писклявый и говорит с каким-то присвистом. Зовут Алексей Егорыч. Пошли в чебуречную, я взяла водки, а он говорит — не пью. Ду-

маю, нах мне такой нужен? Но как человек, видно, хороший. Непьющий. Уважительно разговаривает: “Екатерина Александровна, вы”.

Сходили мы с ним еще пару раз. Я как-то даже стала привыкать к нему. В общем, расписались. Он ко мне переехал. Деньги отдал. Спим вместе. Стоять у него ничего не стоит, а мне и не надо. Счастливый брак называется. К Шульцам ходить перестала. Неделю смотрю телевизор, другую. И что-то мой муж стал меня раздражать. Ничего плохого не делает, заботливый, утром завтрак готовит, дверь починил, картину в раме купил и повесил. А я чувствую — не могу больше. Утром говорю ему:

— Муженек, иди-ка ты отсюда и деньги свои за-бери. Не нужен ты.

Он так плакал, так плакал. Жалко мне его стало: — Хрен с тобой! — говорю. — Оставайся.

Так и живем.

СЕКС И МОРАЛЬ

Как в отце могли уживаться помешанность на сексе с морализаторством? Он не мог пройти мимо женщины любого возраста, любой степени привлекательности, его влекли жены близких друзей, подружки жены, немолодые респектабельные критикессы, провинциальные учительницы, домработницы. Его не останавливала неизбежность скандалов, что регулярно происходили примерно раз в два года. Единственно, кто его оставлял равнодушным, это женщины, которые сами добивались с ним близости, — тут он их высокомерно отталкивал.

Вот он сидит на дне рождения Вдовы. Она посадила его рядом с собой, эта роскошная пятидесятилетняя женщина с гривой золотых волос, с обильным, все еще привлекательным телом. Когда она смеется его шуткам, ее грудь под обтягивающим белым платьем колыхается в такт.

— Пойдем выйдем, — шепчет она ему.

— Спасибо, не хочу.

— Трус! — произносит она свирепым шепотом.

— Блядь, — шепчет он в ответ и продолжает травить очередную историю под хохот аудитории.

Впервые Шуша столкнулся с отцом в роли воспитателя в Эстонии, где они отдыхали вдвоем — мать только что перешла на работу в журнал и ехать с ними не могла. Хозяин не понимал по-русски или делал вид, что не понимает. Отец перешел на немецкий, хозяин стал испуганно оглядываться и делать вид, что и этого языка не знает, но потом раскололся, и они стали болтать по-немецки все более откровенно. Дружба оказалась под угрозой, когда хозяин признался, что до 1944 года служил в СС. Поняв, что имеет дело с евреем, добавил, что, во-первых, ему было всего восемнадцать лет, во-вторых, он глубоко раскаивается, и в-третьих, просит никому об этом не говорить. Даниил, у которого были свои скелеты в шкафу (точнее, в сарае на даче), его простил, и дружба продолжалась.

В том же доме снимал комнату армянский скульптор Армен Саркисян с дочерью Азой. Это была толстая девочка со смуглой кожей и большими черными глазами, ей, как и Шуше, было шесть лет. В какой-то момент, когда оба отца ушли играть в теннис,

она пришла к Шуше, заперла дверь на крючок и сказала: “Давай играть”. По ее спокойному тону было видно, что она это делает не в первый раз.

— Давай, — сказал Шуша, — а как?

— Сначала я сниму трусы, — сказала она тоном воспитательницы, — а потом ты.

Шуша растерянно молчал. Она задрала юбку и спустила трусы:

— Смотри!

Шуша посмотрел. Между смуглыми ногами ничего не торчало. Все было гладко и красиво.

— Теперь ты, — она натянула трусы обратно.

Шуша расстегнул шорты, стал стягивать их вместе с трусами и тут с ужасом обнаружил, что с ним произошло что-то, чего никогда раньше не случилось. То, что раньше просто висело, вдруг стало твердым и торчащим. Какой стыд! Он быстро натянул трусы обратно.

Аза была разочарована, но не постыдным зрелищем, а его краткостью.

— Ты что, боишься? Мы с одним мальчиком совсем разделись и голые по комнате ходили. Снимай трусы.

Шуша начал было их снимать, Но тут кто-то стал дергать дверь — отец вернулся с тенниса. Шуша застегнул шорты, оба вскочили с дивана, Аза пересела на стул, а Шуша открыл дверь.

Отец вошел, с мрачным видом осмотрел комнату, повесил ракетку на стену и молча сел на диван.

— Вы знаете, — сказала Аза светским тоном, — у нас точно такая ракетка, висит на стене, — она показала на стену.

— Очень интересно.

— Меня вообще-то ждут, — продолжала Аза. — До свидания.

Она встала, одернула юбку и вышла из комнаты.

— Что вы тут делали? — спросил отец.

— Играли, — сказал Шуша и, подумав, добавил: — В больницу.

— Ага, — кивнул отец, — это очень опасно.

— Почему?

— Врачи говорят: “Вы должны очень внимательно следить, как играют мальчик с девочкой”.

— Почему?

— Это может привести к тяжелым заболеваниям. Обещай мне, что больше так не будешь играть.

— Не буду, — пообещал Шуша.

Много лет спустя Шуша, опьяневший от свободы после развода, привел в квартиру на Русаковской девушку, с которой только что познакомился на улице. В квартире никого не было. Они сидели в гостиной в бабушкином кресле, прижатые друг к другу мягкими подлокотниками. Становилось темно. Начали целоваться. Когда Шуша расстегнул ее блузку, раздался звук открываемой входной двери, в комнату быстрыми шагами вошел отец. Он зажег свет, увидел растрепанную пару в кресле и тут же вышел, хлопнув дверью.

Перепуганная девушка застегнула блузку и убежала, сказав, что ей срочно нужно домой. На следующий день отец был мрачен и с Шушей не разговаривал. Даже обидно, подумал Шуша, хотелось бы узнать, что бы он сказал в этот раз про опасность игр мальчика с девочкой.

Последний эпизод из серии “врачи предостерегают” произошел в байдарочном походе. У Джей

возникло что-то вроде пляжного романа с мулатом по имени Мэл, хотя пляжем илистый берег реки Протвы назвать было трудно. Шуша в это время пытался установить дипломатические отношения с отцом. Лиза, давнишняя подруга Джей, страдала от несчастной любви. Эти разрозненные обстоятельства привели к тому, что все пятеро — Шуша, Джей, Лиза, Мэл и отец — отправились в байдарочный поход.

У них было две байдарки и две палатки. Никакого обсуждения, кто с кем будет спать в палатке, заранее не было. Когда остановились на первый ночлег, отец стал заносить вещи Джей в палатку Шуши. Джей вызвала Шушу на переговоры.

— Объясни папе, что я буду спать в палатке с Мэлом.

Даниил, когда Шуша ему передал это сообщение, побледнел:

— Это невозможно.

— Почему? — удивился Шуша. — Ей двадцать два года, она взрослый человек. Может делать что хочет.

— Но не в присутствии отца, — сказал Даниил.

— Именно, — сказал Шуша. — Она и хочет спать в другой палатке.

— Зачем вы взяли меня с собой? — спросил отец трагическим тоном.

Шуша пошел на переговоры с Джей.

— Слушай, — сказал он, — папа действительно страдает, в частности от отсутствия аргументов.

— Он сошел с ума, — сказала Джей. — Я с ним в одной палатке спать не буду.

Ситуация была безвыходная. Положение спасла Лиза.

— Шура, — сказала она, — передайте отцу, что я буду спать с ними в палатке и следить за их нравственностью.

— Бедная Лиза, — драматически произнес отец, когда Шуша принес ему последнее предложение.

— Не знаю, — ответил Шуша, — вид у нее был довольный.

Даниил понял, что все четверо против него, что других вариантов не будет, и согласился. Теперь вся группа разделилась на старшую — Даниил и Шуша — и младшую — Мэл, Джей и Лиза. В таком составе гребли и спали все следующие дни и ночи. Когда младшая байдарка вырывалась вперед, отец кричал Шуше:

— Навались! Сделаем этого Мэльчишку!

Когда удавалось их обогнать, он успокаивался.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

СЕНЬОР

ПРЕКРАСНАЯ НЕЗНАКОМКА

“А может, они все врут, — думает восьмилетний Шуша, слушая радио, — и наша страна не самая лучшая?”

Идея зародилась в мозгу без внешнего вмешательства. Назовем это самопорождением враждебной идеологии без участия врагов.

“Неужели врут?”

Помучившись три дня, Шуша решил: “Этого быть не может! Они же мечтают о справедливости. У них же есть идея построить счастливое общество. Кто же будет портить такую мечту и такую идею — враньем!”

Проблема была решена, потому что никакой проблемы быть не могло. Теперь можно поделиться и с отцом. Даниил выслушал Шушу без всякого удивления. В ответ рассказал свою историю. Маленькому Дане сказали, что вселенная бесконечна. Много дней он пытался представить это себе:

— Доходишь до конца, а тебе говорят — здесь не конец. А что?

Невозможность представить себе бесконечность так мучила его, что он перестал спать. После нескольких бессонных ночей успокоил себя так: “Ладно. Доходишь до конца, а дальше все досками заколочено”.

Страусово решение — заколочено досками, значит, дальше запрещено, и можно об этом больше не думать. Шушино решение было скорее метафизическим, оно напоминало одно из доказательств существования Бога: самое совершенное существо не может оставаться самым совершенным, лишившись существования.

“Онтологическое доказательство справедливости советского строя”, как назовет его потом Социолог, много лет помогало Шуше не замечать мелких бытовых неудобств. Но в девятом классе все стало меняться. У них появился новый ученик, Сашка Бондарчук. Сначала сидел тихо и был незаметным. В октябре пришел с необычной прической. Подростки в этом году старались зачесывать волосы назад “по-взрослому”, а Бондарчук пришел с короткой стрижкой, волосы вперед, как у римлянина.

— Бондарчук, — громко сказала Зоя Васильевна, — встань! Что случилось с твоими волосами?

— Ничего, — произнес он. — Постригся.

— Ах, это прическа такая!

Это был 1959 год. Московские подростки уже успели — всеми правдами и неправдами — побывать на Американской выставке в Сокольниках и выпить там несколько гектолитров “Пепси-колы”. Борьба со “стилягами”, начавшаяся десять лет назад, уже затихала, но Бондарчук попал, что называется, под раздачу. Он не был ни стилигой, ни “штатником”,

и его римская прическа уж никак не напоминала модный кок. Но Зоя таких нюансов не различала. Она решила дать бой идеологической диверсии. В качестве оружия был выбран юмор.

— У женщин, — торжественно произнесла она, — тоже есть новая прическа, “я у мамы дурочка” называется.

Класс заржал. Бондарчук, похоже, не был морально раздавлен этим публичным шельмованием, он просто пожал плечами и сел на место.

Поведение Бондарчука понравилось Шуше. Через несколько дней он, стоя перед зеркалом, с помощью расчески и ножниц повторил по памяти Сашкину прическу. В школе одноклассники не обратили внимания, но бдительная Зоя увидела в двух римских стрижках начало подпольного движения.

— Ага, еще один, — мрачно произнесла она, и только.

Все-таки 1959 год сильно отличался от 1949-го, когда в журнале “Крокодил” появилась статья некоего Беляева под названием “Стиляга”, которая, собственно, и ввела это слово в обиход. Теперь у идеологического отдела ЦК появились более серьезные заботы, чем следить за шириной брюк. В СССР стали появляться настоящие антисоветчики. Стиляги со своим сленгом уже воспринимались как расшалившиеся дети.

Если Шуша имел какое-то представление о стилягах, то о существовании диссидентов и антисоветчиков не подозревал. Его вполне устраивала формула дедушки Нолика: “Такого правителя, как Хрущев, который осудил Сталина, реабилитировал жертв террора и разъезжает по всему свету, в нашей стране

еще не было”. Поэтому, когда они в конце концов подружились с Сашкой, тот поразил его своей нескрываемой ненавистью к советской власти. Вот они идут по улице, на стене в серой деревянной коробке за стеклом висит газета “Правда”. Сашка подходит и начинает свое:

— Идиоты! Кретины!

Шуша испуганно оглядывается.

Потом Сашка начал приносить Шуше пленки с записями “на ребрах”. Диапазон был широкий — от Петра Лещенко до Элвиса Пресли. Если во время переключения радиолы в режим проигрывателя оттуда успевали прорваться новости, что-нибудь про “пребывание товарища Хрущева на международной Лейпцигской ярмарке”, Сашка уже не разражался бранью, они с Шушей просто иронически переглядывались. К началу зимы Шуша был уже наполовину завербован, во всяком случае, решил не вступать в комсомол.

— Пора тебя познакомить кое с кем, — сказал однажды Сашка. — Но имей в виду, это моя девушка. Для тебя у нее есть подруга.

Время от времени Сашка затаскивал Шушу в телефонную будку, откуда звонил этой своей девушке, имя которой скрывалось. Шуше отводилась роль восхищенного и завистливого слушателя. Разговор всегда начинался так:

— *Hello, baby!* — на этом английская часть диалога заканчивалась, но в конце возникала еще раз: — *Good bye, baby, love you.*

Шуша немедленно влюбился в любовь Сашки и прекрасной (какой же еще) незнакомки. Теперь он уже сам напоминал Сашке — не пора ли позвонить ей?

Это был год, когда молодые люди перестали разговаривать цитатами из “Двенадцати стульев” и переключились на “Трех товарищей”. Для объяснений в любви употреблялась фраза “я хочу, чтоб ты стала моей Пат”. Для проверки чувств девушка могла сказать молодому человеку: “Твои часы так грочуют”. Тот был обязан, как Робби, “швырнуть часы об стенку”: чем дороже часы, тем убедительнее любовь.

Когда отец сказал, что в ЦДЛ Яков Смоленский будет читать композицию по книге Ремарка, Шуша взвыл:

— Я, я, мне очень надо!

— Вот тебе билет на два лица, — сказал отец. — Пригласи какого-нибудь приятеля.

Единственным приятелем был Бондарчук. Но тут произошло неожиданное.

— Знаешь что, — сказал Сашка, — я вашего Ремарка не читал и не собираюсь. Можешь взять Алку.

— Какую Алку?

— Мою девушку, Аллу.

Шуша остолбенел. Что это за коварный замысел?

— Я просто хочу доставить ей удовольствие, — объяснил Сашка. — Она без ума от этой вашей дурацкой книжки. Но не вздумай к ней приставать.

Всю неделю Шуша провел в лихорадке. Это было первое свидание с девушкой, пусть даже с чужой. Он понятия не имел, как надо себя вести и что говорить. В субботу в шесть часов вечера он, точно по Сашкиной инструкции, стоял у десятого подъезда Иофановского Дома правительства, еще не подозревая, что семь лет спустя ему придется делать курсовой проект реконструкции этого дома.

Было уже совсем темно, как всегда в это время в декабре. Мигали и потрескивали синие и фиолетовые неоновые трубки “Ударника”, отражаясь в мокром снегу. Это был другой мир, не похожий на Русаковскую, где до сих пор к магазинам подвозили товары в телегах, запряженных лошадьми. Возле Дома правительства люди двигались быстрее, и не было никого в валенках с калошами. Он попал за границу.

— Привет, — сказала Алла. — Не замерз?

Он не заметил, как она подошла, не смог бы описать, что было на ней надето и даже как она выглядела, но все напряжение последней недели мгновенно исчезло, и он почувствовал себя легко и свободно.

— Нет, сегодня не холодно. Ты знаешь, как туда ехать?

— Пойдем пешком. Начало только через час.

Они перешли Большой Каменный мост, поднялись по улице Фрунзе, бывшей и будущей Знаменке, мимо Дома Пашкова и рудневского Министерства обороны и пошли по левой стороне Суворовского бульвара, который уже не был и еще не стал Никитским. Шуша развлекал Аллу, пересказывая истории, слышанные от отца. Дойдя до истории с портретом писателя Губарева в раме из сидения от унитаза, Шуша вдруг смутился — аристократическая девушка из Дома правительства и унитаза. Потом все-таки решился.

— Есть еще одна смешная история, — сказал он извиняющимся голосом, — но она немного... неприличная.

Алла оживилась, ожидая рискованной двусмысленности, и когда он дошел до унитаза, рассмеялась,

поняв, что Шуша на самом деле абсолютный ребенок. Потом она всю жизнь дразнила его этим сидением и однажды даже собиралась подарить ему на день рождения его собственный портрет в такой раме, но, зная его обидчивость, не стала.

Они протиснулись сквозь толпу у входа в ЦДЛ. Билетерша взяла билет и сказала:

— Мероприятие отменяется. Чтец заболел.

Шуша остолбенел и продолжал стоять перед билетершей, не произнося ни слова. Алла взяла его за руку:

— Ничего страшного. Не расстраивайся. Пошли.

Они двинулись обратно. Первое время Шуша подавленно молчал и только ближе к Суворовскому бульвару пришел в себя, а на Большом Каменном мосту они уже болтали, как будто были знакомы с детства. Прощаясь, договорились завтра сходить на каток в Парк культуры. От “Ударника” Шуша пошел домой на Русаковскую пешком. Он был в эйфории.

— Ну, рассказывай, — строго сказал Сашка на следующий день. Они уже давно переселились на последнюю парту и жили своей жизнью, стараясь не слышать происходящего в классе.

— Рассказывать, строго говоря, нечего, — ответил Шуша, продолжая рисовать на листке из тетради в клетку голую женщину с плакатом “Сольемся в экстазе!”. — Завтра на каток пойдем, — добавил он еще более небрежно.

— Гениальный рисунок! — неожиданно сказал Сашка. — Подари.

— Бери.

— Это, конечно, Алла?

Шуша задумался. Алла? Несмотря на головокружение от встречи, он еще не мог восстановить в голове ее образ, отдельные фрагменты ее внешности не складывались во что-то целое. Вряд ли он мог бы нарисовать ее по памяти. Он пожал плечами.

— Конечно, Алла, — настаивал Сашка. — Напиши вот здесь: “Алла”.

— Сам пиши.

— Напишу, — Сашка аккуратно сложил листок пополам и убрал в портфель.

На катке они четыре часа просидели в раздевалке в коньках, так и не выйдя на лед и опять болтая обо всем на свете. В нем неожиданно проснулась способность рассказывать смешные истории — то ли научился от отца, то ли пришла пора и включились гены. Он смотрел на ее чуть обветренные красные губы, от каждой его шутки в слегка раскосых зеленых глазах вспыхивал огонек, а губы расплывались в улыбке.

Потом под звуки проплывающего мимо со скрежетом лифта долго стояли на шестом этаже в ее десятом подъезде. Потом как-то незаметно их головы потянулись друг к другу и его губы уткнулись ей в шею. Она вдруг резко отдернулась и стала смотреть куда-то вверх. Он тоже взглянул и увидел чей-то силуэт.

— Это Нинка, сестра. Мне надо бежать, — испуганно сказала Алла и понеслась вверх по лестнице.

Не совсем понимая, где он, Шуша медленно спустился по лестнице, прошел мимо вахтерши, бросившей на него подозрительный взгляд поверх очков, вышел на улицу, поднялся на засыпанный сне-

гом Каменный мост, перешел Москву-реку, повернул на Моховую, прошел мимо дома Пашкова, вошел в павильон метро “Библиотека имени Ленина”, напротив которого в музее Калинина его принимали в пионеры, и поехал домой.

Утром обнаружил, что Аллины коньки остались в его сумке рядом с кроватью. Значит, связь между ними не прекращалась даже ночью.

В воскресенье он звонил Алле несколько раз, никто не снимал трубку.

— Дай мне ее коньки, — сказал в понедельник Сашка. — Она просила их привезти.

— Зачем? — не понял Шуша. — Я сам отвезу.

— Не отвезешь, — сказал Сашка со странным выражением лица. — Она не хочет тебя видеть.

— Врешь!

— Подожди до конца уроков, сам поймешь.

После школы Сашка затащил Шушу в телефонную будку.

— *Hello, baby!* Слушай, ты хочешь, чтоб я отвез тебе коньки или Шуша?

Тут он быстро сунул трубку Шуше.

— Конечно, ты, — раздался в трубке Аллин голос. — Не хочу я больше слышать про твоего Шушу.

У него закружилась голова. Продолжения диалога он не слышал.

— Ну что? — торжествующе произнес Сашка, повесив трубку. — Теперь понял?

— А что ты ей сказал?

— Я был вынужден сделать небольшую подлость. Показал ей твой рисунок с подписью “Алла” и добавил кое-что из твоих комментариев.

— Каких комментариев?

— Ну, вслух, конечно, ты ничего не произносил, но по выражению лица было ясно, что именно ты с ней мысленно проделывал. Так что приноси завтра коньки.

Много лет спустя Шуша придет к выводу, что это были самые несчастные дни всей его жизни. Приходя из школы, он доставал из сумки ее коньки, которые, конечно, не собирался отдавать Сашке, и долго смотрел на них. На третий день внезапно почувствовал, как его переполняет какая-то до сих пор не изведанная энергия. Не задумываясь, набрал Аллин телефон и заговорил веселым голосом:

— Алла, привет! Что случилось? Говорят, ты не хочешь меня видеть.

— Нет, нет, — растерянно проговорила Алла. — Ничего не случилось. Конечно, хочу видеть.

— Ну, давай я сейчас привезу тебе коньки.

— Конечно, привози.

Он помчался к метро. О коньках вспомнил, только позвонив в дверь ее квартиры на десятом этаже. Две вещи поразили его, когда он вошел. Во-первых, он никогда не видел таких квартир. Маленькая прихожая вела направо в крохотную кухню. Это была даже не кухня, а что-то вроде стенового шкафа, в который втиснули плиту с двумя конфорками и маленькую раковину. Второй объект, поразивший Шушу, когда он вошел в гигантскую комнату слева, был сидящий на стуле Сашка, который, увидев Шушу, поразился еще больше. Наступила долгая пауза.

— Так, — произнес наконец Сашка, обращаясь к Шуше. — И как же тебе это удалось?

— Я позвонил и спросил, что случилось, — ответил честный Шуша.

— А тебе все равно, — Сашка повернулся к Алле, — что он про тебя говорит и что рисует?

— Шуша мне все объяснил, — быстро соврала Алла. — Он этого не рисовал и не говорил.

— Так, значит, — произнес Сашка, продолжая сидеть. — Сговорились. Ну что же, не буду вам мешать.

После этого сидел еще полчаса, молча переводя взгляд с одного на другого, а потом встал и уехал.

В школе он больше не появился. В следующий раз Шуша его увидел ровно через десять лет. В дверь позвонили. Джей пошла открывать.

— Тебя какой-то человек спрашивает, — крикнула она Шуше.

Шуша вышел на слабо освещенную лестничную площадку. Там стоял оборванный мужик и что-то бормотал о пустых бутылках.

— Что вы хотите? — спросил Шуша.

— Бутылки, бутылки, — забормотал тот. — Нужны пустые бутылки.

Шуша пригляделся. Это был Сашка, но в каком ужасном виде!

— Зачем тебе бутылки? — спросил Шуша.

— Поройся, Шуша, поройся, в каждом доме есть пустые бутылки. Очень нужно!

— Да ты зайди. Я поищу.

— Нет, нет, зайти не могу. Ты поищи, я подожду.

Получив пять бутылок — одну с наклейкой “Ахашени красное полусладкое”, две от “Масла Кубанского салатного” и две из-под “Боржоми”, — Сашка рассказал, что работает на скорой помощи и у него есть жена и ребенок.

— Вы с Алкой меня так травмировали, — объяснил он, — что я стал алкоголиком.

После этого он приходил еще не раз, и Шуша, чувствуя себя виноватым, добросовестно собирал для него бутылки. Через несколько месяцев Сашка исчез навсегда.

РЕЖИССЕР

По своим последствиям наплыв иностранцев во время Московского фестиваля молодежи и студентов 1957 года можно сравнить только с высадкой английских пуритан на скалу Плимут в Бостонском заливе в 1620-м. В Москве появились фарцовщики в джинсах, немые бородатые философы, абстракционисты с фломастерами и горящими глазами, сильно пьющие джазовые саксофонисты, голодные подпольные поэты и тому подобные невиданные существа. Алла была в самом центре этой цивилизации, потому что ее старшая сестра Нинка как раз бросила своего фарцовщика и на короткое время вышла замуж за абстракциониста.

Квартира, где жила Алла с мамой, представляла собой огромную комнату-студию, больше ста квадратных метров. В этот вечер она была до отказа заполнена странно одетыми людьми. Стены были украшены живописью Нинкиного абстракциониста. У стены на коврике сидел бородатый босой человек с африканским барабаном, который, как впоследствии обнаружилось, он выменял у гостя из Ганы, отдав тому пионерский горн. Раскачиваясь, он бил в этот барабан и произносил монолог, в котором попадались слова “дзен-буддизм” и “Лао-Цзы”. Всё вместе: босые ноги, борода, барабанный бой, шаман-

ские интонации, незнакомые слова — произвели на всех присутствующих, включая Шушу, гипнотическое впечатление. Когда бородач замолк, наступила тишина, которую нарушил худой, лысый, в обтерханной одежде молодой человек, сидевший в углу. Он негромко, но так, чтобы слышали все, произнес:

— Все это можно прочесть в третьем зале Ленинской библиотеки... — и после точно выдержанной паузы добавил, чуть скривив губы: — ...правда, без барабанного боя.

После этого встал, повернулся к сидящему рядом с ним юноше и сказал:

— Пошли отсюда.

Оба встали и, переступая через сидящие и лежащие тела, стали пробираться к выходу.

Эффект от этой реплики и драматического ухода был, пожалуй, даже сильнее, чем от монолога. По режиссерскому мастерству эпизод был близок к лучшим сценам из романов Достоевского. Как потом выяснилось, любимого писателя этого лысого.

— Мы должны ходить в кафе “Артистическое”, — объявила Алла через несколько дней. — Нинка сказала, что там собираются интересные люди. Там даже бывает Сеньор.

— Кто это?

— Лысый, помнишь?

Ни в каких кафе Шуша до этого не бывал, и что там делают, не знал. Алла к этому времени стала его главным учителем жизни, от нее он узнал магические слова “сексапильный” и “Фрейд” и поэтому безропотно согласился. Они пришли в кафе. Красавица Нинка сидела в окружении друзей. Небрежно пома-

хав им рукой, за свой столик тем не менее не пригласила. Они сели в стороне и заказали “крем-кофе”, как тогда называли эспрессо. Шуша нервно теребил в кармане деньги. Через какое-то время появился небритый Сеньор в сопровождении подростка-мулата. Они присоединились к Нинкиной компании.

Вид у Шуши с Аллой был несколько испуганный и растерянный. Через какое-то время Нинка сжалась и дала знак, чтобы они пересели к ним. Они взяли свои чашки и пошли к маленькому столику у окна, там собралось уже человек пятнадцать. Кое-как вдвинув свои стулья, сели. Сеньору это явно не понравилось.

— Пошли отсюда, — мрачно сказал он мулату, — тут слишком тесно.

Похоже, что эффектный уход был его излюбленным приемом.

Алла была не из тех, кто привык сдаваться без боя, и они продолжали мужественно ходить в “Артистическое” после школы и пить там противный горький кофе. Однажды, месяца через три, сидели за столиком в середине зала, а компания Сеньора, как всегда, у окна, и Сеньор вдруг обратился к кому-то через весь зал:

— Идите к нам, чего вы там одни.

Шуша с Аллой стали оглядываться: к кому это он обращается?

— Сюда, сюда, — продолжал Сеньор, уже явно им.

Они пересели за их столик, потом Сеньор сказал свое “пошли отсюда”, и они вышли вместе на улицу. Ходили три часа, и все это время Сеньор не умолкал. Их потом многие спрашивали: “Что же он вам говорил? Постарайтесь вспомнить!” Единственное, что

осталось у Шуши в памяти, была фраза: “Самый главный талант — это не способность писать стихи или картины, это талант быть человеком. Мало кому удается”.

После нескольких месяцев шатания по городу и многих часов сеньоровских монологов они узнали о нем много интересного. В конце 1950-х, когда его выпустили из психушки, кто-то решил, что его надо женить на Алисе. Алису привез в Москву из Америки в 1932 году, в возрасте шестнадцати лет, ее отец, серб Джеральд Маркшич. В России семья распалась, мать умерла от воспаления легких в 1937-м, успев проклясть мужа за то, что он привез ее в эту дикую страну. Джеральд женился на другой. Брат Алисы уехал в Запорожье строить ДнепрогЭС. Алиса осталась одна.

От одиночества и отчаяния в 1941 году она вышла замуж, без большой любви, за негритянского актера и певца Лонни Уокера. Родила ему двух темнокожих детей: Рикки и Мэла. В 1952-м Лонни умер от аппендицита.

К моменту знакомства с Сеньором Алиса жила с двумя детьми в крохотной комнате в коммунальной квартире в проезде Художественного театра, напротив кафе “Артистическое”. Рикки было пятнадцать, Мэлу двенадцать. У Рикки в это время был вполне плотский роман с Венькой, который был старше ее на четыре года. Сеньор начал бывать в этой квартире в качестве жениха и будущего отчима Рикки и Мэла. Мэл его обожал, Рикки он тоже нравился, но она, по ее словам, “не видела в нем мужчину”. На день рождения Алиса купила жениху новые брюки.

Когда Сеньор, зимой и летом одетый в клетчатую рубашку и старый пиджак — явно с чужого плеча, появился в их доме в новых брюках, Рикки увидела в нем мужчину и немедленно влюбилась. Роман, страстный, бурный, абсолютно платонический, продолжался всего несколько дней. В какой-то момент Рикки решила, что обязана все рассказать Веньке, и решила ехать к нему, чтобы мужественно во всем признаться. Сеньор зачем-то поехал ее сопровождать. Он остался курить на улице, а Рикки пошла наверх признаваться. Выкурив несколько пачек “Шипки”, Сеньор понял, что Рикки уже не вернется. Простоял там до утра, а потом пошел домой и напечатал на машинке “Рейнметалл” письмо друзьям по Ленинградской тюремно-психиатрической больнице, где их всех когда-то лечили от диссидентства, что просит ему не звонить и не приезжать, так как жить он больше не хочет и собирается умереть путем голодания.

Друзья все поняли правильно, приехали с паке- том еды и спасли его от голодной смерти. Но сердеч- ные раны быстро не заживают. Сеньор переселился в любимое кафе за столик у окна, из которого можно было наблюдать за подъездом Рикки, и просидел так несколько лет. Там, как мы уже знаем, Шуша и Алла с ним и познакомились.

19 июля 1960 года. В крохотной конуре Сеньора трое: Алла, Шуша и Сеньор. Единственный предмет мебе- ли — продавленный диван, на котором все трое раз- местились с разной степенью комфорта. Остальное пространство занято высоченными стопками италь- янских газет и блоками сигарет “Шипка”.

— Нам с тобой нужно поговорить, — произнес Сеньор. — Разговор будет об Алле. В принципе, нам надо выйти в другую комнату, но другой комнаты нет, поэтому будем говорить об Алле, как будто ее здесь нет. Дело в том, что Алле пришла в голову странная идея, что она в меня влюблена. Это, конечно, блажь и я это из нее выбью, но это может занять какое-то время. Самое неправильное, что ты можешь сейчас сделать, это сказать “а ну вас к черту” и уйти. Этого делать не надо. Без тебя все развалится. Я понимаю, ситуация странная, но потерпи немного. Аллу я тебе верну в целости и сохранности.

Комната кружилась. Стопки газет *Paese Sera* нависали над Шушей и грозили обрушиться. Смысл сказанного Сеньором дошел только вечером, когда Шуша уже был дома.

С этого дня началась странная жизнь втроем, которая продолжалась несколько месяцев. Алла ездила к Сеньору за книгами и иногда, если ссорилась с мамой, оставалась у него ночевать. Шуша слова “верну в целости и сохранности” воспринял как что-то вроде клятвы юного пионера: “Перед лицом своих товарищей торжественно обещаю...” Шуша тоже ездил к Сеньору, привозил ему свои претенциозные авангардные сочинения, напечатанные на отцовской “Эрике”, иногда оставался ночевать на грязном диване. Что это было, платоническая любовь втроем? Как Лиля, Володя и Ося? Только много лет спустя Шуша нашел формулу: эти отношения были симбиозом. Манипулируя сытыми и благополучными детьми из “приличных семей”, Сеньор — через них — мог пережить то самое счастливое детство, которое у него было отнято тюрьмой. “Детям” же

казалось, что, переселяясь на одну ночь из чистых постелей на грязный прокуренный диван, они осуществляли акт бунтарства и неповиновения. Жить так, как Сеньор, каждый день им никогда бы не хватило смелости.

МЭЛ

Мой отец Лонни Уокер бежал из города Лос-Анджелеса, штат Калифорния, в Москву в поисках места, где его черная кожа не делала бы его гражданином второго сорта. В нем было 6 футов и 3 дюйма, 195 фунтов весу, ни капли жира. Он был актер, певец и бабник. 6 ноября 1934 года Лонни ходил по улицам Москвы, украшенной фанерными шестернями, портретами усатых мужчин с ласковыми глазами, красными полотнищами с квадратными белыми буквами, и чувствовал себя счастливым. Это был рай. Незнакомые люди подходили к нему, что-то говорили, пожимали руку, обнимали. У них были плохие зубы, от них пахло, они были одеты в лохмотья, но отец все равно был в восторге.

Когда я попал в Лос-Анджелес, хотел разыскать дом, где он жил, найти каких-то соседей, родственников, но не знал, откуда начать. Джей-Джи пошла бы, конечно, в библиотеку, поговорила бы на своем оксфордском английском языке с дежурным библиографом и нашла бы все. Но Джей-Джи умерла, и теперь все соседи и родственники моего отца, его подружка Лу, которую он бросил в 1934 году на третьем месяце беременности, а может быть, и младенец, мой брат или сестра, так и останутся ненайденными,

не подозревающими, что их братец Кролик топает в своих итальянских тоддзах по раздолбленным мостовым Сентрал-Стрит. Чйза, как говорит моя сумасшедшая мать, Чйза Край! Что-то это выражение значило у них в шестом классе привилегированной частной школы в Хэнкок-Парке.

Я стараюсь представить себе, как отец ходил по улицам Москвы 6 ноября. У меня есть несколько мутных фотографий, они достались мне после смерти Джей-Джи. Кто снимал, не знаю. Я вглядываюсь в эти фотографии и пытаюсь понять, что именно чувствовал мой отец, когда его обнимали люди на улицах.

Похоже, они видели в нем представителя угнетенных классов Америки и своими рукопожатиями старались компенсировать два века унижений. Когда тридцать лет спустя по улицам ходил я, пролетарского интернационализма становилось все меньше и меньше. Все чаще ко мне подходили с предложением — на ломаном английском языке — продать тоддзы или левиса́. В этом случае я обычно начинал очень любезно говорить с ними по-английски. Они не понимали, что язык я знаю плохо. Я радостно соглашался продать, вел их за собой через весь центр в свой подъезд, и когда дверь за нами захлопывалась и мы оставались в полумраке, негромко говорил тому, кто был пошире в плечах:

— Уклёбывай отсюда, чиздарванец, пранк паскудный, а то сейчас клаку надеру.

От неожиданности паскудный пранк даже забывал обидеться.

— Смотри, Вовик, как чисто говорит.

— Немножко чище, чем ты, — улыбался я, и тут уже обычно чиздарванец начинал замахиваться.

“Не ешь мяса в супе, Мэл, — говорил Владимир Фролыч, заслуженный мастер спорта по боксу, — скорость потеряешь”. Мяса в супе я не ел и скорости не потерял, хотя дальше второго разряда не пошел — для моих уличных приключений этого было достаточно. Поскольку я знал, что буду их бить, уже в тот момент, когда они подходили ко мне со словами “икссьюз ми сёр”, я с самого начала внимательно смотрел, как они держат руки и плечи, как движутся, как поворачивают голову, а сам продолжал улыбаться улыбкой интернационального идиота, чтобы усыпить бдительность. К тому моменту, когда один из них замахивался, вся партия была уже сыграна у меня в голове, мне оставалось только передвигать фигуры на нужные клетки.

За что я бил их? Кому мстил? Отцу — за то, что, пожимая им руки, он не мог стереть с лица блаженной улыбки? За то, что не сходил в Публичную библиотеку на Пятой улице и не прочел ничего про страну фанерных шестерен? За то, что все его знания о России были вынесены из ресторана “Бублички” на бульваре Сансет? Матери — за то, что была такой жалкой? За то, что не умела зарабатывать деньги? За то, что мы жили в этой убогой комнате? За то, что не научилась хорошо говорить по-русски? Что была пошлостью для соседей?

Вечером 6 ноября отец, скорее всего, оказался в доме у того самого сотрудника ВОКСа, который организовал всю поездку. Я могу себе представить этот визит совершенно отчетливо, как в кино. В большой комнате накрыт раздвинутый черный дубовый стол. Кроме Наума Шульца и Лонни, за столом сидит брат Наума Левик, только что вернувшийся из Америки.

— Мистер Уокер, — обратился Левик по-английски к Лонни.

— Комрад Уокер, — поправил Наум.

— Лонни, — поправил Лонни.

— Вот скажи мне, Лонни, — продолжал Левик, — в каком районе Лос-Анджелеса ты жил? Можешь не говорить, я знаю, в каком районе ты жил. Но не потому, что я читал твои документы, а потому, что я знаю социологию. Ты черный, у тебя марксистские взгляды, ты мог жить только на бульваре Адамс. Я знаю социологию.

— Мне очень жаль, комрад Левик, но ты ошибся, — сказал отец с улыбкой. — На бульваре Адамс живет моя подружка Лу, а я жил чуть южнее.

— Чуть южнее? — удивился Левик. — Тогда я знаю, сколько ты платил за квартиру. Ты платил сорок долларов в месяц. Я знаю социологию. Сорок долларов. Да или нет?

— Нет, — виновато ответил отец.

— Больше?

— Нет. Я ничего не платил.

— Ага! — радостно воскликнул Левик, как будто именно это он и предсказал. Наум показал отцу две деревянные теннисные ракетки “Антилопа Бранд”, которые Левик привез близнецам Дане и Арику из Америки. Они были блестящими, пахнущими лаком и кожей, с туго натянутыми струнами.

— Вот, — сказал отец, — я прожил тридцать лет в Америке и никогда не держал в руках теннисной ракетки. Я приехал в страну социализма, я сижу за столом с образованными людьми, которые мало того что выучили русский язык, где даже буквы дру-

гие, но и свободно говорят на моем родном языке. Я счастлив.

Легли спать поздно, около двух. Лонни положили в кабинете Наума. Наум с Левиком легли на полу в гостиной и хохотали всю ночь. Лонни не мог заснуть. За окном ревели грузовики, слышались крики и стук лопат. Лонни оделся и вышел на улицу. Горели прожектора. Сотни людей с лопатами и кирками переругивались на непонятном языке. Где-то гремели взрывы. Было непонятно и спросить было некого. Он двинулся вниз к Манежной площади. Там было еще оживленнее. Медленно оседала вниз взорванная часть кирпичной стены, поднимая облака пыли. Это был ад, и Лонни был счастлив.

Он познакомился с моей матерью семь лет спустя. Судя по тому, как они бросились друг другу в объятия, оба были к этому времени глубоко несчастны. Трудно представить себе менее подходящих друг другу людей. Он черный, она белая. Он из бедной среды, она из богатой. Он был высокий и обладал необыкновенной физической силой, она — крошечная и болезненная. У него к моменту их встречи были уже сотни женщин. Она была девушкой. Секс был для него смыслом жизни. Для нее — пыткой. Их объединяло только одно: оба были из Лос-Анджелеса, оба говорили почти на том же самом языке, хотя мать всегда смеялась над произношением мужа: “Эйнт ай бьютифул?”

Она была из Хэнкок-Парка. Их дом стоял на усаженной кипарисами улице Уиндзор. До района Креншо, где жил Лонни, было не больше шести миль, но она никогда там не была. Родившись и прожив

в Америке шестнадцать лет, не видела вблизи ни одного черного, Лонни был первым. Крутом была война, они давали концерт раненым солдатам, никто не говорил по-английски, никто не понимал ее. Стоило ему сказать свое “эйнт ай бьютифул”, как она была готова кинуться ему на шею.

Пожились в 1941-м в Уфе, вернулись в Москву в 1943-м. В 1944-м Лонни бросил ее, беременную, и переехал к актрисе Алле Давыдовой, а в 1952 году умер во время операции аппендицита. Общий наркоз на него не подействовал. Из вежливости он притворился спящим. Когда ему резали живот, он терпел, но, когда приоткрыл глаза и увидел в зеркале наверху свои развороченные внутренности, вскочил и бросился бежать, волоча за собой кишки и оставляя на полу кровавый след.

Мы с матерью жили в коммунальной квартире, где было еще девять семей. Я там родился и вырос: на кухне девять столов, две плиты, но одна раковина. Ванная комната одна и всегда занята стиркой белья. Это был единственный мир, который я знал. Мать рассказывала про трехэтажный дом с кипарисами на улице Уиндзор, но ее рассказы никто не принимал всерьез.

— Что, Алиса Джеральдовна, у вас было три ванны и четыре унитаза в доме? И что же вы с ними делали? Огурцы солили в ваших унитазах? Карпов зеркальных разводили в ваших ваннах? И чего это вас понесло из ваших хоромов в нашу коммунальную квартиру? Врете вы всё, Алиса Джеральдовна, не было у вас никаких унитазов.

— Было, — плакала мать. — У нас вокруг дома три акра земли было, садовник был, служанка.

— Ну а здесь, Алиса Джеральдовна, никаких служанок нет, идите-ка мыть наш единственный унитаз, сегодня ваша очередь.

В школу я ходил редко, разъезжал с матерью и сестрой по заводским и сельским клубам. Афиши развешивали: “Мэл Уокер: негритянские ритмы”. Или: “Мэл Уокер: русские романсы”. Ни петь, ни танцевать я не умел, но экзотическая внешность спасала. Когда в десятом классе начались экзамены, я не сдал ни одного и аттестата не получил. Правда, для бокса, негритянских ритмов и русских романсов аттестат был не нужен. Единственное, что я вынес из школы, это пьеса Горького “На дне”. Я знал ее почти наизусть. Это было про нашу семью. Мать — Барон:

— Наше семейство... Старая фамилия... времен Екатерины... дворяне... вояки!.. выходцы из Франции... Служили, поднимались всё выше... При Николае I дед мой, Густав Дебиль... занимал высокий пост... богатство... сотни крепостных... лошади... повара... Дом в Москве! Дом в Петербурге! Кареты... кареты с гербами!

А над ней смеялись: врите вы всё, Алиса Джеральдовна!

Шок, который я испытал в квартире Шульцев, был примерно такой же, какой Джей-Джи испытала, когда попала в нашу комнату. Ее поражало все — и то, как надо стучать в стену и никогда не притрагиваться к звонку, как жарить шестикопеечные котлеты на воде, когда нет масла, как в одной крохотной комнате могут не только разместиться, но и спать три человека, как можно мыться каждый день и все-

гда надевать все чистое, несмотря на отсутствие ванной, — американская привычка, усвоенная мной от матери.

В 1960 году у матери появился жених. Все называли его Сеньор. Легендарная личность. Я воспитывался в основном мамиными подругами, но всегда тянулся к мужчинам. С точки зрения подростка, Сеньор не обладал достоинствами: не играл в футбол, не дрался, не пил в подворотне, — но для меня он был мужчиной. Меня поразила его манера говорить, так не разговаривал никто из друзей, родственников и знакомых. Я невольно стал имитировать его манеры, как, впрочем, и все, с кем он сталкивался. Он в каком-то смысле заменил мне отца, хотя о его планах стать моим отчимом я узнал только после его смерти. Меня поражало все — грязь в его берлоге, кучи книг и газет, хаос, в котором он прекрасно ориентировался. Мне не мешали его сигареты, не раздражал дым, он таскал меня по Москве, мы гуляли по ночам. Подарил дорогой приемник, по которому мы стали слушать “Голос Америки”. Я никогда не представлял, что постороннему человеку можно сделать дорогой подарок, причем не на день рождения, а просто так. Я думаю, что он жил как христианин, хотя никогда не считал себя верующим. Вот у него нет денег — ему наплевать. Получает какой-то гонорар — ведет всех в кафе пить кофе, покупает пирожные. Дарит подарки, раздает долги, опять остается ни с чем. Я теперь веду себя точно так же. Трачу гонорары за свои выступления на своих артистов и музыкантов, на девиц, которые у меня танцевали, на их детей, на их мужей, на их матерей.

Многие считали, что его интерес к мальчикам носил эротический характер, но я думаю, что это чушь. Я столько раз спал рядом с ним на его вонючем диване, и он ни разу никак себя не проявил в этом смысле. Ни разу не прикоснулся. В основном, конечно, я спал, а он печатал на машинке.

Историю с Рикки помню смутно. Мне было двенадцать, Рикки пятнадцать, ему тридцать два.

— Мэл, помнишь, ты говорил, что мне нужно жениться? — спросил Сеньор.

— Да.

— А что если мне жениться на Рикки?

Тут я просто замер с открытым ртом. Что? На моей сестре? Но через минуту я уже прыгал от радости.

— Да, Сеньор! Да. Ты будешь моим братом. Ты — мой старший брат. Да!

АЛИСА

Мой отец приехал в Штаты из Сербии. Он верил в социализм. Поменял фамилию Маркшич на Маркс. Считал, что СССР — единственная страна для простых людей. Меня он обожал, привозил из Парижа дорогие духи. У него был мясной бизнес. В 1929 году пришлось его закрыть. *Great Depression*.

Про мамино прошлое я ничего не знала. Документы вроде бы не сохранились, и мне ничего не рассказывали. Но мой брат Том, он родился еще в Сербии, рассказал потом:

— Ты знаешь, кто наша мама? Австрийская графиня.

Я так и знала! Я чувствовала, что мама совсем другая. И в себе это тоже всегда чувствовала. А документы, оказывается, сохранились, просто Леся, украинская жена Тома, всех нас ненавидела и к документам не допускала.

Мы уехали из Америки после моего последнего концерта. Мне исполнилось пятнадцать. Моя замечательная учительница Матильда Альт, англичанка, посоветовала ехать в Берлин, чтобы я продолжала учиться там. Мы сели на пароход “Бремен”. Тогда было всего два самых быстрых парохода — “Бремен” и “Европа”. Я там на пароходе играла Шопена и Вторую рапсодию Листа. Через шесть дней мы уже видели землю, какой-то остров. Потом Франция. Некоторые сошли. А потом проплыли между Англией и Францией, и справа была Германия. Там тоже многие сходили, а мы плыли дальше до Бременхавена. Там сели на маленький пароходик, который довез нас до Бремена. Пароход причаливает, и вдруг я слышу знакомый свист “тюр-лю-лю, тюр-лю-лю”. Я знаю его с детства. Это Том ходит по причалу и насвистывает. Отец послал его в СССР узнать, как там и что. Том послушался отца, но неохотно. А тут приехал нас встречать. Я кричу:

— *Томму! Томму!*

Мы все сели на поезд и вечером прибыли в Берлин. Папа сразу начал уговаривать Тома ехать в СССР, брат яростно сопротивлялся. Он уже провел там год, замерз, простудился и больше не хотел возвращаться. Он все пытался давать русским советы, как быстрее обслужить рабочих во время обеда, как лучше наладить производство, а они ему:

— Вы что, учить нас приехали? Может, вы шпион?

Первая ночь в Берлине была шикарная. Мы ходили по главной улице *Unter der Linden*. Прошли мимо того места, где однажды выступал Гитлер, дошли до Бранденбургских ворот и двинулись обратно. Идем медленно, любуемся, все залито светом, магазины, кафе, красота.

Все несколько месяцев, что мы там прожили, я посещала Берлинскую консерваторию. Меня даже похвалил Горовиц. Когда я сказала ему, что папа собирается везти нас в СССР, он схватился за голову: не делайте этой глупости!

Но мы все-таки ее сделали. Когда мы приехали в Запорожье, отец увидел, что все совсем не так, как думал он и его друзья в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Но голода не было. Мы все получили карточки, даже я. Четыре карточки на семью. Хлеба у нас всегда было много, потому что мама покупала на рынке муку и сама пекла хлеб. Всегда пекла хлеб. Хлеб, который продавался, не был похож на хлеб. Если буханку бросить на пол, она подскакивала, как мяч.

— *Is this bread?* — спрашивала мама. — *Bread is what I make**.

Когда ДнепрогЭС построили и пустили первый пароход через шлюзы, я на палубе играла на аккордеоне “Дунайские волны”. Они все окружили меня, потом я играла им американские песенки, а весь пароход танцевал.

В первые два года мы еще могли вернуться в Америку, мама умоляла папу, мой брат Том тоже, но папа был непреклонен:

* Это хлеб? Хлеб — это то, что я делаю (англ.).

— Что я там буду делать в моем возрасте? Опять строить мясной бизнес? У меня уже на это нет сил.

А меня интересовала только музыка. В Запорожье приехал пианист Колотухин. Он услышал, как я играю, и сказал маме:

— Везите ее в Ленинград. В этом городе она ничему не научится.

Но мама хотела в Москву. Мы с ней вдвоем переехали, она сняла маленькую комнатку, и я поступила в Московскую консерваторию.

Однажды я услышала, как она сказала отцу:

— *You have ruined our family**.

Это было в 1936 году, у нас отобрали американские паспорта, и мы никуда уже уехать не могли.

Я никогда не любила Лонни. А он... Врал, что влюблен в меня без памяти, может быть, даже верил в это. Говорил, хочу целовать землю, по которой ты ходишь, одену тебя как куклу, куплю тебе зимнее пальто. У меня никогда не было зимнего пальто, я всегда мерзла в России. Он был довольно уродлив. Правда, прекрасно пел. Был хорошим актером. С такой обаятельной улыбкой. Говорил на прекрасном английском. Мой язык был намного беднее, я ведь успела закончить только девять с половиной классов в Америке. Но он чувствовал себя очень одиноким в России. В 1934 году приезжала Мариан Андерсон**, он ее умолял остаться в СССР, но она сказала "нет". Когда приехал Поль Робсон — то же самое: останься, это большая страна, ты будешь выступать

* Ты разрушил нашу семью (англ.).

** Андерсон Мариан (*Anderson Marian*; 1897–1993) — темнокожая американская певица, знаменитая своим контральто.

в этой части, а я в этой, и мы никогда не будем конкурировать. А Поль сказал — нет, я родился в Америке, это моя родина, я никогда не перееду в другую страну. Поль был тоже черный, но очень красивый. И умный. Мы с ним дружили. Лонни страшно ревновал, даже считал, что мои дети не его, а Поля. Хотя сам был уже влюблен в кого-то. Хотел развестись. Для меня это было катастрофой. Поль давно уехал. В 1949-м я ходила на его концерт в зале Чайковского. Зашла на минуту за кулисы поздравить. Когда он приезжал получать свою Сталинскую премию в 1952-м, даже не позвонил.

Я встретила с этой дамой, с которой у Лонни был роман. Я ей сказала — что вы делаете, вы разрушаете мою семью. Пожалуйста, не надо. Я живу в стране, где очень мало черных детей. Мне будет очень трудно снова выйти замуж. Кому здесь нужны цветные дети. Это была русская женщина, высокая, как мой муж, очень плохая актриса, кстати.

В 1961-м мне передали от Поля записку — почте он не доверял, ни американской, ни советской, — что он остановится в гостинице “Советская” на один день по дороге в Шотландию и хочет со мной встретиться. Об этой поездке практически никто не знал, и жены Эсси с ним не было. Я приехала в гостиницу и сказала, что я его сестра, — первое, что пришло в голову. К счастью, в России тогда так мало знали о неграх, что никто не заметил абсурда — белая сестра черного певца. Дежурная стала звонить, он не отвечал. Мы вместе с ней поднялись к его номеру и стали стучать.

— Он точно никуда не выходил, — сказала дежурная.

Мы стучали еще минут пять, потом она открыла дверь своим ключом — в комнате никого. Постучали в ванную, дверь не открывается. Тишина. Дежурная ключом открыла и эту дверь. На кафельном полу лежал Поль в белом халате, залитом кровью, вены на обоих запястьях были перерезаны бритвой, которая валялась рядом. Дежурная бросилась к телефону вызывать врача, а я туго перевязала его запястья, чтобы остановить кровь, — одно моим синим шерстяным шарфом, другое серым крепдешиновым поясом от платья.

Врач примчался через пять минут и сказал, что мы его спасли. Еще минут десять, и было бы поздно. Дежурная ушла. Врач перебинтовал запястья и теперь что-то громко кричал в телефон. Потом спросил:

— Вы можете посидеть с ним минутку?

Я кивнула, и врач убежал.

Поль открыл глаза, он был смертельно бледен. Я спросила, зачем он это сделал.

— Я в отчаянии, — пробормотал он. — Я защищал СССР. Десять лет назад... Где мой друг Соломон Михозлс? Отвечают: скоропостижно скончался. Где мой друг Ицик Фефер? Молчат. Потом его привезли. Истощенный, измученный. Показал пальцем на люстру — нас подслушивают. Отчего умер Соломон? Он — палец к виску. Я все понял. Спросил о работе, о семье. Он сказал, что всё в порядке, а сам пальцами показывает решетку. Готовит новую книгу? Он рукой изобразил петлю вокруг шеи. Потом сказал, что его мучает мигрень, и встал. Я проводил до лифта. Потом узнал, что все члены Еврейского антифашистского комитета расстреляны. А сегодня какие-то люди окружили меня в вестибюле гостиницы —

умоляют помочь, одному уехать из СССР, другому освободить родственника, до третьего мы не дошли. Пришла милиция. Их всех вывели их улицу. Мне стыдно перед ними, но что я могу сделать? Повторять все, что врут американские газеты? Что в СССР нет свободы? А где она есть? Я слишком стар, чтобы менять убеждения. Но я хотел тебя видеть не для этого. Мне нужно знать, Мэл и Рикки — чьи это дети? Скажи мне правду, я не буду вмешиваться в твою жизнь.

— Мэл — сын Лонни, а Рикки — твоя дочь, — сказала я тихо. — И я не хочу, чтобы они об этом знали.

— Но я могу ее увидеть?

Я не успела ответить, потому что в этот момент в комнату влетели врач с санитарями и каталкой. Поля положили на нее и укатили. Больше я его никогда не видела.

**СТИХОТВОРЕНИЕ, СОЧИНЕННОЕ ШУШЕЙ
НА УРОКЕ ХИМИИ 12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА,
ПОКА ГАГАРИН ЛЕТАЛ В КОСМОСЕ, И ПОЗДНЕЕ
ПЕРЕПЕЧАТАННОЕ НА МАШИНКЕ СЕНЬОРА**

Вагон был полон сумасшедших,
С ума сошедших то есть. Разве
Вы раньше думали о несших
Следы креста на красный праздник?

Старик сказал про Павла: “пал он,
Как колос”. Помнили об аде?
Вагон был сумасшедших полон,
Святых, произносящих за день

Два слова. Я ошибся, меньше,
А ночью — слышали такое? —
В тиши шептавших молча тonyше,
Чем скрипка мертвая. В покое

Меня оставьте. Ваши тени
Пускай исчезнут. Ваши муки
Моими станут. Пожелтели,
Осыпались страницы. В руки

Я взял последнюю надежду.
Ни взгляд твой и ни желтый голос
Не воскресят нас. Раньше голод
Меня не мучил по теплу.

Я жив, но скоро я умру.

Ниже приписано от руки почерком Сеньора: “За-
чем напускать туману?”

АЛЛА

На самом деле я познакомилась с Сеньором еще до всякого кафе. Он пришел к моей маме, когда вышел из тюремно-психиатрической больницы, где сидел вместе с моим дедушкой. Кстати, тот и научил его итальянскому языку. Мне тогда было лет четырнадцать, а Сеньору, я думаю, около тридцати. Я еще подумала: старик, а такой приятный молодой голос.

Потом, когда он вдруг приблизил нас к себе и мы начали таскаться с ним по улицам, я в него как бы влюбилась. Шуша страдал, но недолго. Вот

если бы Сеньор его “отшил”, как он поступал со многими, он, возможно, страдал бы по-настоящему. Но ни меня, ни Шушу он никогда не “отшивал”. Иногда, правда, отпускал язвительные замечания — с его звериным чутьем это было не сложно, — но если он видел, что укол достиг цели, тут же прекращал. Зачем-то мы были ему нужны.

Для нас он был тогда абсолютным авторитетом, больше, чем родители, учителя и все, что было написано в книгах. Он объяснял нам, что мы чувствуем, и говорил, что мы должны делать. В каком-то смысле он лишил нас выбора, свободной воли. Бродяга и аскет, но с гипертрофированными амбициями. Романа или даже рассказа написать не мог, рецензии на театральные спектакли ни удовлетворения, ни славы ему не приносили, оставалось строить мизансцены из живых людей. Этим-то, наверное, и объясняются все его рассуждения, что талант быть человеком важнее таланта писать романы.

Я приходила, бросала камешек в окно, он высывался и говорил:

— Иди потихоньку, я сейчас выгляну в коридор, посмотрю, как там соседи.

Я заходила в его конуру, отгороженную фанерной перегородкой от родственников. В ней было, наверное, шесть квадратных метров: меньше, чем советская норма 1920-х. Большую часть занимал прокуранный и продавленный диван, потом очень узкий проход, куда с трудом можно встать, а у другой стены настоящий Монблан из газет *Unita* и *Paese Sera*. И ту и другую можно было покупать в вестибюлях интуристовских гостиниц. Если ты входил, смешавшись с толпой иностранцев, то швейцар не решался

тебя остановить, это работало даже с обтрепанным Сеньором.

Регулярное чтение итальянских газет делало его самым востребованным застольным собеседником. Юрка Свешников, который читал польские журналы, однажды в кафе попытался занять “трибуну” и стал рассказывать про диалог Бретона с Сартром, которого он назвал лидером “экзистенциалистов”.

— Юра, — перебил его Сеньор умоляющим тоном, — и так трудное слово, а ты еще в него лишний слог добавляешь.

Больше Свешников при нем рта не открывал.

Ближе к вечеру Сеньор выглядывал в коридор.

— Всё тихо, можешь идти умываться.

Я шла умываться, как могла, у меня ни зубной щетки, ни полотенца с собой не было. Потом возвращалась, и он говорил:

— Можешь ложиться.

Диван был очень грязный. Я ложилась в одежде. Он совал мне книжку:

— На, читай Пруста. А у меня дела.

Я читала Пруста, потом засыпала, и он своей маленькой аккуратной белой рукой осторожно забирал книгу. Я спала, а он сидел всю ночь, стучал на машинке, мне не мешало. Я просыпалась под утро, а он сидит, ужасно накурено, и читает. Сколько раз я у него ночевала — он ни разу не ложился.

Он помнил много стихов и часто их читал вслух. Иногда из Гумилева:

Это было, это было в те года,

От которых не осталось и следа.

Это было, это было в той стране,
О которой не загрезишь и во сне...

Или, может быть, когда умрем,
Мы в тот лес направимся вдвоем.

Мы ходили по ночной Москве, и она напоминала мне этот лес. Все это как-то ужасно в меня запало, и чувствовался вкус к жизни, которого с такой силой никогда уже не испытывала. А потом началась нормальная скучная взрослая жизнь.

ДВЕ ПАРЫ

Ситуация изменилась в декабре. В четыре часа дня, когда в Москве уже почти совсем темно, Шуша с Аллой вышли из перетопленного кафе на морозную улицу Горького и пошли вверх по скользкому от снега и черных дорожек льда асфальту. К этому времени в их отношениях что-то изменилось. Объятия и поцелуи стали для Шуши скорее мучительными, потому что вызывали возбуждение, не находившее выхода. Они уже дошли до *second base*, как говорят в Америке, и даже несколько раз попытались двинуться дальше, но их полная неопытность каждый раз приводила к взаимному разочарованию. Не помогла и переведенная с чешского книга Петера, Шебека и Гьне, подаренная Сеньором Алле. Он привез ее из Одессы, а к заголовку “Девушка превращается в женщину” приписал от руки: “на Одесском Привозе”.

Они довольно долго шли молча. Внезапно Алла остановилась. Навстречу им шла высокая мулатка

с невысоким молодым человеком еврейского вида с большим потертым портфелем. Пара тоже остановилась.

Все четверо молча смотрели друг на друга. Потом молодой человек сказал тихим вкрадчивым голосом:

— Вы, наверное, Алла и Шуша, а мы Рикки и Веня. Мы столько друг про друга слышали, что уже как бы знакомы. Давайте сейчас зайдем к Рикки, у нее есть проигрыватель, а мы как раз купили “Шехеразаду” Римского-Корсакова, — он похлопал по своему портфелю. — Если вы не слышали, то послушать надо обязательно. Совершенно буддистская музыка!

Все четверо двинулись назад по улице Горького, стараясь обходить скользкие ледяные дорожки. Слева из ярко освещенных окон Коктейль-холла на уже синий вечерний снег падали желтоватые отблески. Веня что-то говорил о медитациях, буддизме и третьем глазе, но Шуша особенно не прислушивался. Он смотрел на Рикки, которая шла молча, высоко подняв голову, глядя прямо перед собой. Они повернули в проезд МХАТа и вошли в тот самый подъезд, за которым Сеньор наблюдал из окна кафе. Шуша быстро оглянулся — видит ли их Сеньор. Тот, наверное, расценил бы сцену как предательство. Или наоборот? Но Сеньора в окне не было.

— Замечательный подъезд, чтобы убежать от кредиторов, — сказал Веня. — Входишь в первую дверь, выглядит как дверь квартиры, говоришь “пождидите, я сейчас” — и исчезаешь. На самом деле это выход во двор.

Они действительно вышли во двор, потом вошли в следующую дверь, поднялись по лестнице, Рикки постучала в стену каким-то шифрованным

стуком, подождав немного, открыла дверь своим ключом, и они оказались в бесконечном коммунальном коридоре. Слева — ободранный деревянный сундук с большим висячим замком и еще более ободранные льжки с ремешками вместо креплений. Рикки открыла первую дверь справа, уже другим ключом, и они оказались в узкой комнате с одним окном, двумя кроватями и столом. Здесь жила Алиса со своими черными, точнее, цвета “крем-кофе с молоком” детьми. Сейчас там никого не было.

Рикки поставила на стол тарелку с батончиками “Рот Фронт”, на которые Шуша жадно набросился. Венька ушел на кухню и через пять минут вернулся с большой кастрюлей кофе. От горького “крем-кофе” из “Артистического” Венькино варево выгодно отличалось диким количеством сахара. Рикки включила проигрыватель и поставила “Шехеразadu”.

— Чтоб вы поняли, что вы слушаете, — сказал Венька, доставая из своего портфеля брошюру с черно-белым Чайковским на обложке, — прочту кое-что. Пролог сюиты открывается могучими и грозными унисонами, рисующими, как принято считать, образ Шахрияра. После мягких тихих аккордов духовых инструментов вступает прихотливая мелодия скрипки соло, поддержанная лишь отдельными арпеджиато арфы. Это — прекрасная Шехеразада. Отзвучала скрипка, и на фоне мерного фигурационного движения виолончелей у скрипок снова появляется начальная тема. Но теперь она спокойна, величава и рисует не грозного султана, а безбрежные морские...

— Чйза! — перебила его Рикки чуть хриплым голосом. — Венька! Не даешь слушать!

Чйза? Это было первое слово, услышанное от нее Шушей. Что бы оно могло значить?

— Тогда мы пошли курить, — сказал Венька. — Пойдем, — обратился он к Шуше.

Они вышли на лестничную площадку. Венька, никогда, судя по всему, не расстающийся со своим необъятным портфелем, достал из него пачку “Шипки”. Одну сигарету сунул себе в рот, другую протянул Шуше.

— Я не курю, — быстро сказал Шуша.

Стена старого доходного дома в два кирпича, отделявшая их от Рикки и Римского-Корсакова, полностью блокировала могучие и грозные унисоны Шахрияра. Но “прихотливая мелодия” голоса Рикки все еще продолжала звучать у него в ушах.

ДИССИДЕНТКА

Я познакомилась с Сеньором в августе 1953-го. Явился странного вида молодой человек без зубов, почти лысый, сильно обтрепанный. И стал приходить довольно часто. Меня страшно раздражал его образ жизни — нежелание ни учиться, ни работать. У него даже школьного аттестата не было! Алик, его друг по психушке, сказал мне, что готов помочь Сеньору сдать всю математику, но я решила, что лучше я, потому что Алик начнет уходить в заоблачные высоты, а я все сделаю на хорошем школьном уровне. Сеньор отказался, сказал, что ему никакие аттестаты не нужны. Так и прожил всю жизнь с пятиклассным образованием. Самое смешное — кончилось тем, что он за меня написал курсовую.

Как он попал в психушку? Летом 1945 года написал листовки против войны с Японией и расклеил их на двери недалеко от своего дома. Абсолютно детский поступок, хотя ему было уже пятнадцать. Там были такие слова: “Американцы, которые видели кровь, только когда брились, пусть они и воюют, нам незачем проливать свою кровь”. Его нашли тут же, листовки были написаны даже не левой рукой. Дело было заведено сразу, но посадили только в 1950-м, когда была команда брать всех подчистую. В 1951-м, после Бутырок и медицинской экспертизы, он оказался в ЛТПБ — Ленинградской тюремно-психиатрической больнице. Диагноз — “эмоциональная тупость”.

Там он довольно быстро стал центром общения. Главным образом за счет того, что устраивал самодеятельность. Написал пьесу *à la* Шварц, которую весь сумасшедший дом и ставил, репетируя несколько месяцев. Правда, цензуру не прошел, и второй раз сыграть не дали. Сеньор в каком-то смысле опередил Петера Вайса с его “Марат/Садом”, там тоже постановка в сумасшедшем доме. Еще Сеньор рассказывал, что у них был хор неменяемых убийц, который исполнял песню о Сталине. “Песню о Сталине” было разрешено петь только неполитическим, а единственные неполитические там были “неменяемые убийцы”.

В общем, ЛТПБ — это вам не лагерь в Норильске или на Колыме. Где еще в Советском Союзе пятнадцатилетний подросток мог общаться с таким количеством умных и образованных антисоветчиков, писать и ставить пьесы, а в промежутках обсуждать экзистенциализм Сартра и Камю? К счастью, у него

еще была феноменальная память. Все стихи, которые он знал наизусть, он запомнил на слух от Алика и остальных. Итальянский выучил за месяц, тоже на слух, от Алкиного деда.

Магия Сеньора? Три четверти людей, с которыми он имел дело, под эту магию попадали мгновенно, и дальше он ими манипулировал за исключением тех, в ком чувствовал безразличие. Это как раз про меня. А у него был собачий нюх, никакой “эмоциональной тупости”, замечал все оттенки настроения. Но с ним было интересно, и эти его замечательные монологи... А когда он с кем цапался, это тоже был спектакль... Что он делал? Да ничего. От одного этого слова “делать” его бросало в жар и холод одновременно. Мы все для него были обывателями и пошляками, потому что мы что-то делали.

Его тянуло к подросткам. Он и сам оставался подростком и именно среди них чувствовал себя лидером, а они смотрели на него с совершенным обожанием. Мы называли это “хедер имени Марселя Пруста”. Мы были абсолютно уверены, что никому из учащихся в таком хедере это не повредит, все встанут на свою тропу. Так оно и получилось. Он никому не сломал судьбу.

Ко мне однажды приходили отцы Шуши и Аллы, спрашивали, что такое Сеньор и насколько это вредно. Поскольку оба были людьми хорошего уровня, то разговор был самый милейший. Ни требований, ни обвинений, а просто выяснение. Я их пыталась убедить, что это пройдет, как сезонная болезнь. А им эта сезонная болезнь будет полезна — и иммунитет, и неповторимый опыт.

ЖУРНАЛИСТКА

Я написала свою первую статью об одном театральном художнике. Моя бабушка ее прочитала и сказала: никогда не думала, что ты, интеллигентная женщина, будешь употреблять слово “задник”. С этой оценкой я пошла искать кого-то из редакторов. А мне говорят: почему вы пришли в редакцию, все редакторы, как известно, сидят в кафе “Артистическое”. Мне дали адрес, и я двинулась в проезд МХАТа. Первое впечатление: мраморная полка от бывшего камина, на которой аккуратно лежали кусочки сахара, завернутые в бумажки. И мне тут же кто-то объяснил, что к чашке кофе дают две порции сахара, с одной надо выпить, вторую положить сюда — вечером придет Сеньор и заберет. Это произвело впечатление. Было ясно, что это не нищий, ради которого я немедленно должна открыть карман, вытащить и положить сюда трешник, это было что-то совершенно другое. Ритуал.

В следующее мое посещение я уже увидела весь этот “хедер имени Марсея Пруста”. Шуша там был точно, была Алла, Рикки, Мэл и еще кто-то. Столик. Сидит человек, окруженный детьми. А кругом публика, уже ставшая своей. Ты раза два зашел — и уже завсегдадай. Как на Монмартре. Мне тут же начинают объяснять: а это Сеньор, вы его читали? Ну конечно! Это даже неприлично, все равно что спросить, читал ли Пруста? Вот он собирает вокруг себя детей и их учит. А я по возрасту повисла где-то между поколениями родителей и детей. Даня был уже аспирант, когда я была студенткой. Разница в среднем десять лет. У меня уже был ребенок, Пашенька...

В отличие от их родителей, я была человеком оттепели, помню, с каким восхищением смотрела на эту компанию и понимала, что мне уже туда не попасть, потому что я переросток. Но как хорошо было бы, если бы Пашка оказался рядом с этим человеком. Я потом сделала все возможное, чтобы Сеньор играл роль в его жизни. У мальчика должен быть мужчина, образец — вот представьте себе, что я во всем подлунном мире выбрала для Пашеньки этот образец.

...Кто-то подозвал Сеньора к моему столику, а со мной была моя первая статья со скандальным словом “задник”. Он подсел и вдруг стал говорить со мной страшно ласково. Почувствовал мое отношение — снизу вверх. Только потом, много позже, когда он стал только ворчать на меня, я поняла, какая это редкость.

Когда он первый раз пришел ко мне в дом, я очень волновалась. Волновалась, что ему не понравится у нас. Это был теряющий перья профессорский дом, сильно облупившийся, но все равно с какой-то буржуазной благополучностью. Сеньор пришел и принес мне плакат, это был первый плакат в моей жизни, который был сорван со стены с целью... ну, не так, как Ларионов коллекционировал вывески, а с какой-то другой. Плакат был такой: “Берегись голых и оборванных...”. Дальше как раз было оборвано. Я подумала, если он мне его оставит, то куда же я его повешу. Он мне его не оставил, унес и ходил с ним по городу.

Позже я думала, что в нем есть что-то от пророков. Великое ворчание и чуть что — проклясть. Его представление о жизни можно было соединить

с французской литературой, такие экзистенциальные штучки, такое вот ощущение бытия. Но я не сразу это поняла, скорее, относила это к еврейскому духу, которого в нем совершенно не было.

— В этой стране вообще принято преследовать евреев, — говорил он, — меня, правда, никто никогда не преследовал.

Он стоял по другую сторону этого разговора, еврей — не еврей. А я навязывала ему библейскую точку зрения. Он рассказал мне историю из своего детства, которую я запомнила навсегда. Когда мать умерла, он воспитывался у тетки и дядьки. Судя по всему, обожаемым племянником не был, но пришлось — воспитали.

Он учился в первом классе и смертельно скучал. А в школе, если ты хорошо учишься, тебя награждают. Тогда он стянул у тетки деньги, купил чернильный прибор из белого мрамора “Папанин на льдине”, там еще было пресс-папье, на котором лежала нерпа. И вот принес домой и сказал, что его наградили за отличную учебу.

Я помню, как он всех своих “учеников” ко мне приводил. Такой ритуал: сегодня я приду с Шушей, а сегодня — с Рикки. И в то же самое время я, взрослая тетя, могла перезваниваться с Данькой. Вот эта потеря границ между поколениями была любопытна.

Как все пророки, он был жесток. Расправлялся с людьми по-настоящему. Вдруг впадал в ярость. Однажды и я пала жертвой этой ярости. Сделала все попытки примирения, но ничего не вышло.

Мне все шьют роман с Сеньором, а его не было. У нас была большая квартира, по тем временам не-

мыслимая роскошь. В какой-то момент мы с Пашкой остались вдвоем, и я решила спасти Сеньора. Когда его в очередной раз выпустили из психушки, я говорю: Сеньор, пожалуйста, переезжайте к нам, вот комната, вас никто не тронет, сидите тут и делайте что хотите. Он прижился, у нас уютно. И вот после огромной ссоры, видит Бог, не я ее затеяла, он ушел, оставив записку: “Я больше у вас никогда не буду, это очень обидно, я так любил жить у вас”.

Но потом, много времени спустя, при содействии наших общих друзей, кто-то из нас кому-то позвонил. Это была ночь разговора с абсолютно чужим человеком. У него в это время был роман, личная жизнь, и вдруг он стал мне рассказывать о своих мужских переживаниях с той откровенностью, которая меня шокировала до слез. Он не имел права. У нас была другая игра.

ВАЛЯ: ЧЕРНОВИК НЕОТПРАВЛЕННОГО ПИСЬМА

Дорогой Шушенька, ты просил меня рассказать о моем разговоре с Сеньором. Вот как было дело. До твоего восьмого примерно класса у нас было довольно мирное, спокойное существование внутри семьи, очень близкие, любящие отношения. Может, я несколько обольщаюсь, но так, во всяком случае, мне казалось. И в школе все было хорошо, я ходила на родительские собрания, ничего плохого никогда не слышала, только одно хорошее. Примерно с восьмого класса у тебя начался не очень резкий, но заметный и постепенно усиливающийся сдвиг, измене-

ние отношений и в школе, и в семье. В школе ты начал учиться хуже, постепенно дошло до десятого класса, где у тебя было девять двоек за четверть. В семье отношения очень изменились. Ты стал отдаляться, с нами мало разговаривал, приходил поздно. Я знала, что бывает переходный возраст, но практически никогда с этим не сталкивалась. В наших семьях этого не было, мой брат не дорос до этого возраста, а знакомые и близкие ничего такого не знали.

Помнишь, как ты приходил в час, в два, в три, а я волновалась, надевала пальто и стояла на крыльце? Хотя что, собственно, менялось от того, что я жду на крыльце? Но все-таки так было спокойнее, я хоть издали видела, идешь ты или нет. К этому времени уже метро и троллейбусы не ходили. Как только я видела, что ты показался в конце улицы, я скорее домой и делаю вид, что сижу и читаю. Точно так же, как когда-то моя мама, но тогда я возвращалась не одна. И мне было девятнадцать, а тебе всего пятнадцать. Ты рассказывал, что познакомился с Сеньором, что он тебе интересен, так что я знала о его существовании. Когда мы съездили в Ленинград, — а мы с папой так мечтали, что покажем тебе Ленинград, который мы оба обожаем, — и тут выяснилось, что там Сеньор, и в первый же день ты убегаешь к нему, с Ленинградом тебя будем знакомить не мы, а он. Ты не представляешь, как это было обидно.

У нас было много знакомых театральных критиков, они все говорили, что это яркий интересный человек, но все при этом добавляли, что он немного “с приветом” и состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Это, конечно, меня не очень радовало, мне хватало наших собственных психиатриче-

ских проблем. Мы с папой решили съездить в его диспансер, узнали, кто его врач, когда она принимает. Это было где-то в районе Солянки. Мы пришли туда. Женщина была немолодая, худая, седая. Суровая. Мы начали разговаривать. Разговаривала одна я, папа все это время молчал. Не могла ли бы она повлиять на своего пациента, чтобы его влияние на нашего сына было направлено в более позитивную сторону, чтобы он перестал пропускать школу и более толерантно относился к родителям. Она была очень нелюбезна, мы ушли, можно сказать, несолоно хлебавши. И всё. И я забыла про это.

Через какое-то время ко мне в редакцию пришел Вадим Струве, у меня с ним хорошие отношения, он печатался у нас. Он дождался, пока все вышли из комнаты.

— Я хотел бы с вами поговорить, есть одна очень неприятная вещь. По Москве ходит слух, что вы с мужем были у психиатра Сеньора и требовали каких-то санкций против него.

— Какие санкции, бог с вами, мы просили помочь направить сына, ну, немного в другую сторону.

— А слухи такие ходят.

— Я хотела бы встретиться с этим Сеньором и объяснить ему.

— Хорошо, я это сделаю.

Через несколько дней Вадим позвонил и сказал: он придет к вам в редакцию 27 ноября в пять часов. И действительно, он пришел в редакцию, тогда еще на улице Чехова. Небольшой, худенький, с узким продолговатым лицом.

— Мне сказал Вадик Струве, что вы хотите со мной поговорить.

Я заволновалась, наверное, покраснела и стала искать место, где можно разговаривать. В редакции посидеть где-то вдвоем, чтоб к тебе никто не подходил, невозможно. Я пошла в библиотеку, там было две комнаты: одна, где сидела Зинаида Ивановна, а вторая, длинное помещение, где только стеллажи, и комната запиралась на ключ. Зинаида Ивановна говорит:

— Я открою вам эту комнату, к вам никто не войдет, ключ у меня, а все будут думать, что она заперта.

И вот мы там стоим, длинная-длинная комната, с обеих сторон стеллажи до потолка, а потолки пять метров. Ни стула, ничего, сесть негде. Я стою, “приблизившись к стене”, как писал Есенин. И стала рассказывать, почему мы пошли к его врачу. А за всю историю папиной болезни, тебе хорошо известной, я имела дело с врачами-психиатрами. То ли мне так везло, то ли так и должно было быть, но все время попадались замечательные люди. Очень внимательные, очень человечные, всегда прислушивались к моим просьбам. Всегда помогали. Всегда после посещения врача папе становилось лучше. Я все это рассказываю Сеньору, что мы не просили никаких санкций, просто просили помочь — как-то ваше влияние употребить не в негативную, а в позитивную, с нашей точки зрения, сторону, чтобы он не бросал школу, все-таки учиться же надо. Мы же не враги, мы ведь желаем ему только хорошего. Может, мы делаем что-то не так и неправильно, ну пусть он извинит нас за это.

Что я точно говорила, я не помню. Но распрощались мы с ним очень мирно. А потом ко мне зашел Вадим Струве и сказал:

— Всё в порядке.

ПРАВО СЕНЬОРА

— Ты знаешь, что такое “право сеньора”? — спросил Венька, когда они в очередной раз курили на лестничной клетке, на этот раз на десятом этаже в Доме правительства. Шуша к этому времени уже тоже курил.

— Ммм...

— Понятно. Не знаешь. “Свадьбу Фигаро” читал?

— Конечно, — быстро соврал Шуша.

— Понятно. Не читал. Пьесу написал Бомарше, а Моцарт потом из нее сделал оперу. Я тебе прочту кусок.

Венька достал из портфеля книжку в рваной белой суперобложке. На ней было написано “Бомарше”, ниже красным “Трилогия”, еще ниже рисунок в стиле Николая Кузьмина, мужа Татьяны Мавриной, подарившей родителям расписанную ею доску для сыра, а в самом низу слово *Academia*, которое, как Шуше уже объяснили, надо произносить “академия”. Венька начал читать:

— “СЮЗАННА. Его сиятельство граф Альмавива имеет виды на твою жену, понимаешь? И рассчитывает, что для его целей комната вполне подходит. Граф мне дает приданое за то, чтобы я тайно провела с ним наедине четверть часика по старинному праву сеньора...” Ты знаешь, что это за милое право?

— И что это значит? — не понял Шуша.

— Твой любимый Сеньор.

— Что мой любимый Сеньор?

— Хочет. По старинному праву сеньора. Переспать.

— С кем?

— С Алкой. Прежде чем она достанется тебе. Комната вполне подходит.

Шуша замер. Мир снова рушился.

— Он пытался это сделать с Рикки, но опоздал. Я уже сделал из нее женщину для себя. Он поморочил ей голову несколько дней, все не решался ее раздеть. Ей надоело, и она сбежала обратно ко мне. Если не веришь, поезжай сейчас к ней, и она тебе объяснит, кто такой на самом деле твой Сеньор.

Разрушенный мир на глазах собирался во что-то новое, и это новое было непонятным, разноцветным и удивительным.

Он постучал в стену шифрованным стуком. Рикки открыла очень быстро, похоже, ей было известно, что он придет. Они вошли в комнату. Рикки потушила верхний свет, оставив только ночник. Они сели на узкую кровать рядом, но не слишком близко друг к другу. У Шуши дрожали колени.

— Давай я буду их держать, — сказала Рикки и положила ладони на его колени.

Сколько времени это продолжалось, историкам установить не удалось. Сами они потом тоже не могли вспомнить; видимо, от нескольких минут до нескольких часов. Но мы точно знаем, чем это закончилось.

Раздался звук открываемой ключом двери, и в полутемную комнату вошли двое.

Зажегся свет. Это была Нюрка, подруга Алисы, с очередным любовником. Особенно компрометирующего зрелища Нюрке с хахалем представлено не было. Хотя вид у Рикки с Шушей был растрепанный, они были одеты и сидели рядом на диване.

— Так, — сказала Нюрка мрачно. — Голубкí. Свили гнездышко.

— Мы уходим, — быстро сказала Рикки.

Тут в их краткий диалог вмешался любовник, в котором неожиданно проснулся воспитатель юношества.

— Ребята! — сказал он озабоченно. — Чем вы занимаетесь! Интересуйтесь лучше хорошими стихами! Вот, например...

Но они уже выбежали из комнаты, так и не узнав, какими стихами им следует интересоваться. Был теплый вечер. В свете ярко освещенных витрин улицы Горького толпа казалась нарядной. Теперь они шли медленно, близко друг к другу. Рикки крепко держала его за руку.

— Мама все время говорит, что я непостоянная, то одного люблю, то другого.

Шуша бросился на помощь:

— Может быть, ты всю жизнь любишь одного, просто он переселяется в разных людей.

Это было влияние Венькиных лекций — карма, сансара, реинкарнация. Сияющая Рикки смотрела на него и улыбалась.

— Значит, он теперь в тебе?

Шуша замер. Это объяснение в любви? Она меня любит?

Рикки продолжала что-то говорить, но он не слышал, поглощенный своим новым статусом объекта любви.

Они остановились перед входом в Коктейль-холл в мордвиновском корпусе Б, уже переименованном в "дом шесть".

— Зайдем сюда, — предложил он. — Там кофе хороший.

— Я не люблю кофе. Единственный кофе, который я могу пить, это Венькин.

— Брунда. Я знаю его рецепт — килограмм сахара и килограмм кофе на кастрюлю воды. Возьмем тебе горячий шоколад, если не любишь кофе.

С высоченного потолка свисали люстры, напоминающие перевернутых медуз, а каждая медузья нога оканчивалась светильником в форме желудка. Огромные колонны высотой в два этажа завершались капителями композитного ордера, как гордо сообщил Рикки член “клуба юных историков архитектуры”. Внизу на причудливо изогнутых стульях сидели хорошо одетые люди и пили из конических рюмок *Kowboy Cocktail* местного разлива.

В фильме Говорухина “Брызги шампанского” лейтенант Володька заставит таких же хорошо одетых людей стоять здесь под дулом пистолета ровно две минуты в память погибших бойцов его роты. К началу съемок интерьер уже будет безнадежно испорчен. Но в 1960-м он все еще был полон сталинской роскоши. Они поднимались по винтовой лестнице. Рикки шла впереди. От ее длинных детских ног в красных чулках невозможно было оторвать взгляд, красный цвет делал их причудливо изогнутыми, барочными, они удивительно подходили к интерьеру.

Шуша вспомнил рассказ Сеньора, что на этой лестнице есть один виток, где человека не видно ни сверху, ни снизу, там можно целоваться. Надо иметь в виду, пронеслось у него в голове, ведь целоваться теперь придется часто и не всегда в комфортных условиях. Вообще-то он считал себя последователем Леонидова, даже иногда подписывался “конструктивист ШШ”, но сейчас засомневался — а может ли холодный конструктивистский интерьер погрузить в такое же облако счастья.

Они просидели за столиком на втором этаже — с кофе, горячим шоколадом и булочками с кремом — почти час. Говорили мало, в основном смотрели друг на друга и держались за руки. Постепенно в их облако счастья стал проникать сквозняк реальности — где-то там на десятом этаже их должны были ждать Венька с Аллой. Возвращаться? А что им сказать? И как себя вести?

— Я знаю, что мы сделаем, — вдруг сказала Рикки решительно. — Когда мы войдем в комнату, я поцелую Веньку, а ты поцелуешь Аллу.

Зачем это было нужно, Шуша не понял, но раз уж она, как выяснилось, любила многих, она, надо полагать, знала, как такие вещи делаются. Вариант Рикки понравился ему тем, что ничего объяснять было не нужно. Неприятное выяснение отношений откладывалось, и можно надеяться, что все потом как-то выяснится само.

— Знаешь что, — неожиданно для себя сказал Шуша, — нам вообще не нужно к ним ехать. Они уже всё поняли.

АЛЛА: ВТОРОЙ РЕЖИССЕР

Все так называемые “ученики Сеньора” вольно или невольно ему подражали. Ходили сторбившись, потому что так ходил Сеньор. Однажды он объяснил, что горб нужен: физический горб помогает создать внутренний духовный горб, которым ты будешь питаться, когда окажешься в тюрьме, — пословицу “от тюрьмы да от сумы не зарекайся” он понимал буквально. Все стали, как и он, получать письма на по-

чтамте “до востребования”, пить по десять чашек двойного “крем-кофе”, уже переименованного в “эспрессо”, отчего бедный Шуша на какое-то время вообще перестал спать. А еще изучать итальянский, хотя почти никто не сдвинулся дальше “*Doppio espresso e due zuccheri per favore*”^{*}. И перестали лечить зубы, чтобы не связываться с врачами, как учил Сеньор. Самые стойкие продержались всю жизнь и в старости победоносно шамкали беззубыми ртами. Слабые эмигрировали и за бешеные деньги вставили себе сияющие фарфоровые зубы — этих презирали.

Венька не горбился, не получал писем на почтамте, регулярно лечил зубы, но и для него нашлось нечто для подражания. Его привлекло режиссерское мастерство Сеньора, способность управлять поведением людей, умение выстраивать мизансцены. Венька понял, раньше Рикки и Шуши, что их притягивает друг к другу сила, которой они не могут противостоять. Тогда он решил свести их своими собственными руками, чтобы это было *его* решение. Что же он собирался получить взамен? Как выяснилось, меня.

...Когда Шуша уехал, мы с Венькой долго молчали. Я была растеряна. Не понимала, зачем надо было отправлять Шушу к Рикки и почему я теперь должна сидеть с этим Венькой и ждать его возвращения. Венька тоже молчал и внимательно меня рассматривал.

— Хочешь чаю? — спросила я.

* Двойной эспрессо и два сахара, пожалуйста (итал.).

— Пойдем лучше пройдемся.

— Да, да, пойдем!

Это лучше, чем сидеть запертыми на десятом этаже непонятно для чего. Мы вышли на набережную Водоотводного канала и долго смотрели на черную воду, по которой плыли обломки досок.

— А что будет с нами? — неожиданно спросил Венька.

Я не поняла.

— А что с нами? С нами ничего не будет.

— Но ты будешь со мной.

— С тобой? Почему?

— А куда тебе деться?

Я растерялась. Этот ужасный Венька отнял у меня Шушу и зачем-то послал его к Рикки. А теперь, оказывается, я должна была достаться ему, Веньке. Его внешность была мне скорее неприятна: маленький, глаза навывкате. Внешность тут, конечно, ни при чем. Я просто не позволю собой управлять. Точка.

“ШЕХЕРАЗАДА”

На следующий день Шуша с родителями улетел в давно запланированную поездку в Вильнюс. Кампания родителей “мы яркие и интересные люди” продолжалась. В гостинице “Неринга”, в промежутках между визитами Межелайтиса и Чепайтиса, он писал письма Сеньору и Рикки. Письма Сеньору начинались словами “Как ты мог..”, а письма Рикки были в картинках, где он был плюшевый мишка, а она что-то вроде черной куклы Барби. Никто тогда в Москве не видел никаких Барби, даже белых, хотя

эту куклу компания “Маттел” создала за год до их знакомства.

Вернувшись в Москву, не раздеваясь, позвонил Рикки:

— Можно к тебе приехать?

— Да, да, да! Прямо сейчас!

Он постучал, как полагалось, в стену. Она открыла сразу, похоже, ждала его прямо в коридоре. Глаза светились в полумраке.

— Ты меня еще помнишь? — спросил Шуша.

Вместо ответа она взяла его за руку, быстро повела в комнату, заперла дверь и прижалась к нему. Он почувствовал ее язык у себя во рту. Это еще зачем? Было неожиданно и даже в первый момент неприятно. Ничего такого они с Аллой не делали.

— Помню, помню, — весело сказала Рикки, наконец оторвавшись от него, достала из шкафа проигрыватель, коричневый дерматиновый чемоданчик с пластмассовым силуэтом ленинградского Адмиралтейства, поставила “Шехеразду”, и комната наполнилась “могучими и грозными унисонами”.

Она задернула штору, погасила свет, и они опять, как и в день разоблачения Сеньора, оказались на той же узкой кровати. Он потом никак не мог вспомнить, каким образом из сидячего положения они оказались лежащими под одеялом, и оставалась ли на них какая-нибудь одежда...

Где-то ближе к утру она зажгла свет и сказала: “Теперь я буду тебя рисовать”.

— И я тебя! — оживился он.

Откинув одеяло, Рикки оперлась на подушки с блокнотом и карандашом, оставшимися от Веньки, а Шуша сидел на стуле с другим Венькиным

блокнотом. В утреннем полумраке она напонила ему гогеновских таитянок, но те были взрослыми и грубыми, а тело Рикки было почти детским. После пяти минут беспомощного, но увлеченного рисования обнаженной натуры оба бросили блокноты и опять приступили к уже освоенному упражнению...

Проснулись от звука открываемой ключом двери. Рикки бросилась к двери и стала ее держать.

— Это тетя Нюра, больше некому, мама с Мэлом на гастролях, — прошептала она. — Нельзя ее впускать.

— Я подержу дверь, — ответил Шуша, — а ты найди ластик.

Нюрка что-то бормотала за дверью про сломанный замок. Рикки нашла ластик, и Шуша, дождавшись момента, когда Нюрка вытащила ключ, запихнул ластик в замочную скважину. Теперь на какое-то время они были в безопасности. Быстро одевшись, привели в порядок растерзанную кровать. Нюрка, видимо, слышала звуки и стала громко стучать в дверь.

— Что за хулиганство! Открой немедленно!

Рикки села на кровать. Он вытащил ластик и сел на стул. Раздался звук отпираемого замка, вошла Нюрка, на этот раз без любовника.

— Голубкй, — мрачно произнесла Нюрка. — Свили гнездышко.

Другого текста в запасе у нее, похоже, не было.

— А ты, — обратилась Нюра к Шуше, — чего дверь не мог открыть, совсем обессилел, что ли? Смотри-ка, оделись, как порядочные. Я матери все расскажу, когда вернется.

— Я ухожу, — сказал Шуша, вспомнив, что родители, наверное, уже в панике.

Хотя к этому времени он их уже почти выдрессировал.

МАТИЛЬДА

*Matilda she take me money and run Venezuela**.

HARRY BELAFONTE. Matilda

В Москву приехал Гарри Белафонте. Его охотно приглашали, потому что он был защитником угнетенных меньшинств, другом Поля Робсона и Мартина Лютера Кинга. Но Шуша с Рикки любили Белафонте не за это, им нравились его песенки в стиле калипсо, они даже разучили *Jamaica Farewell* и пели на два голоса. Рикки пела точно, а Шуша слегка фальшивил или, скажем профессионально, детонировал, но Рикки уверяла его, что это *very cute***. Интересно, споет ли Белафонте свою знаменитую “Матильду”, где весь зал должен подпевать. На записи он виртуозно заводил публику. Сумеет ли он раскатать советскую аудиторию? Поймет ли его кто-нибудь, тем более что эту песенку он обычно поет на ломаном английском, на котором говорят старожилы Ямайки? Но даже если поймут язык, будет ли понятен его американский юмор?

Концерт проходил в недавно открытом Театре эстрады — в том самом Доме правительства, где жила Алла, но со стороны, выходящей прямо на Мос-

* Матильда, она взяла мои деньги и смылась в Венесуэлу (англ.).

** Очень мило (англ.).

кву-реку, а эту сторону гигантского здания Шуша никогда раньше не видел. Зрительный зал с золотом и красным бархатом не слишком подходил к игривым песенкам борца за справедливость, но Гарри это не смущало, ему приходилось выступать где угодно, и владеть аудиторией он умел. Он пустил в ход все свои приемы, отточенные на разных континентах, весь свой артистизм, свою непобедимую улыбку, но тут коса нашла на камень. Советские люди сжимали зубы, твердо решив не поддаваться на провокацию и не петь. Во всем гигантском зале только Рикки с Шушей пели припев “Матильды” вместе с Гарри, да еще где-то в первых рядах подпевала небольшая группа африканских студентов из “лумумбария”. Так называли недавно созданный Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы москвичи мужского пола, недовольные неожиданной конкуренцией.

В антракте Рикки побежала искать туалет и исчезла. Шуша простоял с ее эклером и бутылкой “Ситро” до третьего звонка, потом оставил все на столике и пошел в зал. Она влетела в последнюю минуту.

— Там стояли эти ребята из Ганы, — зашептала она оживленно, — увидели меня и стали спрашивать, учусь ли я тоже в Лумумбе, потом пригласили меня идти с ними на баскетбол, они хорошо говорят по-английски.

Когда концерт кончился, они вышли на набережную.

— Подожди меня здесь, — сказала Рикки, — я должна у них спросить, во сколько начинается баскетбол.

Она умчалась. Он подошел к парапету, спустился по гранитным ступеням, сложенным, по слухам, из старых надгробий, на деревянный причал и стал смотреть на темную воду Москвы-реки, по которой время от времени проплывали ярко освещенные речные трамвайчики. Из каждого доносилась какая-нибудь песня из тех, что Шуша с Джей слышали на катке в Сокольниках. Прошел час. Шуша вдруг подумал, что все это с ним когда-то уже было. Нет, не с ним, это был Сеньор, ждавший Рикки под окнами Венькиной квартиры. Курить “Шипку”, писать письма друзьям и умирать голодной смертью Шуша не собирался...

Рикки пропала. Через месяц позвонила и сказала, что им срочно нужно поговорить. Они встретились у ее подъезда и молча пошли вверх по улице Горького. Дошли до памятника Юрию Долгорукому, повернули направо и сели на скамейку около Института марксизма-ленинизма.

— Архитектор Чернышев, — сказал Шуша, — конструктивизм. 1927 год. Тогда он назывался “институт Ленина”.

Рикки молчала. К скамейке подошла маленькая девочка и уставилась на Рикки. Наверное, никогда не видела людей с кожей такого цвета. Рикки злобно посмотрела на девочку, и та в испуге убежала.

— Сейчас, — сказала Рикки и снова замолчала.

— Ты мне хочешь что-сказать?

— Да.

— Ну, говори.

— Ты спешишь?

— Нет.

— Все очень просто, — она стала тереть скамейку пальцем. — Просто... у меня будет ребенок.

Новость была такая же непонятная, как когда отец сказал, что у матери будет ребенок. За восемь лет его понимание, как происходит зачатие и деторождение, не сильно продвинулось. Шуша молчал.

— А... какого он будет цвета? — наконец выдавил он.

— Я ни с кем не была, кроме тебя.

— Ты же ездила в общежитие к этим... из Ганы.

— Я ходила с ними на баскетбол. Мы слушали роки. Больше ничего.

— И что ты собираешься делать?

— Я не знаю. Может быть, уже поздно что-нибудь делать. Мне сказали, или вообще нельзя, или с дикой болью. Мы завтра уезжаем в поездку. В Псковскую область, сначала в Пустошку, потом в Опочку, потом в Опухлинку. На три недели.

— А что вы там будете делать?

— Я пою, Мэл танцует, мама на аккордеоне. Когда вернемся, уже точно будет поздно.

В голове у Шуши проносятся обрывки кинофильмов. Вот они с Рикки стоят перед дверью его квартиры на Русаковской. В руках у Рикки сверток, в котором что-то шевелится. Дверь открывает бабушка Рива. На ее лице выражение ужаса. Теперь они переносятся в комнату Рикки. Она кормит грудью младенца, завернутого в какие-то тряпки, лица не видно. Стук в дверь. Шуша открывает. Там стоит мама в котиковой шубе и папа в двубортном пальто, сшитом самим Будрайтисом в ателье Литфонда. В руках у папы торт с шоколадной бутылкой...

ИЗБА

Из города надо было ехать на метро до станции “Измайловский парк”, потом долго идти по заросшей лопухами тропинке до бревенчатого дома. Примерно через десять минут ты попадал из города двадцатого века в деревню девятнадцатого. Это была настоящая деревенская изба-шестистенка, и принадлежала она одинокой старухе.

Половину избы снимал Бен, один из персонажей “Артистического”. Он, в отличие от журналистов, художников и бездельников из сеньорской мафии, был геологом и время от времени уезжал в длительные командировки. Когда был в городе, если это место считать городом, устраивал у себя по воскресеньям музыкальные вечера, где роль “диджея”, как мы назвали бы сегодня, брал на себя Сеньор. Коллекция, записанная на магнитофоне МАГ-8М-II, который Бен уволок с работы, стоила того, чтобы ехать в Измайлово. Кроме Баха и бардов-диссидентов, были записи английских мюзиклов, переписанных с заграничных пластинок. Пластинки приносил Сеньор, а получал он их от журналистов и дипломатов. Из всех завсегдадаев кафе Сеньор был единственным, кто не боялся общаться с иностранцами и публично ругать советскую власть, считая, что хуже родной тюремно-психиатрической больницы ему ничто не грозит.

В июле Бен собрался в очередную командировку, и Шуша попросил его оставить ему ключ от избы. Бен отдал один из запасных ключей с условием не включать громко музыку и не привлекать внимание старухи.

— А если она зайдет, — инструктировал он Шушу, — говори, что ты мой племянник.

Шуша несколько раз собирался поехать, но все откладывал. Как-то вечером наконец решился. Надо было выяснить, подходит ли ключ, есть ли там чистое белье и работает ли проигрыватель. Ему пришла в голову мысль уговорить Рикки пожить там несколько дней, когда она вернется из своей Опухлинки.

Родителям он оставил краткую записку: “Поехал ночевать к друзьям, вернусь утром”. Сначала заехал в кафе. Никого из сеньорской компании не было. За отдельным столиком сидела знакомая художница по кличке Чучела. Он подсел к ней.

— Что такая грустная? — спросил он.

— С родителями поругалась, — сказала она. — Они меня фактически выгнали из дома. Где сегодня буду ночевать, не знаю.

Шуша задумался. Позвать, что ли, ее в избу? Они были друзьями, романтического интереса друг к другу никогда не испытывали, значит, неловкости и двусмысленности не возникнет.

— Та же история, — сказал он после паузы. — Еду ночевать в избу в Измайловском парке. Хочешь, поезжай со мной, там места много.

— А это удобно? — неуверенно спросила Чучела.

Всю дорогу она рассказывала ему про своих дебилов-родителей, которые выбросили на помойку ее абстрактные холсты. По сравнению с ними Даниил и Валя казались ангелами. Когда дошли до избы, стемнело. Окна дома были закрыты ставнями. Он долго пытался нащупать замочную скважину. Наконец нащупал и распахнул дверь. Все лампы были

зажжены, в этой огромной части избы было непри-
вычно светло. Слева за большим квадратным столом
сидели три нетрезвые хохочущие девицы. На столе
стояла бутылка портвейна “777”, известного в наро-
де как “три топора”, остатки батона и три пустых
упаковки финского сыра *Viola*. Они не заметили по-
явления Шуши и Чучелы и продолжали хохотать.

Наконец блондинка, сидящая к ним лицом, об-
ратила на них внимание.

— Это кто такие? — громко спросила она. Ее кра-
шеные волосы почти точно повторяли прическу де-
вушки на баночке сыра. — Вы как сюда попали?

— Открыли вот этим ключом! — сказал Шуша. —
Мне Бен оставил.

— И мне оставил! — сказала блондинка. Она взяла
со стола точно такой же ключ и победно им помахала.

Шуша и Чучела растерянно стояли в дверях.

— Да ладно, — сказала блондинка, — заходите,
раз пришли. Портвейну налить?

Чучела оживилась, но Шуша был строг:

— Нет, спасибо, нам надо немного поработать.

— Ага, поработать им надо, — сказала блондин-
ка, — как же, понимаем.

Все трое многозначительно ухмыльнулись.

Шуша с Чучелой ушли в дальний правый угол
комнаты, сели на диван и стали листать альбом Ма-
тисса — еще один из даров заморских гостей, при-
несенный Сеньором.

Минут через двадцать девицы допили портвейн,
собрали остатки еды и мусор.

— Удачно вам поработать! — сказала блондинка,
и все трое захихикали.

Шуша с Чучелой продолжали листать альбом.

— Я, пожалуй, поеду домой, — сказала Чучела, когда дверь за девицами захлопнулась. Она явно чувствовала себя неуютно.

— А как же родители? Пустят?

— Рады будут. Я как бы раскаялась в своих грехах.

— Проводить тебя до метро?

— Дойду. Не проблема.

Когда она ушла, он полистал немного альбом, потом тоже поехал домой.

Рикки позвонила на следующее утро. Она вернулась из поездки. Шуша ни о чем не спрашивал, а она ничего не рассказывала.

— Хочешь съездить к Бену? — спросил он. — Он мне оставил ключ. Там сейчас никого нет, тихо, все цветет. Можно слушать Баха.

Они поехали вечером. Ей все нравилось. Тропинка с лопухами, звездное небо, которого почти никогда не видишь в городе, деревенский воздух, звуки, изба. Они пили чай с привезенным Рикки пирогом под названием *leton pie*, рассматривали Матисса и танцевали под Баха.

Когда легли спать, она прижалась к нему и прошептала:

— Только давай ничего не будет.

— Почему?

— Зачем? — спросила она жестко. — Чтобы опять убивать?

Шуша молчал. Ему наконец стала понятна разделяющая их пропасть. Она была взрослой женщиной, потерявшей ребенка, а он милым, но глупым мальчишкой, который ничего не понял, не помогал, не был рядом и думал, что можно просто вернуться

к тем же легким и приятным отношениям. Он вырос с родителями, дедушками и бабушками в искусственном мире отдельной квартиры и дачи, где все неприятные факты от него тщательно скрывались, создавая иллюзию счастливого детства. Она выросла в гастролях по провинции, среди откровенных разговоров и отвязного поведения музыкантов. А дома ей приходилось жить среди скандальных соседок по коммунальной квартире. Их крохотная комнатка была оазисом заграницы, где Алиса пела детям американские песенки 1920-х, аккомпанируя себе на аккордеоне, со слезами вспоминая свое счастливое детство. От матери Рикки унаследовала сентиментальность, но жизненный опыт научил ее трезвости.

Он не знал, что ей ответить...

ФЕЛЛИНИ

Прошло несколько лет. 1963-й был последним годом хрущевской оттепели. К этому времени члены ЦК с ужасом обнаружили, что не все их решения принимаются автоматически. Пять лет назад это произошло с конкурсом Чайковского — победителем был назначен Лев Власенко, но аудитория и жюри выбрали Вана Клиберна. Теперь на Третьем Московском кинофестивале ЦК решил дать первую премию производственной драме “Знакомьтесь, Балуюв!”, но Феллини привез “Восемь с половиной” и спутал все карты. Началась закулисная война. Фильм попытались не допустить до фестиваля, но у него нашлись сильные защитники. Лауреат Ленинской премии, “прогрессивный” режиссер Григорий Чухрай заявил,

что уйдет с поста председателя жюри, если его друга Федерико не допустят к фестивалю. И уж совсем неожиданно за Феллини вступился лауреат трех Сталинских премий режиссер Сергей Герасимов. ЦК сдался. Жюри присудило Феллини первую премию, а вторую — фильму “Знакомьтесь, Балугев!” с издевательской формулировкой “за лучшее воплощение образа Балугева”. За все эти провалы ЦК потом отомстит Хрущеву в 1964-м, правда, сравнительно комфортным домашним арестом.

— Срочно подъезжай к кинотеатру “Россия”, — быстро сказал Сеньор в трубку. — Через час будут показывать “Восемь с половиной”. У меня пять пропусков. Один для тебя. Всё. Пока. Некогда.

Шуша примчался на такси. В сквере около памятника Пушкину стоял Сеньор, а вокруг него несколько знакомых из кафе.

— Ждем Рикки, — сказал Сеньор Шуше, закуривая “Шипку”.

— Кого??

— Рикки, Рикки, с младенцем. Для нее у меня пропуска нет. Тем более с младенцем.

— Каким младенцем? — не понимал Шуша.

На ступенях, ведущих к скверу от кинотеатра, появилась женщина с коляской, которую она безуспешно пыталась катить вверх по ступеням.

— Пойди помоги, — сказал Сеньор.

Только когда Шуша подошел к лестнице, он узнал Рикки. На ней были сандалии с кожаными ремешками до колен, как у римского гладиатора, а сверху ослепительно яркий балахон, сшитый из кусков ткани с орнаментом из желтых, красных, зеленых и черных треугольников.

— Интересные сандалии, — сказал Шуша, ничего другого ему в голову не приходило.

— Ты бы лучше помог коляску втащить!

— Давай. А что за младенец?

— Моя дочь! — раздраженно бросила Рикки, вытаскивая черного младенца из коляски. — Ее зовут Афи, потому что она родилась в пятницу.

Шуша кивнул, как если бы объяснение было самоочевидным. Он потащил коляску вверх по ступеням.

— Вот смотри, — обратился Сеньор к Рикки, когда они подошли. — Если бы ты была без коляски, я бы тебя тоже провел.

— Я не люблю кино, — сказала Рикки. — Я просто пришла на всех вас посмотреть перед отъездом.

— Куда отъездом? — спросил Шуша.

— В Аккру.

— Где это?

— В Африке.

— Это не просто кино! — сказал Сеньор. — Ты такого никогда не видела. И может быть, не увидишь.

— У нас в Гане можно смотреть любое кино, — высокомерно сказала Рикки. — Там нет вашей советской власти.

— Здесь, строго говоря, ее тоже нет, но дело не в этом, — сказал Сеньор, стряхивая пепел в пустую пачку из-под “Шипки”, — там первое время тебе будет не до кино.

— Как я могу пойти с коляской?

— Кто-нибудь погуляет с твоей Афи, — Сеньор внимательно осмотрел всю компанию, но волонтеров не нашлось.

— Я погуляю, — неожиданно для себя произнес Шуша.

— А ты умеешь обращаться с ребенком? — подозрительно спросила Рикки.

— Конечно! — быстро соврал он.

Почему ему захотелось катать в коляске черного младенца, он не смог бы объяснить.

Все ушли в кинотеатр. На фасаде здания висели репродукторы, и через них можно было слушать звук. Он решил подойти поближе. Осторожно съехал с коляской по ступенькам и прислушался. Текст, доносившийся из репродуктора, явно не имел отношения к Феллини.

— У нас путевка от райкома комсомола! — произнес звонкий девичий голос. — И почему вы о нас так примитивно судите!

— Никакой жилплощади нам не надо, — добавил срывающийся мужской голос.

— Мы обо всем говорили с товарищем Зайцевым. “Видимо, это и есть «Знакомьтесь, Балувей!»”, — подумал Шуша.

До начала “Восьми с половиной” оставалось минут десять. Черный младенец мирно спал. Шуша медленно пошел с коляской по бульвару, дошел до Петровки, повернул налево и двинулся обратно по проезду Скворцова-Степанова, мимо дома Нарышкиной, где, по одной версии, Сухово-Кобылин зарезал любовницу-француженку, а по другой — сама Надежда Нарышкина организовала убийство соперницы.

Он опять подошел к кинотеатру. Теперь уже, видимо, шел Феллини. Слышалось чье-то тяжелое дыхание, удары по металлу, завывания ветра, что-то со скрипом двигалось по стеклу. Потом мужской голос крикнул:

— Я поймал его!

Ничего нельзя было понять. Шуша с коляской двинулся в сторону площади, а потом пошел вниз по левой стороне улицы Горького. Справа на углу стоял дом Мордвинова с ротондой на крыше, а на ротонде стояла скульптура балерины. Как ему рассказывал Сеньор, скульптуру в народе называли “Лепешинская благодарит за Сталинскую премию”.

Спускаясь ниже, он дошел до Института марксизма-ленинизма и сел на ту самую скамейку, где Рикки когда-то не решалась сообщить ему, что беременна. Черный младенец по-прежнему мирно спал.

— В этой коляске мог лежать и белый младенец, — подумал Шуша. — И это был бы мальчик. Хотя, наверное, он бы уже ходил.

Он посидел еще какое-то время, довольно долго, и двинулся дальше. Постоял несколько минут перед входом в Коктейль-холл. А что если зайти и заказать *Kowboy Cocktail*? Но с коляской... Спустился к проезду Художественного театра, повернул налево и заглянул в окно кафе. Даже в отсутствие Сеньора никто не решался занимать столик у окна. Он пересек улицу и вошел в тот самый подъезд, где Венька показывал ему, как убегать от кредиторов. Прошел этот подъезд насквозь, оставил коляску внизу, поднялся по лестнице и постучал в стену условным стуком: та, та-та-та, та-та. Никто, как он и ожидал, не откликнулся, он спустился и двинулся с коляской в обратный путь. Сколько времени заняло все его путешествие, сказать трудно, но когда он был уже рядом с “Россией”, фильм, судя по всему, уже заканчивался. Слышался голос переводчика: “Какое чудовищное сомнение надо иметь, чтобы думать, что жалкий ка-

талог твоих ошибок может принести кому-нибудь пользу. Зачем нанизывать рваные клочки твоей жизни, смутные воспоминания, лица людей, которых ты не был в состоянии любить...”

Вступила грустная цирковая музыка, туба и флейта, — в ми миноре, как решил Шуша, считающий, что у него абсолютный слух...

И тут младенец начал отчаянно вопить. Шуша пытался раскачивать коляску, но это не помогло. Он втащил коляску по ступенькам вверх и начал быстрыми кругами ходить вокруг Пушкина. Младенец не унимался. Его окружили какие-то женщины.

— Ну что ж ты, папаша, успокой ребенка! — сказала одна.

— Да я не умею, — честно ответил он.

— Пусти-ка, — сказала другая, — ох уж эти папаши, нарожают, а потом не знают, что с ними делать.

Две женщины склонились над коляской, еще несколько стояли вокруг, готовые помочь.

— Ой! — ахнула одна. — Да он же черненький! Ну ты герой!

На руках у женщины младенец замолк, и тут на ступеньках появилась разъяренная Рикки. Она подбежала и вырвала у женщины младенца. Женщины испуганно разошлись.

— Ты сказал, что умеешь обращаться с детьми! — сердито крикнула она Шуше.

Она перепеленала девочку, положила ее обратно в коляску и побежала с коляской в своих сандалиях гладиатора и развевающимся балахоне в сторону улицы Горького. На нее оглядывались.

Шуша медленно спустился по ступенькам к кинотеатру. Музыка перешла в мажор, стала быстрее

и громче. Вступили другие инструменты. Потом музыка опять стала тише и медленнее и постепенно затихла.

— Конец фильма, — донесся голос переводчика.

DEEP PURPLE

*Don't know what to do
Don't know what to do
Don't know what
I'm gonna do
Another week in telephoning
Tired of groaning for you**
DEEP PURPLE. I'm so glad

Много воды утекло с той последней встречи с Рикки у кинотеатра “Россия”. Он успел поступить в МАРХИ, жениться на Заринэ, переехать в ее квартиру, опубликовать несколько статей и проектов. Вся прежняя жизнь с кафе, Сеньором, Аллой и Рикки казалась миражом.

Как-то в декабре Шуша и Джей столкнулись в квартире родителей на Русаковской. Родителей дома не было. Шуша искал нью-йоркский сборник Бродского, а Джей понадобились снотворные, но их в ящике не оказалось.

- Я не знаю, что делать,
Я не знаю, что делать,
Не знаю, что
Я собираюсь делать.
Еще одна неделя в телефонных разговорах.
Мне надоело стонать по тебе (англ.).

— Смотри, что у меня есть, — сказала она, доставая из сумки пластинку.

— Ух ты! — оживился Шуша. — *Deer Purple*. Эту я не слышал. Где достала?

— Подарили, — загадочно улыбнулась она. — Поставь, я тоже еще не слышала.

Они сняли с отцовской “Ригонды” давно не работающий *Grundig TK-5*, поставили пластинку и, как в далеком детстве, начали скакать как безумные. Внезапно он замер. В музыке послышалось что-то очень знакомое. Неужели “Шехеразада”?

Джей тоже остановилась.

— А почему ты не женился на Рикки? — спросила она. Ее способность читать его мысли уже перестала удивлять.

И правда, почему? Он не помнил. Ах да, она его бросила, потому что... Ребенок? Гонец из Пизы? Пошла смотреть баскетбол с Диксоном из Ганы. Хотела слушать “роки”. Рикки слушает Рокки. И его черных братьев. Гонец из Пизы уже давно в Гане. Хотя нет, кто-то сказал, что она опять в Москве...

Он быстро выбежал на улицу и в будке за углом набрал знакомый номер.

Ответил незнакомый женский голос. Он повесил трубку. Ну конечно, она же переехала. Куда?

Через два дня Рикки позвонила сама. Он не удивился — обе они, Рикки и Джей, обладали способностью читать его мысли и чувства даже на расстоянии. Ей, видите ли, понадобилась книга Корчака “Когда я снова стану маленьким”. Станный повод. А может, ей хочется стать маленькой? Вернуться в детство, под одеяло с Шушей? Он поехал. Дома она была одна. Жарила что-то на кухне. Он сидел на табуретке

и смотрел сзади на обтянутые узким халатиком бедра. Это было хорошо знакомое ему тело, но оно больше не было детским. Сейчас ты выпорхнешь, инфанта. Уже выпорхнула.

Потом он стоял спиной к окну, прижимаясь к горячей батарее, а она по-прежнему у плиты и что-то говорила. Он не слышал. Потом подошла и стала осторожно расстегивать его джинсы. Халат распахнулся. Ее тело было горячим, а сзади в Шушу вливался жар от батареи. Он почувствовал во рту ее наполнившийся и затвердевший сосок. Они почти не двигались. И вдруг это произошло — мгновенно и с такой интенсивностью, которой никогда, ни до ни после, он не испытывал. *We came off at the same time*^{*}, пронеслась в голове фраза. Из Лоуренса? Любовник леди Диксон? Пурга качается над Диксоном. Музыка Фрадкина, слова Пляцковского, исполняет Трошин.

Рикки смотрела на него и улыбалась:

— Как мы опасно все делаем.

Опасно? Ах да, одновременный оргазм повышает вероятность “подзалететь”.

— Пойдем, — она взяла его за руку и повела к кровати.

Теперь они никуда не спешили. В первоначальном наброске постепенно стали появляться детали, колорит стал приобретать законченность, мазки ложились по форме. И опять они все сделали опасно.

В тот год они любили друг друга каждую ночь. Ей нравилось лежать на нем и не позволять ему делать резких движений. А ему нравилась его вынужден-

* Мы кончили одновременно (англ.).

ная пассивность, он охотно отдавал ей вожаки и, свесив голову набок, старался в полутьме разглядеть ее осторожнодвигающуюся шоколадную попку. Она как будто старалась не расплескать раньше времени то, что переполняло ее. “Коробочка для наслаждений”, — вертелось у него в голове. Ему хотелось зажечь свет и читать ей вслух “Камасутру”, немедленно инсценируя каждую позу, но он боялся разрушить с таким трудом обретенное равновесие.

Однажды он притащил ходивший по рукам перевод книги какого-то Роберта Стрита под антиэротическим названием “Современная сексуальная техника” и стал читать ей вслух. Ему все время хотелось отложить рукопись и перейти к практическим занятиям, а ей хотелось слушать еще и еще. Для нее в стиле этого Стрита, напоминающем инструкции по технике безопасности, было волнующее нарушение табу. “Первые пятнадцать минут не старайтесь проникнуть пальцами внутрь, сконцентрируйтесь на стимулировании вульвы в целом”. Несмотря на бурную биографию, она была пуританкой. Как-то, когда ей было пятнадцать лет, они разговаривали на биологические темы. Рикки попыталась произнести слово “сперматозоид”, залилась краской и не смогла. Любила рассматривать альбом *Early Italian Painting*, но, доходя до обнаженных Данаи и Венер, быстро переворачивала страницу.

Как-то раз они поссорились. На следующий день в его дневнике появилась запись ее рукой: “Когда я с тобой, мне кажется, что ты все время думаешь *horosho ebetsya suka ohuet' mozjno*”. Он вырвал этот листок и бросился к ней: “Что я с этим должен делать?” Она пожалала плечами: “Я так почувствовала”. Только полве-

ка спустя он понял, что ей на самом деле хотелось услышать от него эту фразу, еще одно нарушенное табу. Почему этот начитанный мальчик не понял этого сразу, ведь все это описано в литературе: “Они любили друг друга и изрыгали ругательства ломовых извозчиков, чтобы теснее слиться друг с другом и освободить свой мозг от барьеров, мешающих познать тайну ветра и моря и тайну мира зверей; они осыпали друг друга площадной бранью и шептали друг другу самые нежные слова”. Кто это? Кто-то из немцев в переводе Люси Черной? Бёль? Ремарк? Анна Зегерс? Русскую героиню зовут Наташа Петровна. “Мой дорогой, — говорит она, — в белых перчатках нельзя любить”.

Был еще один непринятый сигнал. Как-то, лежа на нем, она еле слышно прошептала: “Хочу сниматься в кино”. Он и тут не понял: все хотят сниматься в кино.

Почему он тогда сразу не сообразил? Каких бурных восторгов он лишился. И что теперь делать, когда им обоим за семьдесят? Как у Маркеса? *El amor en los tiempos del cólera*?

У Шуши в голове кинофильм. Ледяными пальцами он отыскивает в темноте ее руку и понимает, что ее рука ждала его. Ни та ни другая рука не была такою, какою они воображали ее себе перед тем, как коснуться, это были две костлявые старческие руки. Вот он осмелился кончиками пальцев коснуться ее морщинистой шеи, затем пальцы скользнули к закованной в корсет груди, к съеденным временем бедрам и ниже, к ее ногам старой газели. А как насчет запаха увядания и смерти? Нет, запаха в кино пока еще не бывает.

* Любовь во время холеры (исп.).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ЗАРИНЭ

У СИНГЕРА

Я вхожу в лифт. Из зеркала на меня смотрит модно одетая женщина. Щеки покраснелись от мороза, черные прямые волосы спадают на лоб, поднятый воротник дубленки оброс инеем — она очень хороша собой, вот только нос выдает армянское происхождение. Ей тридцать четыре года, она такая маленькая и изящная, что дают двадцать. Внешняя хрупкость обманчива, до восемнадцати она занималась спортивной гимнастикой и даже сейчас могла бы дать отпор какому-нибудь нахалу.

Это я. Моя мать вышла замуж в Ереван и потом всю жизнь говорила мне: “Уедем, уедем отсюда. Ты русская, в тебе ничего нет от отца. Вот Аветик — другое дело”. А отец, когда я уезжала с матерью насовсем в Москву, сказал мне: “Смотришь на меня, как будто сейчас зарежешь”. И, подумав, добавил: “Моя кровь”. Но он ошибся, я даже рыбе голову не могу отрезать.

Я выхожу из лифта. Номера квартиры не помню, но это и не требуется — из-за обитой клеенкой две-

ри музыка гремит на весь подъезд. Долго звоню. Дверь открывает сама Хозяйка. Грохот такой, что мы даже и не пытаемся ничего друг другу сказать, молча целуем друг друга в щеку, она прижимает палец к губам, мол, не мешай, и уходит в комнату. Не мешай — имелось в виду гостям, сам-то Сингер как терев на току, ничего не видит и не слышит.

Бросаю дубленку на холодильник, стаскиваю стопятидесятирублевые сапоги и остаюсь в простом черном платье, весь эффект которого в том, что сверху оно наглухо закрытое, а снизу почти неприлично короткое, расчет на то, что когда ног так много, все их изъяны незаметны ослепленному зрителю. Надеваю какие-то разные тапочки и заглядываю сначала в маленькую комнату. Там темно. На занавеске, разделяющей комнату пополам, шевелятся тени от деревьев за окном — сегодня полнолуние.

Потом замечаю еще какие-то тени, похоже, за занавеской кто-то есть. Выхожу из маленькой комнаты и иду в большую, сильно опасаясь за свои барабанные перепонки.

Здесь все как полагается: полумрак, на пианино горят две свечи, и в их свете роскошные белые зубы Сингера отливают жемчужным блеском:

Ай уонна но-о-оу, май лорд,
Ай уонна ноу.

Справа из угла мне улыбается Дина и делает знаки: там, около шкафа с пластинками, на белой кухонной табуретке сидит элегантный Физик. Добилась своего все-таки! А около самого дивана, на брошенных на пол диванных подушках, сидят Борода

и Графиня — с таким видом, словно боятся запачкаться. Сдержанно киваю, рожи у них вытягиваются, не ожидали меня здесь увидеть, но все-таки холодно отвечают. Это все Дина: обожает сводить всех до кучи, не понимает, дура, что могут произойти нежелательные встречи. Он, тряся бороденкой, что-то шепчет Графине на ухо. Она кивает, отчего на мгновение в ее ухе вспыхивает бриллиант. Хотят уйти, наверное.

А вот и Заяц, она кивает мне, мол, выйдем на кухню, потрепемся, но я машу рукой — потом. А где же Бард? Ну конечно, вот он стоит, улыбаясь до ушей, почти касаясь щекой вращающихся кассет магнитофона *UNER*, и смотрит Сингеру в рот. Мотив запоминает. А сам Сингер между тем в экстазе. Он сильно ударяет левой рукой октавой ноту фа, она гудит, педаль нажата, и обе руки уже впиваются в клавиатуру, извлекая скребущий по сердцу густой аккорд:

Ай уонна но-о-о-о-о-оу!

Внезапно он обрывает, быстро встает и говорит: — Верхнего дыхания совсем нет. Где сигареты?

— Ты не будешь курить, — говорит Хозяйка слабым голосом раненой птицы.

— Дарлинг, — отвечает Сингер, обольстительно улыбаясь, — я не спрашиваю тебя, ха-ха, буду ли я курить, я спрашиваю, э-э, где сигареты, — при этом он так играет собственным голосом, что всем ясно — ему и без верхнего дыхания хорошо.

Интересно, почему ленинградскому мальчику из интеллигентной еврейской семьи, исполнителю блюзов и негритянских спиричуэлс, хочется цити-

ровать одесский блатной фольклор: “Я ж тебе не спрашиваю, що в тебе болить...”? Ай уонна ноу.

— Сигарет в доме нет, — еле слышно продолжает Хозяйка.

— Дарлинг, ты говоришь неправду, мне больно это слышать.

Хозяйка машет рукой и идет на кухню.

— Куда она могла деть сигареты? — обращается Сингер к гостям, усевшись на стул верхом. Он не может сделать ни одного движения, издать ни одного звука, не оценив, как это выглядит со стороны.

— Куда она могла их деть? — спрашивает он театральным тоном.

Теперь я понимаю, в чем дело: никто не сообразил выключить магнитофон, и Сингер теперь будет валять ваньку, пока не кончится пленка.

— Гай, — обращается он к Барду, по-прежнему смотрящему ему в рот, — ты не мог бы сбежать в гастр?

— Куда сбежать? — не понял все еще улыбающийся Бард.

— За сигаретами, у нас напротив прекрасный гастр.

— Четверть десятого, — говорит кто-то из глубины комнаты.

— А-а-а, — разочарованно тянет Сингер, — тогда надо доставать энзэ.

Он нагибается и начинает открывать нижнюю панель пианино, но в этот момент входит Хозяйка с подносом в руках. Он мгновенно захлопывает панель:

— Э-э, хани, я чувствую запах гари, там что-то, э-э, горит.

Хозяйка быстро ставит поднос с чаем на пианино и бежит в кухню, сексуально выбрасывая ноги в стороны. Зрители, за исключением Бороды и Графини, вяло смеются. Сингер быстро достает из нижней части пианино пачку сигарет “Винстон” и кладет в карман.

Хозяйка возвращается.

— Что-то педаль поскрипывает, — бросает Сингер в публику, пытаясь поставить панель на место.

— Давай сюда сигареты.

— Дарлинг, какие, э-э, сигареты?

Он поет на поставленном дыхании, — обращается к публике Хозяйка трагическим голосом, — ему нельзя курить.

Я не могу вынести этот балаган и выхожу на кухню. На белом столе лежат батон и вилка. Отламываю горбушку и жую. Появляется Заяц, она чмокает меня в щеку, садится и тоже начинает есть хлеб.

— Шуша придет? — спрашивает с полным ртом.

— Нет.

— Что-нибудь случилось? — тревожно всматривается в мое лицо.

— Ничего не случилось. Просто он меня бросил.

У Зайца отваливается челюсть, и я вижу противные куски белого жеваного хлеба. Она быстро заглатывает хлеб и говорит:

— Солнышко, ну что ты, все будет хорошо.

— Что именно?

— Все будет хорошо! Все будет хорошо!

Тут я начинаю орать:

— Что будет хорошо?! Что?! Он меня уже бросил! Что теперь будет хорошо? Бракоразводный процесс пройдет нормально? Мне повезет при разделе иму-

щества? — и тут я начинаю так жутко плакать, что Заяц смертельно пугается. Она гладит меня по голове, я реву, как дура, и не могу остановиться, а в большой комнате тем временем уже снова грохочет пианино, Сингер поет, а Бард подыгрывает ему на гитаре.

Ай уонна но-о-о-о-о-о-оу!

Так проходит, наверное, минут двадцать. Потом я машу рукой: иди туда, я хочу одна. Заяц понимающе кивает и тихо, пятясь, выходит из кухни. Я сижу еще минут пять, потом встаю, иду в прихожую и надеваю сапоги и дубленку. Роюсь в карманах — денег нет. Рядом с шубой Графини на полу валяется ее нелепый бисерный ридикюль. Ладно, мне терять нечего. Никто не видит. Хватаю ридикюль и выскакиваю на лестницу.

У меня так расшатаны нервы, что я продолжаю реветь, пока спускаюсь на лифте, выхожу на улицу и иду к стоянке такси. Валит густой снег. Луны не видно. Кругом ни души. Ни автобуса, ни такси. От слез мерзнут щеки.

С визгом останавливается “Волга-фургон” и задом едет прямо ко мне.

Распахивается передняя дверца.

— В Сокольники отвезете?

— Поехали.

Я сажусь. Мы трогаемся. Деловито ползают по стеклу дворники. Я продолжаю реветь.

— Как поедет? — водителю все равно, плачу я или смеюсь, ему надо заработать свои три рубля. Он занят делом, а мы все разыгрываем перед ним любительские спектакли.

— Все равно. Как быстрее.

— Ладно. Через Сокол поедем.

Снег такой густой, что дворники едва успевают счищать.

В ТАКСИ

С шести лет меня преследует один и тот же сон. Я стою у подножья огромной горы, а на самом верху, на жуткой высоте, — крохотная фигурка, которая делает мне знаки, чтобы я поднималась. Я карабкаюсь по скользким камням, фигурка все растет, но в конце концов оказывается карликом с удлинненным туловищем, короткими толстыми ножками и хорошеньким морщинистым личиком. Он радостно манит меня пальцем, а когда я наконец добираюсь до него, он, улыбаясь, сталкивает меня вниз.

Внутри у меня что-то обрывается, как будто из меня вытягивают внутренности, и я лечу в пропасть. Потом все повторяется.

Наши отношения с Шушей строились примерно по этой схеме: он то бросал меня, то опять манил пальцем. Я не хотела — он убеждал. Я соглашалась с внутренним недоверием — он старался его преодолеть. Когда под его напором недоверие было растоплено, именно тогда, всегда неожиданно, он исчезал, и все начиналось сначала. Я потом заметила, что его уход всегда приходился точно на тот момент, когда я начинала верить, что все будет хорошо. Почему-то он ни разу не ушел, когда я была к этому внутренне готова, но и ни разу не остался, когда я была уверена, что на этот раз останется навсегда.

Мы с ним никогда не могли понять друг друга. Меня он не понимал, потому что вообще всех людей соотносил с литературными персонажами. Я была для него то Бэлой, то Земфирой, что было ошибкой — во мне нет ничего восточного, кроме носа, — ни страстности, ни гордости, ни покорности, ни трудолюбия, ни любви к матери, ни уважения к отцу. Ш все время ждал от меня каких-то иных реакций, каких-то других слов, а я все делала не так и говорила не то, так что наконец перестала говорить что бы то ни было. А он все спрашивал меня, что я чувствую, когда он меня обнимает, целует, раздевает, и никогда не мог понять, что я ничего не чувствую, а только слышу, как будто где-то щелкают на счетах: вот расстегнул пуговицу, раз, вот снял лифчик, два, вот просунул руки под трусы, три. Я все запоминала, как если бы собиралась когда-нибудь предъявить счет.

Никогда не могла понять, что, собственно, заставляет его возвращаться. Единственное, что нас объединяло, — благоговейное отношение к его желанию обладать мной, в него я верила всегда, даже когда не верила, что все будет хорошо. Я научилась оберегать этот огонек, который теплился в нем, то угасая, то разгораясь, и когда он возвращался, мы оба старались как можно скорей запереть дверь и залезть под одеяло, чтобы какими-нибудь неловкими словами, моими или его, не задуть колышущееся пламя.

Кто-то трясет меня за плечо.

— Я говорю, не возражаете, если захватим кого-нибудь по дороге? — спрашивает водитель.

В машине тепло. Мы стоим. Справа неоновые огни аэровокзала.

— Нет.

— Что нет?

— Не возражаю.

Водитель выходит. Я роюсь в бисерном ридикюле Графини и нахожу там тридцать пять копеек, сигареты и браунинг. Ему я рада, как старому знакомому. Он все такой же, совсем не изменился, чего нельзя сказать обо мне. Ну, полежи еще, ты мне пока не нужен. А вот сигареты — другое дело. С удовольствием затягиваюсь “Винстоном”.

Водитель снова входит и падает в кресло. Рвет с места так, что я роняю пачку.

Видно, с кем-то поругался. Летим по Ленинградскому шоссе, сто двадцать километров в час. Что-что, а водит он здорово. Почти как отец. У светофора в свете газосветного фонаря он меня внимательно разглядывает.

— Ну что, девушка, поехали прокатимся?

— Куда?

— За город. Я вам такое место покажу, какого вы не видели.

— У меня денег мало.

— Какие деньги! Я приглашаю.

— Поехали.

— Вот это разговор.

Я вооружена, и вообще, чего мне бояться. Насильник? А что он может сделать мне неприятного, как говорит в таких случаях Графиня.

Водитель что-то делает со счетчиком, потом опять лихо рвет с места, а когда переключает на четвертую, откидывается и включает кассетник.

*And when he comes my way
I'll do my best to make him stay**.

Теперь я его рассматриваю. Года двадцать два, лицо детское и сравнительно осмысленное. Это ему надо меня бояться, а не мне его.

— Тебе сколько лет? — спрашиваю я.

— А тебе?

— Двадцать три.

— А-а-а, — смеется он, — старуха. Мне двадцать.

Ты чего ревела?

— Да так.

— Беременная, что ли?

— Что ты мелешь!

— Я вот тут одну вез, вроде тебя. Тоже всю дорогу ревела. Беременная, говорит. Музыка нравится?

— Ничего.

— Выпить хочешь?

— А у тебя есть?

— Нет.

— Тогда не хочу.

— Можем заехать.

— Не хочу.

— Знаешь, кто поет? Мэри-Ли. Великая негритянская певица. Пятнадцать лет ей на этой записи.

— Ну и что?

— Ее подобрал один старый еврей, ну, в общем, на панели, ну и сделал из нее звезду. Потом еврей ее бросил, потому что нашел себе еще моложе, а она увлеклась наркотиками и умерла.

* И когда он придет ко мне, я сделаю все, чтобы он остался (англ.).

— Что за чушь ты несешь!

Он смеется. Мы проскакиваем Сокольники и летим по Богородскому шоссе.

Снег уже не такой густой. По обеим сторонам шоссе — лес. Так мы несемся, наверное, час. Лес то кончается, тогда идут унылые белые поля, то начинается снова. Мне почему-то совсем не интересно, куда он меня везет и что собирается со мной делать. Я начинаю дремать.

Просыпаюсь от резкого поворота — мы свернули в лес. Снег перестал, светит полная луна. Он выключает фары, и мы едем почти бесшумно сквозь сказочную декорацию. Выкатываемся на небольшую поляну, залитую лунным светом. Он выключает зажигание, машина катится еще несколько метров и останавливается. Полная тишина.

ГУЛЬРИПШИ

На аэродроме нас встречали Заяц и Бард. Это была непонятная любезность, у нас был их адрес, но они позвонили в Москву, узнали у моей мамы номер рейса и приехали за одиннадцать километров в аэропорт. Мы с Зайцем никогда особенно близки не были, хоть и знакомы с младенчества, а Ш и Бард вообще виделись первый раз в жизни. Я думаю, любезность объяснялась просто: Ш в глазах Зайца был представителем интеллектуальной элиты, вот она и работала, завоевывая светское окружение мужу.

Итак, встреча была неожиданно горячей. Заяц сообщила, что нам уже сняли комнату, очень хорошую и всего за три рубля в сутки, за стеной живет

очень милая и интеллигентная пара, он младше ее на пять лет, но с бородой, она хоть и старше, зато настоящая графиня, вода двадцать, воздух тридцать, есть мы будем в соседнем доме, там гораздо вкуснее и дешевле, чем у них в пансионе мадам Дубровской, где, правда, в прошлом году отдыхала артистка Быстрицкая, кстати, в той же самой комнате, где сейчас живут Заяц с Бардом.

Мы получили багаж. Потом выяснилось, что из рюкзака были вытащены три бутылки вина; все остальное, включая фотоаппарат, было на месте. Мы сели в такси и поехали по пыльной дороге. Ничего интересного, пирамидальные тополя и горы вдаль — все как в детстве. Только перед самым поворотом к морю встретилась неслыханных размеров беременная свинья. Она была размером с небольшую корову, и ее чудовищный живот волочился по пыльной обочине. Это зрелище меня расстроило. Я стала думать, что Ш меня скоро бросит и я буду вот так же ходить по улицам, волоча живот по пыли.

Мы забросили вещи в нашу трехрублевую комнату и пошли к ним в пансион мадам Дубровской.

— О, у тебя здесь гитара с собой, — заинтересовался Ш.

Нашел чему удивляться, Бард никогда не расстанется с гитарой. Если бы он мог, он вообще никогда не выпускал бы ее из рук. Это для него единственная форма общения. Говорить он не любит и не умеет. Он берет готовые тексты — это может быть хоть железнодорожное расписание — и превращает их в песни.

— Я поиграю? — спросил Ш.

Бард, растянув лицо в улыбке, закивал головой, выдвигая при этом вперед подбородок, что у него обозначало любезность, и у них начался совершенно идиотский и невыносимый для окружающих диалог про аккорды, гармонию, модуляции и прочую белиберду.

Как мне все это надоело. Все думают, что Ш такой разносторонний, титан Возрождения. Ерунда, просто он хочет всем нравиться, поэтому все немножко знает и немножко умеет. Под конец он окончательно покорила Барда, пообещав познакомить его с самим Сингером.

— Я его хорошо знаю, — небрежно уронил титан Возрождения. — Как только вернемся в Москву, сразу к нему сходим.

Они повели нас на ужин. В темном дворе под деревянным навесом возилась над керосинкой молодая абхазка.

— Здравствуйте, — сказала Заяц голосом пионервожатой, — вот, это они. Они уже приехали.

— Прахадите, прахадите, — сказала женщина, вытирая руки о передник.

Мы вошли в небольшую комнату. С потолка свисала пыльная лампочка.

Посредине стоял стол, за которым сидели двое. Дама приветливо заулыбалась, а молодой человек, задрвав бороду, поблескивал на нас стеклами очков.

— Добрый вечер, — сказала Заяц светским тоном, а Бард закивал головой, выдвинув вперед подбородок.

— Ну вот, они приехали, — продолжала Заяц, — мы вас тут оставим, нам тоже пора ужинать, а попозже мы зайдем.

Заяц с Бардом вышли. Мы с Ш уселись, и абхазка поставила перед нами фаршированные баклажаны. Ш притих. Эти двое, Борода и Графиня, произвели на него впечатление светскостью, бородой и блеском очков. Сегодня он будет робок, завтра будет стараться им понравиться, а потом предаст. Известная история.

— Вы до конца месяца? — нарушила молчание Графиня.

Ш бросил на нее благодарный взгляд.

— Мы еще не решили, — он напряженно сжал в руке вилку и перестал есть. — Да? — повернулся он ко мне.

— Да.

Они внимательно смотрели на меня, но я уже ела.

— Вы давно женаты? — спросила Графиня, смягчая вольность вопроса обворожительной улыбкой.

— Да мы, — быстро проговорил Ш, — в сущности, не женаты. Мы только собираемся.

Это для меня новость.

— Ах, простите, — засмеялась Графиня.

— Я вот боюсь, — сказал Ш, ободренный ее смехом, — что хозяйка потребует свидетельство о браке.

— Это совершенно исключено, — раскрыл наконец рот Борода, — если что-нибудь подобное произойдет, сразу стукните нам в стенку, я все улажу.

— Как? — заинтересовался Ш.

— Я покажу ей удостоверение.

— Вы работник ЗАГСа? — спросил Ш, в критические минуты желание острить побеждает в нем желание нравиться, этим он уже испортил отношения со многими нашими знакомыми.

— Я работаю в Институте США и Канады, — отчеканил Борода.

— Вы им скажете, что в США и Канаде не требуют свидетельств? — не унимался Ш.

— Говорить ничего не придется, — Борода делал вид, что не замечает иронии.

— Достаточно будет показать им документ. Они здесь в них ничего не понимают.

— Приходите к нам сегодня вечером, — продолжала свою светскую линию Графиня. — Между нашими комнатами запертая дверь, но мы ее отопрем.

— Спасибо, — сказала я.

— Правда, приходите, — настойчиво продолжала Графиня. — Этот Бард собирался петь.

— Я считаю, — строго сказал Борода, — что гитара — его единственный недостаток, а потому простительный... Это есть нельзя, — он решительно отодвинул тарелку.

— Да, да, — подхватил Ш, — он сегодня мне уже морочил голову блюзовой гармонией, но в небольших количествах его пение можно выносить.

К концу ужина Ш с Графиней обнаружили массу общих знакомых.

— Мы даже, наверное, где-нибудь встречались, — сказала Графиня. — У Вениамина, может быть?

— Я знал одного Веньку, который жил в проезде МХАТа.

— Да, да, тот самый.

— А вы хорошо его знаете? — настороженно спросил Ш.

— У нее, — вставил Борода, весело блестя очками, — был с ним роман.

— С Венькой? — переспросил Ш.

— Она его отбила у достаточно известной в Москве дамы.

— Это у кого же?

— Ну, — улыбнулась Графиня, — это целая история. Только не отбила, а, скорее, подобрала. Она, можно сказать, его бросила.

Ш рассеянно тыкал вилкой в пустую тарелку.

— Подробностей не знаю, — начала Графиня, — слышала что-то от Вениамина. Она была внебрачная дочь чуть ли не Поля Робсона и какой-то белой женщины. Когда ей было пятнадцать лет, у нее был роман с человеком вдвое старше ее. Сюжет точно как в “Лолите”. Вы читали “Лолиту”?

— Великолепная книга, — нервно проговорил Ш, — и какой идиотизм считать ее порнографией! Я даже думаю, что эту книгу можно использовать в качестве теста на наличие литературного чутья. Если считаешь ее порнографией, значит нет литературного чутья.

— Вы совершенно правы, — вежливо ответила Графиня, хотя видно было, что ей такие длинные реплики не нужны. — Так вот, потом она познакомилась с Вениамином, и, как говорится, молодость взяла свое. А тот, пожилой, очень страдал, целый месяц после этого просидел в ресторане и пил, потому что не мог ее забыть. Он какой-то сценарист или режиссер, в общем, из кино.

— Роскошный сюжет, — сказал Ш. — Жалко, его один раз уже использовали. А может быть, и не один.

После ужина мы все шестером сидели в комнате Бороды и Графини.

Общение шло полным ходом, все уже были на ты. Бард сидел в углу и тихо играл на гитаре, напе-

вая себе под нос, и ждал, когда кончатся эти глупые разговоры и его попросят спеть погромче:

Ты жди. Ты никому не верь.
Я зверь. Я запертая дверь.

Заяц была слегка уязвлена отсутствием интереса к пению Барда, но добросовестно вместе со всеми рассматривала браунинг Графини.

— А убить из него можно? — спросила я.

— Можно, — ответил Борода. — Калибр девять миллиметров.

— А патроны есть? — поинтересовался Ш. — По-стреляем?

— У меня только одна обойма, шесть пуль.

— А тебе приходилось им пользоваться? — спросил Ш.

— Один раз пришлось, — улыбнулась Графиня. — Я ехала по кольцу в 10-м троллейбусе. Часов в двенадцать ночи. Троллейбус совершенно пустой. Рядом со мной садится прекрасно одетый молодой человек и говорит: “А что если я вас не выпущу?” И улыбается. Подъезжаем к Смоленской. Я встаю. Он тоже. Я говорю: “Разрешите?” Он улыбается и отрицательно качает головой. Я открываю сумочку, достаю браунинг и говорю: “Разрешите?” Тот совершенно растерялся и спрашивает так робко, показывая на браунинг: “А вам можно?” А я ему так царственно: “Можно”. Помог мне сойти, залез обратно в троллейбус и потом долго смотрел в заднее стекло.

Борода вынул изо рта трубку:

— Решил, что ты из МИДа.

Бард, воспользовавшись паузой, решил прибавить звуку:

Ты сквозь меня пройдешь, как свет,
Как боль, которой больше нет.

— А ты не знаешь случайно, — резко повернулся к нему Борода, — “Лучше гор могут быть только горы”?

Вот молодец, и внимание проявил, и пение прекратил.

— А ты не можешь напеть? — спросил доверчивый Бард.

— Напеть? — Борода засунул трубку обратно в рот. — Нет, разумеется.

— Дорогой мой, — обратилась Графиня к Ш, который подкручивал что-то в ее браунинге пилкой для ногтей, — что ты там делаешь?

— Пружина затвора ослабла. Я ее подтянул. Осечка могла быть.

— Теперь не будет?

— Нет. А чем эта история кончилась?

— Какая?

— Ну с этим пожилым, который пил в ресторане?

— Не знаю, — пожала плечами Графиня. — Так и пьет, наверное. Или перестал.

— А ваш роман был до или после?

— А действительно, — сказал Борода, — до или после?

— Много будете знать, — сказала Графиня серьезно, — придется вас пристрелить.

— А не сходить ли нам в поход, — сказал вдруг Ш, — учитывая, что лучше гор могут быть только горы?

— Есть только одно место, куда есть смысл идти, — торжественно заявил Борода. — Оно называется Псху.

БОРОДА

Так вот. Про поселок Псху мало кто знает. Хотя вокруг есть несколько перевалов (Санчара, Аллаштраху, Адзапш, Чамхара и Доу), дорога только одна: от озера Рица мимо дачи Сталина и, чуть не доезжая курорта Авадхара, поворот на труднопроходимую тропу, ведущую через перевал Пыв в Псху. Поселок расположен в долине реки Бзыбь между Главным Кавказским и Бзыбским хребтами на высоте 760 метров.

Его не раз пытались завоевать. 21 мая 1864 года, после торжественного парада в честь окончания Кавказской войны, поселок был окружен войсками, и жителям было поставлено условие переселиться на равнину или уйти в Турцию. Большинство жителей предпочло последнее. Перед уходом все строения были сожжены. Постепенно Псху был заселен русскими.

Поселок часто становился убежищем для разного рода беглецов — и русских духоборов, и старообрядцев, и белогвардейцев. Здесь скрывались от красного террора монахи Ново-Афонского монастыря и представители “класса угнетателей”. Позднее прятались от НКВД всякие там “вредители” и “шпионы”.

Связи с миром почти нет. Маленький аэродром, но им практически никто не пользуется. Есть своя гидроэлектростанция. По существу, советская власть

сюда так и не дошла. Я попал туда подростком и до сих пор не могу забыть, какими сливками нас поили, какой бараниной кормили, какое вино наливали. Мы прожили там четыре дня, и с нас не взяли ни копейки. Для местных жителей человек с большой земли — примерно как для нас иностранец. Самое интересное — они спрашивали нас, кончилась ли война. Не исключено, что имели в виду Первую мировую.

Эти четыре дня в Псху заставили задуматься. Четырнадцать лет меня уже волновал вопрос: как жить в условиях советской власти? Писание в стол или уход в примитивное крестьянское хозяйство привлекали мало. Эмиграция тем более. Я понимал, что там, за кордоном, ты либо отказываешься от своего “я”, своего прошлого и начинаешь жить с нуля как гражданин другой страны, либо вынужден находиться в кругу эмигрантов и общаться с людьми, которым на родине и руки бы не подал.

В общем, на факультете мы с тремя друзьями организовали клуб, где читали и обсуждали “1984” Оруэлла и “Новый класс” Милована Джиласа. В общем, политические дискуссии. Довольно скоро это стало известно. Приятелей исключили из комсомола и выгнали из института. Со мной должно было случиться то же самое, но у меня произошло что-то вроде разговора с Великим Инквизитором.

— Зайдите в кабинет декана, — сказала как-то Клава из отдела кадров.

В приемной меня ждал сравнительно молодой человек в сером костюме.

— Сергей Иванович, — представился он. — Пойдемте в мой кабинет, там никто не будет мешать.

Мы подошли к невзрачной двери в конце коридора. Я видел ее много раз, она всегда была закрыта, и я считал, что это какая-то кладовка. Сергей Иванович отпер дверь своим ключом, и мы оказались в очень странном помещении без окон. Оно действительно выглядело как кладовка — старый обшарпанный стол, пыльные металлические стеллажи, заставленные картонными коробками, в которые, похоже, давно не заглядывали, кресло, обтянутое бордовым дерматином. Но на столе стояли два новеньких телефона — черный и белый, а рядом с ними аккуратная стопка чистой бумаги и дорогая авторучка. Сергей Иванович сел в кресло, а мне указал на кособокий стул на хромированных ножках.

— Чем больше я о вас узнаю, — начал Сергей Иванович, — тем больше восхищаюсь. Какая эрудиция, какой интеллект, какая скорость реакции! Я был на всех заседаниях вашего клуба и, признаюсь, получал истинное удовольствие от ваших реплик.

— Я вас там не видел, — сказал я.

— Ничего удивительного, — улыбнулся он. — У меня такая незаметная внешность, не то что у вас. Вас один раз увидишь, один раз послушаешь — запомнишь на всю жизнь. А чувство юмора! Эта ваша шутка про постановление ЦК о помощи французскому пролетариату “в том числе и вооруженными силами”. Блеск!

— Не понимаю, — сказал я. — Этот текст я напечатал на машинке, показал одному-единственному приятелю, а потом сжег. Значит ли это, что он с вами сотрудничает?

— Странно, не правда ли, — улыбался Сергей Иванович, — то ли он с нами сотрудничает, то ли на машинописной ленте что-то осталось, то ли у стен есть не только уши, но и глаза. Вы умный, вот и отгадывайте. Меня только вот что беспокоит. Зачем вы, с вашим умом и талантом, связались с этой диссидентской шушерой? Подумайте, кто вы и кто они. Мы их исключили из комсомола, выгнали из института. Всё. Их больше нет. А вас терять нам не хотелось бы. Подумайте, где вы живете. Дискуссионный клуб! Надо же такое придумать! Вы не в Лондоне, не в Париже, куда мы пока еще братскую помощь не посылаем, а в дикой варварской стране. Вы попробуйте прочтите вашу блистательную лекцию о рыночной экономике работягам с “Уралмаша”, знаете, что они с вами сделают? Здесь интеллигент находится между пьяным быдлом и начальством, тоже иногда пьяным. У интеллигента, не желающего эмигрировать (а вы, я знаю, не желаете), выход один — самому становиться начальством. В конечном счете мир делится на начальство и подчиненных. Если ты говоришь “а я ни то и ни другое, я в стороне”, ты все равно подчиненный. Вам очень хочется быть подчиненным?

Я молчал.

— Можете не отвечать. Я знаю. Не хотите. И ни один умный человек не хочет. Подумайте, кто вам ближе — пьяный работяга, разночинцы из вашего клуба или я. Уверяю вас, что я. Я прочел книг не меньше вашего, и не только Оруэлла и Джиласа, а и Питирима Сорокина, и Шпенглера, и Тойнби. Со мной вы можете разговаривать на любые темы, безнаказанно показывать любые шутки — здесь

вы в безопасности. Мы с вами относимся к этому режиму одинаково. Это режим для быдла, а не для нас с вами. Мы должны быть не жертвами этого режима, а его, если угодно, мозгом. Хотите организовать дискуссионный клуб? Организуйте его в Лос-Анджелесе. А мы вам поможем. Вам знакомо название *Rand Corporation*? Можете не отвечать. Знаю, что вы хотели бы там поработать. А нам это нетрудно организовать.

— Что я для этого должен сделать?

Сергей Иванович и протянул мне листок бумаги.

— Поставьте подпись и число.

Мне сразу вспомнилась песня Галича:

Тут черт потрогал мизинцем бровь

И придвинул ко мне флакон.

И я спросил его: “Это кровь?”

“Чернила”, — ответил он.

Что ж, пора расставаться с иллюзиями. С диссидентскими разговорами на кухне. С песнями Кима и Галича. С посещением мастерских бездарных подпольных абстракционистов. С чтением выданной тебе на ночь слепой машинописной копии, где страстные обличения “Софьи Власьевны” (кодовое название советской власти) накладываются на слабую осведомленность в истории и социологии. С убеждением, что достаточно избавиться от этого сенильного Политбюро, как жизнь в Москве станет такой же свободной и прекрасной, как в Париже. С идеей, что России нужна законность. Законность! Классиков читали? Забыли, что существовать в Рос-

сии можно только потому, что законы не соблюдаются?

Я сидел, уставившись в листок бумаги, а парковская ручка Сергея Ивановича, похожая на позолоченную подводную лодку, подрагивала в моей руке.

ПОХОД

Спать легли поздно. Когда мы с Ш остались одни в комнате, в первый момент обоим стало неловко — это была первая легальная, почти супружеская совместная ночь. Он встал и, подумав, потушил свет. В окно ярко светила полная луна. Он посидел на своей кровати и начал расшнуровывать кеды. Я быстро разделась и залезла под одеяло. Ш еще долго возился, потом я услышала, как он зашлепал босыми ногами к моей кровати. Край одеяла приподнялся, и он, сопя, стал деловито укладываться рядом со мной, отчего кровать издала долгий протяжный и очень громкий стон. Он замер.

— Черт, — пробормотал Ш.

Мы лежали совершенно неподвижно минут пять, потом он осторожно протянул ко мне руку. Изпод матраса раздался леденящий душу скрип. Он опять замер. Через несколько минут он повторил свой маневр, но на этот раз к скрипу прибавился глухой, точно далекая канонада, выстрел сцепившихся пружин.

За стеной кто-то встал, донесся сердитый шепот и звук наливаемой воды — слышимость была как в зале Чайковского.

— Черт, — прошептал Ш. — Что делать-то?

— Давай спать.

— А завтра?

Завтра мы будем в Псху.

А в четыре утра Борода уже стучал нам в стенку.

— Мы вчера так громко разговаривали, — сказала Графиня светским тоном, когда мы пили кофе из термоса у них в комнате, — боюсь, не дали вам спать.

— Мы ничего не слышали, — быстро проговорил Ш.

Пансион мадам Дубровской спал. Ш бросил мешек в окно на втором этаже, где жили Заяц и Бард. В окне показалась заспанная морда Барда. Он делал какие-то знаки. Борода нетерпеливо махнул рукой: спускайтесь быстрее!

Дверь открылась. Из нее появился Бард в расстегнутых сандалиях, тренировочных штанах и сеточке на голое тело. Он несколько раз наклонил голову, втянув ее в плечи и выдвигая подбородок.

— Мы не поедем, ребята, — сказал он. — Вы уж одни съездите, — он опять закивал головой, как бы желая смягчить горькую правду своих слов.

— Что значит — не поедем? — строго спросил Борода.

— Ну, вроде мы с вами не поедем, — развел руками Бард.

— Почему?

— Ну, мы как бы не выспались, и потом, Заяц себя неважно чувствует...

— Что с ней? — продолжал Борода тоном следователя.

— Голова болит.

— Если это единственная причина, — веско сказал Борода, — скажи ей, что лучшее средство от головной боли — пешие прогулки.

— Ну, я не знаю, ребята, я спрошу, — пожал плечами Бард и пошел наверх.

Минут через десять они появились, оба в темных очках. Через плечо у Барда висела кинокамера “Кварц-2”.

— Доброе утро, — вежливо заулыбалась Заяц. — Мы решили немножко остаться, потому что у меня болела голова. Но сейчас все прошло.

— Действительно все прошло? — допытывался Борода, на этот раз тоном врача-психиатра.

— Действительно, — еще приветливее улыбнулась Заяц.

— Ну, тогда пошли.

Мы двинулись по пустой Приморской улице. На небе ни облака, а с моря дул прохладный ветер. Через час будет жарко, но я люблю жару. На повороте стояла вчерашняя свинья и смотрела на нас с идиотской улыбкой, хотя у свиней это выражение лица может означать что-то другое, глубокое раздумье, например. Ш запустил в нее камнем, и она обиженно поволокла свой живот в сторону, поднимая пыль.

Примерно через час наш “Икарус” остановился у очередной достопримечательности — маленького, но страшно глубокого озера ослепительно-голубого цвета.

— Потрясающий цвет, правда? — сказала я.

Ш иронически на меня посмотрел:

— Интересно, вот этот фотограф сколько раз в день слышит эту фразу? Думаю, что не меньше тысячи. А?

— Ну и что. А мне нравится.

— Да мне тоже, в общем, нравится, но говорить друг другу имеет смысл фразы, в которых содержится новая информация.

Я обиделась.

Часа через два мы подъехали к озеру Рица. Оно появилось далеко внизу, черным провалом среди пушистых зеленых склонов. Мы вышли из автобуса. Я подошла к краю дороги и долго смотрела, как две белые лодки бесшумно пересекли озеро, вспарывая бархат воды, а края за ними становились рваными, мохнатыми и тоже белыми, как будто на них осталась часть белизны лодок.

— Вот вам настоящая открыточная красота, — сказала Графиня.

— Да, да, — отозвался Ш, — великолепный китч. — Он опасливо оглянулся на меня.

Потом мужчины ушли узнавать, как ехать дальше, а мы втроем сидели на открытой веранде кафе и пили глянсе. Моя обида давно растворилась, путешествие мне уже нравилось.

— Какие же вы дураки, что не хотели ехать, — сказала Графиня Зайцу, — сейчас жарились бы на этом идиотском пляже.

— Да нет, я хотела, — с едва заметным раздражением отозвалась Заяц, — просто у меня болела голова, а он такой заботливый...

— А мне, — сказала я, — жалко, что нам всего три часа идти. Я люблю ходить по горам.

— Ну да, — сказала Графиня, — ты ж у нас дитя гор.

К нам подбежал запыхавшийся Бард:

— Быстрей, там грузовик ждет!

В кузове грузовика сидело человек восемь уса-
тых мужчин. Увидев нас, они заулыбались и замаха-
ли руками:

— Залезай, красавицы!

Три красавицы в разном стиле. Графиня — высо-
кая, худая, с мальчишеской фигурой и резкими дви-
жениями. Заяц — курочка, чуть выше меня, очаро-
вательная мордочка, соблазнительная попка — на
месте мужчин я, конечно, выбрала бы ее.

— Кто это такие? — спросила я у Ш.

— Тебе лучше знать — ваш брат кавказец.

— Я тебе сто раз говорила, Армения к Кавказу ни-
какого отношения не имеет.

— Как глупо, — прокричал мне в ухо Ш, когда мы
уже тряслись по извилистой горной дороге, — что
ты не поддерживаешь отношений с отцом. Поехали
бы сейчас к нему, жрали бы столовыми ложками
икру и пили коньяк.

— Знаешь, мне надоели эти разговоры. Сам под-
держивай.

— А что, я с ним знаком, между прочим. Я был
у него с родителями в детстве, когда отец его перево-
дил. В гостинице “Европейская” в Ленинграде.

...Я хорошо помню тот вечер. Я простояла за занавес-
кой, не решаясь выйти к гостям, и смотрела в щел-
ку. Отец, маленький, толстый, с усами, хлопал на-
смерть перепутанного Ш по плечу и кричал его
отцу, великому переводчику и критику Даниилу
Шульцу:

— Давай, слушай, пажемим дэтэй, а?

Мать страдала, ей было стыдно за вульгарно-
го мужа, а я видела толстого серьезного мальчика,

и мне хотелось его отлупить, оторвать ему руки, ноги и башку, а потом чтоб он все-таки на мне женился.

— Он, кстати, мечтал нас поженить, — сказала я.

— Серьезно? Не помню. Давай его обрадуем — телеграммку отобьем.

— И что напишем? — поинтересовалась я.

— Ну, в том смысле, что мы...

— Думаешь, это его обрадует?

— Он же этого хотел.

— Он не этого хотел.

— А чего?

— Чтоб мы поженились.

— А, — сказал Ш, и у него явно испортилось настроение.

В двенадцать часов дня мы уже шли по извилистой горной тропинке. Все пророчества Бороды пока что сбывались. Если и дальше так пойдет, через три часа мы будем пить несоветские сливки. Ярко светило солнце, но жарко не было — ветер и две тысячи метров над морем делали свое дело. Впереди солидной деловой походкой шел Борода и вертел головой, осматривая окрестности. За ним мрачно плелся Ш с полупустым рюкзаком, в котором была только наша палатка. Заяц аккуратно ставила свои прелестные ножки в золоченых арабских босоножках на выступы камней. Бард с кинокамерой то убегал вперед, чтобы взять нас общим планом, то спускался вниз, чтобы снять распущенные волосы Зайца на фоне седых вершин. Замыкали шествие мы с Графиной. Она расспрашивала меня о моих родителях, а я впервые об этом рассказывала.

Мать вышла замуж из своеобразного расчета. Ей было все равно куда, хоть на край света, лишь бы сбежать из Москвы от сумасшедшего деда, тот свихнулся от несчастной любви к какой-то певичке на фронте. Моего отца мать не любила ни одной минуты. Она добросовестно родила ему нас с Аветиком, содержала в идеальном порядке огромный дом, ни разу не изменила, но когда мы оставались вдвоем, начинала свое: “Уедем, уедем отсюда. Ты русская, в тебе ничего нет от отца. Уедем”. Сколько я себя помню, мать всегда шептала мне эти слова, они были для меня и сказками, и колыбельными песнями. Но мы никуда не уезжали — Сцилла сумасшедшего деда был сильнее Харибды нелюбимого мужа. Только когда получили телеграмму, что деда выпишали из Кашенко и что родственники собираются везти его в Ереван, мать поняла, что Сцилла неумолимо приближается к Харибде и надо действовать. Мы собрались за три дня и улетели в Москву. Ни отца, ни младшего брата я с тех пор не видела. Аветик, говорят, очень плакал по мне первое время, а о матери даже не вспоминал. И сейчас, глядя на обступившие нас веселые снежные вершины, я вдруг вспомнила, как мы с братом бежим с горы наперегонки к машине — кто первый займет место впереди, рядом с отцом, — и у меня сжалось сердце.

Было около пяти часов вечера, когда мы поняли, что заблудились. Прямо перед нами в небольшой долине лежало крохотное горное озеро. Справа от него паслись две козы, видимо, дикие. Они с большим удивлением нас рассматривали — может быть, никогда не видели людей. Слева от озера, почти прямо от

воды, начинался ледник, а впереди за озером круто вверх поднимались скалы. Высоко над скалами таял в облаках перевал. Было ясно, что это не Пыв, куда хотел попасть Борода, а какой-то другой, Санчара или Доу. Справа было нечто, напоминающее тропинку или высохшее русло ручья. А сзади, страшно далеко внизу, нереальная, как будто подклеенная из другой фотографии, бежала река Бзыбь. Солнце двигалось за перевал, и чем ниже оно спускалось, тем больше нами овладевала паника.

Мужчины отошли в сторону совещаться. Вид у них был не слишком бодрый, один Борода соблюдал видимость спокойствия. Становилось прохладно. Минуты через три они вернулись к нам.

— Ситуация такая, — сказал Борода, — то ли эти ингуши ошиблись, то ли нарочно показали неправильно, но это, видимо, не Бзыбь, а какая-то другая река. Бзыбь слева, вон за тем ледником. Возвращаться бессмысленно, через три часа будет темно. Если Бзыбь слева, то это перевал Санчара, и Псху прямо за ним. Если мы поднимемся до темноты, то все в порядке, там с 1928 года своя электростанция, мы сразу увидим огни, спокойно спускаемся и в десять вечера уже пьем молодое вино и едим баранину. На перевал можно было бы подняться по леднику, но не в нашей обуви. Прямо по скалам тоже трудно. Остается вот эта тропинка справа. Поэтому все сейчас садятся и отдыхают, а Шульц бежит на разведку. Контрольный срок — сорок минут.

Ш сбросил рюкзак и трусцой побежал направо. Перепутанные козы рванулись и скрылись за скалой. Вскоре за ней скрылся и Ш.

Графиня полезла в свой расшитый бисером театральный ридикюль и вытащила два маленьких яблока. Бард аккуратно разрезал перочинным ножом каждое на три части. Все съели по куску и один оставили Ш. Заяц отошла в сторону и легла на траву.

— Что с ней? — строго спросил Борода у Барда.

— Голова опять болит.

— Пусть немедленно встанет, если вы в принципе хотите иметь детей. Трава влажная и холодная.

Бард подошел к Зайцу и что-то долго ей говорил, но она не шевелилась. Бард присел рядом с ней.

— Черт, — выругался Борода, глядя на них, — объясни ей, что бывает от лежания на ледяной траве.

— Ах, боже мой, — раздраженно сказала Графиня, — оставь их в покое. Пусть делают что хотят.

Борода посмотрел на часы, потом начал пристально всматриваться в ту сторону, куда убежал Ш. Тропинка шла направо, чуть вверх, потом круто поворачивала налево и исчезала за зеленым склоном.

— Куда он делся, черт подери? — нервно спросил Борода.

— Сколько прошло? — спросила я как можно спокойнее.

— Полчаса.

— Еще десять минут, рано волноваться.

— Пятнадцать минут назад он мелькал вон за тем камнем, — сказал Борода. — Потом исчез. Если он намерен спускаться обратно и быть здесь к шести, как мы договорились, то он давно уже должен был опять появиться у того камня.

Солнце неумолимо двигалось к перевалу. Скалы отбрасывали длинные голубые тени. Было фантастически красиво, и от этого еще страшнее.

Прошло еще десять минут. Мы начали кричать, нам отвечало многократное эхо.

Когда мы надорвали глотки и замолчали, Борода спросил у Графини, взяла ли она с собой браунинг.

— Естественно, — пожалала она плечами, — я никогда с ним не расстаюсь.

— Выстрели один раз, — сказал он тоном приказа. — Выстрел в горах слышен на много километров.

Я закричала:

— Не стреляй!

Мне показалось, что этим выстрелом мы можем только разозлить ту неведомую силу, во власти которой мы все сейчас находились. Надо было униженно смириться, тогда она простила бы нас. Выстрел — это бунт, а всякий бунт бывает жестоко подавлен.

— Прекрати истерику, — брезгливо сказал Борода, а потом кивнул Графине: — Стреляй!

Выстрел прозвучал совсем не так, как его слышишь в кино. Это был короткий удар, как будто упал большой камень, и в ту же минуту там, на гребне перевала, я различила маленькую фигурку, размахивающую руками. Фигурка была такой жалкой, такой потерянной среди этой злой красоты, и все это до такой степени было прямо из моего сна, что у меня потекли слезы.

Потом мы что-то кричали ему, он нам тоже, но ничего разобрать было невозможно. Тогда мы стали карабкаться прямо к нему, вверх по скалам, а он, покрячав еще несколько минут, стал спускаться к нам.

Так мы карабкались навстречу друг другу. Солнце садилось. Карабкаться по скалам было не страшно, мы только ободрали себе все ногти. Страшно было, когда временами попадался снег, — там не за что было цепляться. И все-таки мы встретились.

Он даже не глянул на меня. Просто взял у Бороды рюкзак и быстро полез обратно вверх. Когда до гребня оставалось несколько метров, я обернулась и посмотрела вниз. Там была черная ночь. Над перевалом небо еще светилось красноватым светом, как затухающие угли. Еще немного, какие-то десять шагов — и мы в Псху.

ГРАФИНЯ

Отец был бабником. С матерью они развелись, когда мне не было года, так что их вместе я не помню. С самого детства он обращался со мной как с дамой. Дарил цветы, драгоценности, водил в рестораны, подавал пальто. Знакомил меня со своими многочисленными любовницами. Маленького роста, худенький, в огромных очках, он был похож на японца, хотя никаких японцев в роду не было. Ему нравилось притворяться японцем. Дома ходил в кимоно, на стене висел самурайский меч. Возможно, именно этот меч, который я помню с детства, пробудил во мне любовь ко всякому оружию.

Как-то привел к себе двух молодых провинциалок и стал травить их истории про Японию, в которой никогда не был, про способы закалки самурайских мечей, про тюрьмы в штате Джорджия, про сжигание трупов на берегу реки Ганг. Все врал, разу-

меется. Девушки из тамбовской области слушали его с открытыми ртами, переводя взгляды с самурайского меча на его кимоно и на иностранные книги на полках.

Потом одна шепотом спросила:

— Вы что, бывали во всех этих местах?

— Если вы обещаете, что это останется между нами, — ответил он, — я скажу вам, кто я. Я Рудольф Абель.

Девки чуть не упали в обморок. Это происходило в 1962 году, когда Абеля-Фишера обменяли на американского летчика Пауэрса. Не сомневаюсь, что папаша тут же их обеих трахнул — вместе или по очереди, не знаю.

Зная мою страсть к оружию, подарил мне к восемнадцатилетию браунинг 1911-380. 0.380 — это калибр в дюймах. 1911 — это год, когда Джон Браунинг изобрел эту модель, а изготовлен мой пистолет был сравнительно недавно. Весил 510 грамм, и его легко было носить в сумочке.

Я сразу записалась в стрелковый клуб и ходила туда каждый день. Научилась разбирать, собирать, чистить и смазывать. Держала его в сумке завернутым в тряпочку. Запах оружейного масла вызывал у меня состояние, близкое к оргазму. На лекциях иногда незаметно открывала сумку и нюхала тряпочку.

Когда исполнилось девятнадцать и все подружки уже напропалую трахались и делали аборт, я решила, что и мне надо переходить в следующий класс. Иметь дело с неопытными юнцами — это, как объяснила мне подруга, все равно что просить домработницу запломбировать зуб. Мой инструктор по

стрельбе, немолодой неразговорчивый мужчина, давно на меня многозначительно поглядывал. Я стала ему улыбаться, это сработало — он пригласил меня выпить с ним пива. Пошли в “Пльзень” в Парке культуры. Лет ему было, наверное, около сорока. Выглядел как бывший военный, хотя формы не носил. Излучает надежность. Я ему честно объяснила ситуацию — хочу, чтобы он лишил меня невинности. Он вел себя абсолютно невозмутимо, как будто с такой просьбой к нему обращаются каждый день. Поехали в его однокомнатную квартиру в Беляево. К задаче он отнесся ответственно. Сначала прочел мне лекцию, потом все-таки совершил то, что от него требовалось. Боли не было, но и экстаза тоже.

Я вежливо его поблагодарила, села в такси и тут же тайком понюхала любимую тряпку. Пистолет оказался куда более привлекательной секс-игрушкой, чем *penis vulgaris*.

Получать удовольствие от секса я все-таки потом научилась, но некоторые странности сохранялись. Замуж я вышла без любви, но мне с мужем было интересно. У него был рациональный ум, и любую запутанную ситуацию он мог мгновенно разложить по полочкам, так что тебе сразу становилось понятно, где право, где лево, и кто полезен, кто нет. А вот к сексу мы оба быстро охладели. Потом, правда, выяснилось, что он охладел к сексу со мной, а с балеринами и актрисами — пожалуйста. Хотя, я думаю, это был скорее вопрос престижа: если с балериной, так из Большого, если с актрисой, так с Настей Полоцкой. Я, конечно, тоже ему изменяла, главным образом для равновесия, чтобы не чувствовать себя обделенной.

Когда много лет спустя, в Париже, мы развелись, ни с той, ни с другой стороны страданий не было. Скорее, бытовой вопрос вроде “ты хочешь пойти в театр или дома остаться?”. Я поселилась в маленьком домике на бульваре *Lénine* в Бобиньи. К моему неразлучному браунингу добавились два карабина с оптическими прицелами, один “Узи” и несколько пистолетов. Все это было художественно развешено в гостиной. Как-то на нашей улице была облава, и ко мне постучали в дверь. Вошла черная женщина в форме ажана, осмотрела с профессиональным интересом стену, спросила, можно ли подержать в руках. Я сказала — конечно. Наигравшись моими игрушками и исполнившись ко мне уважением, смешанным с завистью, дала совет:

— Если к вам в дом будет ломиться грабитель и вы его убьете, не забудьте втащить труп в дом — по закону, если нарушитель на вашей территории, вы имеете право стрелять.

К этому времени я окончательно выяснила, что секс меня устраивает, только если он не связан с отношениями. И наоборот, отношения — пожалуйста, но только без секса. В моей мальчишеской фигуре, которая когда-то очень нравилась определенному типу мужчин, теперь появилось нечто от скульптур Майоля, и на нее клевали уже совсем другие персонажи. Когда я чувствовала, что мне пора, я надевала белое обтягивающее платье, черную шляпу, черные перчатки и шла в один из баров у нас в Бобиньи, куда ходили дальнобойщики, грузчики, строительные рабочие — люди, с которыми точно не могло возникнуть отношений.

Я входила, и на меня оборачивались абсолютно все. Я садилась к стойке и заказывала *Chivas Regal*. Не спеша потягивала свой виски и краем глаза осматривала публику. Примерно через полчаса объект был выбран. Я вставала и медленно шла к выходу, зная, что на меня смотрят. Дойдя до двери, оборачивалась, указывала пальцем на выбранный объект. После этого быстро, не оглядываясь, выходила на улицу.

Не было случая, чтобы объект за мной не последовал.

Мой психоаналитик уверяет, что вся эта игра не про секс, а про власть.

Возможно. Почему бы и нет?

НОЧЬ В ГОРАХ

Десять шагов, и я из ночи попадаю в гаснущий день. Солнце висит, касаясь красным краем далеких синих зубцов. До полной темноты час. Спинай ко мне сидят все пятеро победителей и смотрят на солнце — по середине Ш, справа чуть выше Графиня, рядом с ней Борода, слева внизу Заяц и Бард. Но где же Псху?

Такое же ущелье, как сзади, было теперь впереди. Где-то внизу шумела горная река. Бзыбь? Направо вниз спускался широкий песчаный карниз, при желании по такому можно проехать на газике. Слева паслись козы. Вокруг них несколько тропинок, протоптанных, скорее всего, этими самыми козами, а во все не людьми. Ущелье круто уходило вниз и там поворачивало налево, скрываясь за зеленым склоном. Если Псху где-то и был, то только там, внизу. Но там уже кромешная тьма.

Бард пошептался о чем-то с Зайцем, потом встал и подошел к Бороде:

— Мы оставили кинокамеру...

— Где?

— Там, где стреляли.

Борода внимательно посмотрел на него через свои толстые очки:

— Мне очень жаль, что вы оставили там кинокамеру, — потом повернулся к Графине и добавил: — Надо идти.

— Я быстро сбегаяю, — сказал Бард, ни на кого не глядя.

Борода быстро взглянул на него и повернулся к Ш:

— У нас есть час, пока совсем не стемнело. Надо идти.

— Я быстро сбегаяю, — бубнил Бард. — Я помню, она под камнем лежит. Нам ее на свадьбу подарили.

— Бессмысленный разговор, — сказал Борода. — Мне очень жаль вашу кинокамеру.

— Мы все равно сегодня не дойдем, — не унимался Бард. — Лучше уже не ходить никуда.

— Что ты предлагаешь делать? — сухо спросил Борода.

— У нас же есть палатка!

— В ней с трудом помещаются четыре человека. Здесь уклон градусов двадцать, так спать невозможно. А самое главное — ночью будет жуткий мороз. Это же перевал. Мы замерзнем насмерть. Ладно, разговор исчерпан. Надо идти.

— Куда идти? — закричала Заяц. — Нам ее на свадьбу подарили. Там надпись выгравирована!

— Хватит, пошли! — отрезал Борода.

— На каком основании ты здесь командуешь? — завизжала Заяц. — Пошел ты к черту! Все из-за тебя. Идите куда хотите, а мы вернемся за кинокамерой. Пошли! — она взяла Барда за руку.

— Что? — взвилась Графиня. — Вот только сделай шаг в ту сторону!

Я подумала, что она сейчас достанет свой браунинг и застрелит ее на месте. Она действительно полезла в свой бисерный ридикуль, но вытащила всего лишь носовой платок.

— Где браунинг? — быстро спросила она у Бороды.

— Видимо, там же, где кинокамера, — ответил он без выражения.

— Я быстро сбегаяю, — опять сказал Бард и двинулся назад, к перевалу.

— Стой! — закричал Ш. — Там же темно!

— Пошел он к чертовой матери, — сорвался наконец Борода. — Пусть валит на все четыре стороны!

Голова Барда показалась за перевалом, и он исчез.

Быстро темнело. Из-за зубчатого края гор теперь виден был только узенький край солнца. Стало по-настоящему холодно.

— Пошли, — сказал Борода, — надо спешить.

— Я его здесь подожду, — тихо и вежливо сказала Заяц. — Вы идите.

— Хорошо, — так же тихо ответил Борода и быстро пошел вниз по зеленой, уже совсем мокрой траве, распутивая коз.

Сначала двигались медленно, выбирая дорогу, но чем темнее становилось, тем быстрее. Потом ходьба превратилась в бег. Потом мы уже летели напролом, не разбирая дороги. Я видела впереди только рюкзак Ш и старалась не отставать. Несколько раз

я падала, но тут же вскакивала и снова бежала, а склон становился все круче и каменистее.

Была уже настоящая ночь, когда мы остановились. Дальше бежать было некуда. Где-то высоко светила луна. Прямо перед нами ревела горная река, прорываясь через каменные завалы. Ш полез в рюкзак и достал фонарь. Сверху посыпались камни и появилась чья-то фигура. Это была Заяц.

— Его нет, — сказала она, всхлипывая, и села на камень.

Борода стоял, тяжело дыша, и держался за сердце. Мы с Графиной обнялись, чтобы было теплее, и тихо дрожали. Ш бессмысленно водил фонарем во все стороны.

— Сходи с фонарем, — задыхаясь, сказал ему Борода, — поищи дорогу.

Ш полез направо вверх по высохшему каменному руслу. Через несколько минут вернулся:

— Тут со всех сторон завалы, — Ш опять полез в рюкзак. — Ой, смотрите, что я нашел, — и выгасил браунинг Графини. — Как он сюда попал?

Поднял руку вверх и выстрелил. Сверху донеслись крики.

Ш стал мигать фонариком в направлении криков. Похоже было, что кричали двое, но, возможно, это было эхо. Мы тоже покричали. Наступила тишина. Через минуту крики возобновились. Голос, несомненно, мужской, но слов не разобрать. И снова тишина.

— Ну идите же ему навстречу! — закричала Графиня, но ей никто не ответил. Минут через двадцать сверху посыпались камни и появилась фигура. Ш осветил ее фонарем. Это был не Бард.

Я сразу его узнала в тусклом свете луны и карманного фонарика. Один из усатых “ингушей” из грузовика.

— Нет дороги, нет дороги, — хрипло забормотал он. — Наверх надо, — он взял Зайца за руку и повел наверх.

Сверху спускался еще один усатый.

— Нет дороги, — сказал он. — Зачем сюда пошли? Здесь даже козы не ходят.

Ни у кого не было сил ответить.

— Еще один где?

— Там, — слабо махнула рукой Графиня, — за перевалом, пошел искать свою кинокамеру.

— Ай, ай, ай, — закачал головой второй усатый. — Там нет дороги.

Он сложил руки рупором и стал кричать что-то наверх на своем языке.

Не знаю, как мы поднимались, не знаю, сколько времени прошло. Кто-то тащил меня за руку. Я очнулась, когда нас вывели на карниз, недалеко от того места, где Графиня хотела застрелить Зайца. Двое усатых взяли у Ш фонарь и побежали искать Барда за перевал, а мы потянулись гуськом по карнизу за третьим усатым, держась друг за друга. Впереди показался огонь и послышался лай собак, но это был не Псху. Под деревянным навесом, покрытым шкурами, догорал костер, вокруг него толпились козы, позвякивая колокольчиками. Здесь же, завернувшись в шкуры, спали двое. Под ногами хлюпало.

Усатый заставил меня выпить что-то горячее. Со всем не хотелось ни есть, ни пить. Хотелось только одного: доползти до любой горизонтальной поверхности и провалиться в бездну сна. Мышцы век за-

текли от непривычной и непосильной работы — держать глаза открытыми.

Упав на шкуры, я тут же провалилась в сон. И медленно была вытолкнута обратно. Я стала такой легкой, что тяжелая маслянистая жидкость сна меня не принимала. Я болталась, как поплавок, то погружаясь, то выпрыгивая, карабкалась по камням, сдирая ногти, обрывалась в пропасти, у меня захватывало дух, потом я снова карабкалась. Руки тряслись так сильно, что пришлось подсунуть их под себя. Я открыла глаза, чтобы посмотреть, не наступило ли утро.

Небо было темным, луна скрылась. Я села. Около костра храпели двое усатых и девочка лет двенадцати. Те, которые пошли искать Барда, еще не возвращались, и я с интересом отметила, что мне совершенно все равно, найдут они его или нет. Слева от меня лежали с широко открытыми глазами Борода и Графиня, истерически грызущая ногти. Справа, завернувшись с головой, Ш, за ним шевелила губами и хлопала ресницами Заяц.

Дым от тлеющих углей шел теперь прямо на меня, и у меня начали слезиться глаза. Я осторожно выползла из-под навеса. С мелодичным звоном шагнула коза. Земля под руками была мягкой и липкой. Голова кружилась. Я доползла до камня и села на него. Под навесом зашевелились, и оттуда вышел, шатаясь, Ш и сел рядом.

— Спал? — спросила я шепотом.

Он покачал головой. Лицо его было мятым и обвисшим. Глаза едва приоткрыты.

Он опустил голову, отчего щеки свесились к носу, делая его похожим на бурундука. Таким я его не ви-

дела никогда. Он потерял всю свою привлекательность, и меня вдруг захлестнула волна нежности. Он открыл глаза, увидел свой рюкзак и начал в нем шарить.

— Кажется, это снотворное, — сказал он, протягивая мне облепленную грязными крошками таблетку. — Попролам.

Я отгрызла половину таблетки и передала ему. Он разжевал свою половину.

Мне казалось, что мы совершаем какой-то обряд, что после этого все будет иначе. Не знаю, что это была за таблетка — кофеин, аспирин, пурген, — но мы считали, что это снотворное, и оно действовало как снотворное. Но прежде чем оно действовало, прежде чем я отяжелела настолько, что жидкость сна не могла больше выгаликивать меня на поверхность, я прижалась к нему, его рука дрогнула и медленно двинулась навстречу мне.

Страшно храпел пастух, позвякивали колокольчики у коз, налетал и вновь затихал ветер, от костра тянуло дымом, может быть, мы уже спали, а может быть, занимались любовью, мы почти не шевелились, а я испытывала такое счастье, которого не испытывала никогда. Потом меня пронзило острое, как боль, наслаждение, на глазах выступили слезы, я прижалась к нему, заливая его ухо слезами, и провалилась в бездонную яму сна.

Когда я проснулась, уже светило раннее солнце, весело потрескивал костер, но уже не под навесом, а в стороне. Около костра на дереве висел вниз головой козленок, а один из усатых длинным ножом надрезал сухожилия и стягивал с него, как перчатку, шкуру. Это знакомое с детства зрелище наполнило

меня ощущением праздника, мне казалось, что сегодня должно было произойти что-то замечательное, но я никак не могла вспомнить что.

Сопел во сне Бард, ободранный, весь в крови, но с глупой улыбкой. Все остальные не спали. Мне улыбнулась Графиня, и я почувствовала, что ужасно ее люблю.

И СНОВА ТАКСИ

Он обхватывает меня за шею и начинает сопеть в ухо, а левая рука судорожно ищет, где расстегивается дубленка. Стоило ехать черт знает куда для такого тривиального занятия. Я думала, он окажется злодеем, а тут неуклюжий приставала.

— Отстань, дурачок, — я слегка отталкиваю его. — Не сопи.

Он откидывается на минуту и смеется. Потом перелезает через рычаг скоростей и усаживается рядом. Дрожащими руками пытается расстегнуть дубленку.

— Пусти, дурачок, все равно ничего не выйдет.

Он опять наваливается. Я нащупываю ручку двери, резко открываю ее и выскакиваю из машины, захлопнув за собой дверь. Он смотрит на меня сквозь стекло. Стоя по колено в снегу, хорошо, что сапоги высокие, кручу пальцем у виска: идиот ненормальный! Огибаю машину и выхожу на колею. Вокруг сгибающиеся под непомерно тяжелыми снежными шапками еловые ветки. Напоминает детский спектакль “Двенадцать месяцев”. Сегодня, кстати, 24-е — рождественская ночь там, у них.

Сквозь стекло вижу, как он роется в Графинином ридикюле и вытаскивает оттуда браунинг. Глаза у него лезут на лоб, он сует браунинг в карман, распахивает дверь, тут же проваливается в снег, матерится и бредет ко мне, высоко задирая ноги.

Мне жарко, я расстегиваю дубленку и, задрав голову, смотрю на звезды. Он подходит сзади и начинает сдирать с меня дубленку.

— Отвяжись, — раздраженно отпихиваю его.

— Убью, сука, — шипит он, вцепившись в дубленку, и только тут я понимаю, что я ему совершенно не нужна, ему нужна дубленка.

Это открытие вызывает у меня такой приступ бешенства, что я изо всех сил бью его кулаком в лицо:

— Кретин! Ублюдок! Импотент!

От неожиданности он падает, прижимая к себе дубленку, и ударяется головой о задний бампер. Я поворачиваюсь и иду по направлению к Москве. Считаю шаги: раз, два, три... Сколько, интересно, я успею насчитать, пока он выстрелит. Тридцать пять, тридцать шесть... Теперь все равно не попадет. Выстрела нет. Я иду, мне жарко от злости. Впереди ни огонька. До шоссе несколько километров. До Москвы — больше ста. Через пять минут злоба проходит, и у меня начинают мерзнуть колени, руки и уши. Вот вам и святочная история!

Я бегу, но теплее не становится. Наоборот, от встречного ветра леденеют щеки и нос. Останавливаюсь. На мгновение испытываю тепло, но тут же мороз набрасывается на меня с новой силой. Если бежать час не останавливаясь, станет жарко. Правда, до этого десять раз подохнешь. Ну что ж, зато красивая смерть — замерзнуть на лету, как птица.

Сзади шум мотора. А, скотина, совесть замучила! По мне скользит луч фар — из леса выезжает машина. Я слышу, как он со скрежетом врубает третью, потом четвертую и рвет мимо, обдавая меня снежными брызгами. Потом отчаянно визжат тормоза, и его заносит. Крутит, как волчок. Потом машина замирает. Под двумя красными огоньками вспыхивают два белых, и машина, взвывая, едет задом ко мне. Распахивается передняя дверца. Ну что ж, мы не гордые, сядем. Не глядя на меня, он так рвет с места, что нас опять чуть не занесло. Летим к Москве под ровный шум мотора.

На ноги дует горячий ветер. Меня бьет озноб. Я оглядываюсь: на полу перед задним сиденьем валяется дубленка. Мне становится весело. Перегибаюсь через спинку кресла, поднимаю дубленку и пытаюсь надеть. В машине это непросто, но мне в конце концов удается. Он не смотрит на меня и только жмет на акселератор.

— Какой же ты дурак, — говорю я и смеюсь.

Он бросает на меня быстрый испуганный взгляд.

— Ты что, не понимаешь, что если бы ты меня убил, тебя бы тут же нашли и расстреляли. А если бы не убил, я бы запомнила номер. Боже, какой кретин! — я хохочу.

Разумеется, никто бы его никогда не нашел, очередное нераскрытое убийство.

— А зачем вы со мной поехали?

— Отдай, кстати, оружие.

Быстро лезет в бардачок и отдает браунинг.

— А вам можно?

— Можно, — царственно роняю я. — Хочешь, я тебе подарю эту дубленку?

— Зачем она мне? — он пожимает плечами.

— А чего ж ты ее с меня сдирал, придурок?

— Чего-чего. А чего вы со мной поехали? Я думал, вам мужик нужен.

— Мужик! — я хохочу. — Кому ты нужен, дурачок.

Он несмело улыбается. Потом смеется. Потом мы хохочем вместе.

— Я включу? — он кивает на кассетник.

— Опять эту несовершеннолетнюю дуру?

— А у меня только одна кассета.

— Давай.

Мы летим. Ах, как здорово! У новой “Волги” хорошая подвеска, мы мягко взлетаем на бугры, и меня вдавливают в сидение, а потом куда-то проваливаемся, и тогда что-то обрывается в животе.

ПСХУ

В Псху мы выяснили, что, во-первых, с Сухуми установлена регулярная авиалиния, во-вторых, в каждом доме стоит по туристскому отряду, в-третьих, всю еду туристы уже съели и теперь сами сидят голодные, а магазин закрыт — продавец, у которого ключи, три дня не может прилететь из Сухуми, так как перевал закрыт облаками. Мы с Шушей и Борода с Графиной пошли на аэродром узнавать, когда будет самолет. На летном поле паслись козы. Перед деревянной конурой с надписью “Аэропорт Псху” за вбитым в землю столбом сидел флегматичный абхаец в шляпе и старательно укладывал нитку в крючки вязальной машины.

— Когда будет самолет в Сухуми? — спросил Борода, сурово блестя стеклами очков.

Абхазец покосился на нас и вернулся к своему занятию.

— Перевал закрыт, — и он с грохотом передвинул каретку влево. Борода подошел к нему вплотную и отчеканил:

— Нам нужно немедленно попасть в Сухуми.

— Ты русский язык понимаешь? — он с грохотом передвинул каретку вправо. Шуша дернул Бороду за рукав — бесполезный разговор.

— Если в течение часа мы не улетим отсюда, — негромко, но свирепо проговорил Борода, наклонившись к абхазцу, — я обещаю вам, что у вас будут крупные неприятности.

Абхазец взвился:

— Ты с кем разговариваешь, молокосос! А ну покинь территорию. Я тебя вообще на самолет не пущу!

— Потрудитесь обращаться ко мне на “вы”! — вдруг тонким голосом закричал Борода. — Вот мои документы, — он сунул ему в нос какую-то бумажку. Это был абонемент в бассейн, но на абхазца он произвел впечатление.

— Сегодня вечером я вылетаю в Нью-Йорк, — продолжал Борода, понизив голос, но тем же свирепым тоном. — Если я не попадаю на этот рейс, вы будете отвечать за срыв дипломатических переговоров.

Абхазец растерянно переводил глаза с одного на другого. Борода в шортах, кедах, итальянских очках, весь с ног до головы перепачканный козьим навозом, был действительно страшен. Абхазец пошел в свою будку и стал куда-то звонить. Через полчаса из-за туч, закрывающих перевал, послышалось та-

рахтение, и вскоре показалась маленькая стрекоза — биплан. Он покружил, выбирая место среди коз, и сел. Из него вышли двое пожилых оборванных горцев, летчик в шлеме и ярко раскрашенная русская тетка.

— Давай магазин открывай! — закричал ей наш абхазец. — Есть нечего.

По улице по направлению к магазину уже неслась толпа с сумками.

— Можно лететь, — со злобной почтительностью сказал абхазец.

— Подождите нас здесь, — сказал Борода летчику, — никуда не уходите.

Тот кивнул.

Мы искали Зайца с Бардом, наверное, час — они, видите ли, пошли погулять, — но когда мы подошли к самолету, летчик все еще послушно стоял на том же самом месте.

СЕМЬЯ

Через месяц в Москве состоялась наша свадьба. Свидетелем со стороны жениха был Борода, со стороны невесты — Графиня. Ш очень изменился за последний месяц. Со мной он был нежен и даже почтителен. Заботлив днем и старателен ночью, но при этом как будто исполнял какую-то роль. Я гораздо меньше любила его теперь.

Наши отношения с Бородой и Графиней переросли во что-то вроде дружбы. Ш стал рассуждать об иерархии социальной структуры, о дифференциации распределения (это значило, что у Бороды на

работе продают черную икру по ценам сталинской эпохи), о том, что Дантес, выдающийся политический деятель, рисковал на дуэли гораздо больше Пушкина, попадавшего из пистолета в муху. Он уже сделал мне замечание, что мой самодельный абажур из бумажных стаканчиков “эффектен”, но недостаточно “респектабелен”, — короче, демонстрировал весь набор идей, усвоенный от Бороды. Все это меня забавляло, пока я случайно не подслушала один разговор.

— Помнишь наших балерин из Сухуми? — спросил Борода.

— Еще бы, — отозвался Ш.

— Я сегодня встретил ту беленькую, спрашиваю, что ж вы тогда убежали от нас; а она говорит: ваши жены носились за вами по пятам, очень нам нужны скандалы! Я взял у нее телефон. В Москве не убегут.

— Никуда не денутся, — неуверенно проговорил Ш.

Этот заговор, конечно, был смехотворным, но я решила принять меры заблаговременно. Я стала осторожно выдавать ему его собственные высказывания из предыдущей эпохи о ценности гуманитарного знания, об опасности технократии, и через несколько месяцев с Бородой и Графиней произошел полный разрыв. Как просто управлять умными мужчинами!

Мы теперь жили с его родителями и младшей сестрой. Все вроде бы прекрасно, семья и дом, но я не чувствовала себя “как дома”. Я не все понимала в их застольных разговорах, а когда понимала и пыталась вставить реплику, все замолкали и удивленно смотрели на меня. Что бы я ни говорила, все было

невпопад. Ш, надо отдать ему должное, в таких случаях спешил на помощь и говорил что-нибудь вроде “да-да, ты абсолютно права, я тоже это заметил”.

Джей была милая и добрая девочка, но именно она сделала мою жизнь в этой квартире невыносимой. У них с Ш была внутренняя связь, какая бывает у близнецов, хотя между ними было восемь лет. Они обменивались короткими репликами, понятными только им. И не потому, что они хотели что-то скрыть, а просто им было лень договаривать — они-то понимали друг друга с полуслова. Иногда и полуслова не требовалось, хватало взглядов.

С Зайцем и Бардом (я решила, что в качестве друзей они безопаснее) мы стали видеться почти каждый день, иногда у них, иногда у нас. Бард и Ш обменивались гитарными аккордами, что-то пытались петь на два голоса.

Наверное, это и было семейным счастьем. Другого ведь не бывает? Но даже и оно продолжалось недолго.

I DON'T WANT TO KNOW

Не успеваю опомниться, уже Москва.

— Куда везти-то, в Сокольники?

— А знаешь что, — внезапно осеняет меня, — вези обратно!

— Куда обратно? — пугается он.

— На Хорошевку. Где я села.

Он облегченно кивает головой.

На Садовом мы попадаем в зеленую волну, и он опять жмет на газ. На спидометре сто тридцать. Если

он будет так гнать, мы очень скоро окажемся вот за этими воротами:

Мотор колеса крутит,
Вразлёт летит Москва,
Маруся в институте
Сикли-и-фасо-оф-скава.

Вот уже пошли Хорошевские теремки.

— У светофора направо, — говорю я.

— Я помню.

— Стоп! Приехали.

На счетчике один рубль и тридцать семь копеек — он его выключил у Аэровокзала. Я лезу в карман за кошельком.

— Не надо, — трясет головой он.

— Перестань!

— Я не возьму.

— Как хочешь. Спасибо тебе за приятно проведенный вечер. Как тебя зовут-то?

— Николай.

— Всего хорошего, Коля.

— А вас как?

— Это как раз неважно.

— Ну, где вас найти-то можно?

— Я тебя сама найду, если понадобится.

— Я все понял. Я вас на Петровке разыщу. Вы по каким делам специализируетесь?

— Да я, Коля, все больше по убийствам.

— Вы уж меня извините...

— Ладно, всё в порядке.

Я выскакиваю и вхожу в подъезд. Лифт уже выключили. Поднимаюсь пешком на седьмой этаж.

Музыка, несмотря на поздний час, по-прежнему гремит на весь подъезд. Подхожу к двери, она не заперта, осторожно вхожу. Шуба Графини на месте. Пальто Зайца тоже. Похоже, что все здесь. Осторожно заглядываю в кухню. Там на белой кухонной табуретке сидит Физик и что-то вежливо излагает Дине: учитесь, мол, властвовать собою.

Осторожно захожу в маленькую комнату и застываю на пороге. За занавеской, освещенные луной, сидят двое и шевелят губами. Их тени отчетливо видны, но голосов не слышно, их заглушает Сингер. У него творческий подъем, он играет и поет еще громче, чем раньше.

Ай уонна но-о-оу, май лорд.

У Сингера короткая пауза, и я успеваю различить голос Ш. С кем он разговаривает, легко понять по силуэту. Вот они, эти двое, которые разрушили мою жизнь и отняли у меня все. Не раздеваясь, сажусь на сундук. У меня в руках по-прежнему этот идиотский бисерный ридикюль.

Не знаю, сколько проходит времени. Я встаю, иду в коридор, кладу ридикюль на то же место на полу, рядом с шубой Графини, выхожу на лестницу и осторожно закрываю дверь. Могла бы и хлопнуть — пение Сингера способно заглушить залп Авроры.

ГЛАВА ПЯТАЯ

СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА

MEMORIA DE MIS PUTAS TRISTES*

Рикки, теперь миссис Диксон, уехала в Гану. Там, читая Библию по-английски, она сделала сенсационное открытие: бессмысленное выражение матери “Чи́за Крайс!”, которое Рикки повторяла с детства, значило *Jesus Christ*. Открытие так на нее подействовало, что она тут же вступила в секту *Jews for Jesus*. Выбор секты был неожиданным — евреев среди ее предков не наблюдалось. Теперь она решила пробудить к духовной жизни и Шушу и начала бомбардировать его письмами, где после слов “дорогой Шуша” шли пять страниц, переписанных по-английски из Ветхого Завета, а следующие пять из Нового.

А у Шуши началось помешательство на сексуальной почве. Прочитав воспоминания Казановы о поездке в Россию и роман художника Купермана *Holy Fools in Moscow***, он впервые в жизни почувствовал

* “Вспоминая моих грустных шлюх”, повесть Габриэля Гарсиа Маркеса.

** “Юродивые в Москве”. *Kuper Yuri. Holy Fools in Moscow. New York Times Book Co., 1974.*

себя совершенно свободным. Ему не только не надо вступать в секту, решил он, а, наоборот, нужно срочно наверстывать упущенные *carнал pleasures**. Главное — избежать отношений, нужна легкая, почти анонимная связь без обязательств.

Однажды в переполненном автобусе его прижало к стоящей впереди девушке. Через какое-то время он почувствовал еле ощутимые движения ее тела, которые постепенно становились все более определенными. Он осторожно стал отвечать. Через две остановки автобус опустел, но она не двигалась с места.

“Отношения?!” — пронеслось в голове у Казановы, и он в ужасе выскочил из автобуса.

Или едет в электричке из Баковки. Сидит на краю скамейки у прохода. На коленях кожаный кофр с фотоаппаратом, он удерживает его двумя руками. После “Трехгорки” в вагон вваливается огромная толпа. Прямо перед его кофром стоит женщина. Темно-синее пальто, лица он не видит. Толпа давит на нее, нижняя часть ее живота оказывается прижатой к его руке, держащей кофр. Шуша начинает осторожно шевелить тыльной стороной ладони. Женщина на мгновение замирает, потом он слышит ее участившееся дыхание. Толпа напирает, женщину прижимает к его руке все крепче. Так проходит минут семь. Внезапно женщина издает громкий стон и, наступая на ноги сидящих и задевая их головы тяжелой сумкой, бросается к закрытому окну. Могучим рывком женщина открывает заржавевшее окно, и в вагон врывается холодный мартовский ветер.

* Плотские удовольствия (англ.).

Следующим этапом его сексуальной революции стали уличные знакомства. Первый раз обратиться к незнакомке было страшно. Он забормотал что-то бессвязное, а девушка одарила его таким высокомерным взглядом, что повторить попытку он не решился долго. Постепенно понял: надо просто говорить все что угодно — но с абсолютно незаинтересованным видом. Как будто тебе пришла в голову яркая мысль, и ты решил поделиться ею с первым попавшимся симпатичным незнакомцем, случайно оказавшимся привлекательным лицом женского пола. Успех был феноменальный. В его маленькой комнатке на Русаковской побывали и даже оставили забытые предметы одежды: дрессировщица уссурийских тигров, студентка МАРХИ, аспирантка психфака МГУ, лаборантка из змеепитомника, джазовая певица из ресторана “Пекин”, две телефонистки, художница по тканям, танцовщица из молдавского ансамбля “Жок”, начинающая актриса, скрипачка из Гнесинского, журналистка из “Пионерской правды”, девушка из торговой сети, девушка без определенных занятий, литовская поэтесса и грузинская княжна.

Grande Finale его эмансипации стал их с Джей совместный день рождения в доме у Вдовы. Социолог был в командировке, их свадьба с Джей уже была назначена, примерно через месяц. Джей так и не могла решить, нужен ли ей этот брак. На день рождения она пригласила всех подруг-лингвисток по университету, а Шуша — своих друзей. Было человек пятьдесят. Когда Миша Липеровский увидел стайку юных девиц, он радостно закричал: “Да это же настоящий цветник!” Не очень понятно, чему он так

обрадовался. Друзья и так постоянно знакомили его с веселыми и доступными девушками, чтобы они наконец лишили его невинности, но он, как гоголевский Подколесин, всегда в последний момент убегал.

Что-то было разлито в воздухе в этот день, потому что, как выяснилось на следующее утро, все переспали со всеми. Даже Джей сумела затащить в постель чопорного Физика “в поисках прививки от неизбежного брака”, как сформулировал потом Шуша. Ему самому вполне хватало собственных приключений, поэтому он спокойно сидел в углу с бокалом “Гурджаани” и с интересом наблюдал за перемещением тел в пространстве. В какой-то момент на авансцене показался Липеровский, который куда-то тащил одну из лингвисток, а та, хохоча, отбивалась.

— Подари ты мне девицу, Шамаханскую царицу! — воскликнул Шуша.

— Не подарю! — воинственно ответил Липеровский, продолжая тянуть ее куда-то.

Считая все это веселой шуткой, Шуша вскочил и стал тащить хохочущую лингвистку в другую сторону. Возня продолжалась несколько минут, пока уставший Липеровский не ослабил хватку. Тогда Шуша подхватил девушку, быстро рванул в свою каморку и, прежде чем Липеровский их настиг, успел бросить свою добычу на кровать и запереться изнутри. Липеровский стал громко барабанить в дверь.

— Но все же есть граница, — кричал ему Шуша через дверь, — и зачем тебе девица?

Липеровский продолжал барабанить, но поскольку ему больше не отвечали, постепенно стих.

Шуша и лингвистка сидели на кровати в полумраке. Оба молчали, пытаясь осмыслить мизансцену, в которую оба попали.

— Я, наверное, пойду, — робко сказала лингвистка. — Не буду вам мешать спать.

— Что ты! Оставайся. Кровать узкая, но мы поместимся. Я тебе советую снять платье, чтоб не мять.

Она стянула через голову платье, цвет которого разобрать в полумраке было трудно, аккуратно сложила его на крохотный столик, приделанный к подоконнику, скинула босоножки и быстро залезла под одеяло. Шуша разделся и залез к ней. Обоим было ясно, что вариантов дальнейшего развития сюжета не так уж много. Чтобы пропустить фазу переговоров, сразу начал ее целовать. Она не особенно сопротивлялась, но что-то ее сдерживало.

— Вы правда думаете, что я могу остаться?

Он понял. Ей хотелось услышать от него какие-то слова, которые оправдали бы ее безнравственное поведение.

— Ну что ты, — зашептал он ей в ухо, — как я могу тебя отпустить! У тебя такая нежная кожа, такие сладкие губы...

Этого оказалось достаточно.

Проснулся он поздно. Ее рядом не было. Он что-то натянул на себя и выполз в большую комнату. Половина гостей уже уехала, оставшиеся завтракали. Только тут до него дошло, что он не в состоянии узнать ее в одетом виде. На ощупь и по запаху, конечно, бы узнал.

**СТИХИ, СОЧИНЕННЫЕ ШУШЕЙ В ЕГО КОМНАТЕ
НА РУСАКОВСКОЙ НОЧЬЮ 12 МАЯ 1972 ГОДА
ПОСЛЕ ТОГО, КАК ОН ПОСАДИЛ В ТАКСИ
ХУДОЖНИЦУ ПО ТКАНЯМ**

Я — безработный игрок.

Я играю с остатками чая в стакане из-под токая.

Нищий бездельник, хожу, натываясь на стулья,
вздыхая и спотыкаясь.

Трусоватый бретёр. Подловатый жуир. Донжуан,
буржуа, ах, с руками плебея.

Шлюховатых зрачков заглянув в глубину,
приближаясь ко дну, я внезапно слабею.

О, доверчивый хищник. О, сладкий зверек.

О, зрачков, о, шершавых сосков равнодушная
нежность.

Поперек моих рук, моих ног поперек,
как французских духов пузырек,

о, манящей твоей пустоты бесконечность.

Горьковатой слезой, ядовитой слюной, белой
каплей в горячих губах утопаю.

Как остатки токая, тебе я себя уступаю. Ты сладко
урчишь, засыпая.

Внизу приписано рукой Даниила: “Можно заметить, что главный мотив этого поэта — слабость («я внезапно слабею»). Странно, что молодой человек пишет такие вещи”.

АЛЛА: ДЕТИ

Шушу я видела теперь редко. Похоже, архитектура занимала его полностью. Не считая, разумеется, донжуанских дел. Я продолжала ездить к Сеньору. И однажды произошло неожиданное. Он в меня влюбился — через десять лет после знакомства! Как-то позвонил из автомата — хотел вытащить к нашим общим друзьям слушать мюзикл “Оливер!”. К роману Диккенса у него было очень личное отношение — возможно, судьба мальчика-сироты напоминала собственное детство. К этому времени моя подростковая влюбленность в него давно прошла, и мне не хотелось никуда идти. Он не уступал.

— Я только что уронил монету в телефонной будке, чтобы позвонить тебе, — говорил он. — Долго шарил рукой по грязному заплыванному полу и молился, чтобы монета нашлась. Я был готов отдать за эту монету полжизни. Она нашлась, и вот звоню.

Все это было так непохоже на Сеньора, что я поехала. Потом осталась у него ночевать, и в конце концов у нас начались взрослые отношения. Через несколько месяцев я забеременела. Когда он узнал, что будет ребенок, просто сошел с ума.

— Я напишу твоей маме письмо, что прошу твоей руки. Я могу зарабатывать очень много денег, просто раньше у меня не было стимула. Час проведу за машинкой, и этих денег хватит на неделю.

Была свадьба. Куда делись его ирония и цинизм! Друзья собрали приличную одежду — брюки, красивый свитер, новые ботинки. Но когда родилась Ника, началась совсем другая история. Семейная жизнь с Сеньором не могла получиться — он мастерски за-

манивал и привлекал к себе людей, а потом их бросал. Теперь он все чаще уходил ночевать в свою конуру.

И тут началась массовая эмиграция. Знакомые понемногу исчезали. И друзья стали приставать к Сеньору:

— Ты всю жизнь повторял стихи своего сокамерника: “А когда пойдут свободно поезда, я уеду из России навсегда”. Поезда пошли. Твой сокамерник уехал. А ты чего сидишь?

На что он отвечал:

— Я вот уже три года всех спрашиваю, где Калининское отделение милиции, и ни одна собака мне не говорит. Как я могу взять оттуда справку, если никто не хочет мне сказать, где оно находится? Но даже если представить себе, что я каким-то чудом собрал все справки и сделал ремонт в квартире, дальше начинается самое трудное: надо платить за визу сорок рублей. А где их взять?

Друзья были уверены, что стоит только нашему Сеньору пересечь границу, как мировая прогрессивная общественность тут же поднимет его на пьедестал.

Он будет сидеть где-нибудь в кафе “Флориан” на piazzа Сан-Марко в Венеции и произносить монологи, а толпы учеников и поклонников будут их записывать и тут же публиковать. Поэтому друзья сами нашли Калининское отделение милиции, сами собрали все справки, сами сделали ремонт в его комнате и сами внесли сорок рублей. После чего Сеньору ничего не оставалось, кроме как взять в одну руку пластиковый пакет с блоком сигарет “Шипка” и последним номером газеты *Paese Sera*, а в другую —

машинку “Рейнметалл”, сесть в самолет и улететь. Правда, в Шереметьево в самый последний момент он сунул машинку Шуше: мне не понадобится.

Ночь перед отлетом он провел у меня на десятом этаже. Через три недели я узнала, что снова беременна.

АМЕРИКАНСКИЕ ШПИОНЫ

19 июня 1953 года Этель и Юлиус Розенберги были казнены на электрическом стуле в тюрьме Синг-Синг в деревне Оссининг, штат Нью-Йорк. Розенберги были в прямом смысле слова американскими шпионами, но не теми, что обычно изображала советская пропаганда: они были шпионами, работающими на СССР. Нашему герою было девять лет. Если что-то и говорилось по радио про казнь “честных американцев”, он это пропустил мимо ушей. И уж совсем не мог предполагать, что последствия этой истории могут иметь к нему какое бы то ни было отношение.

После окончания МАРХИ встал вопрос о работе. Шуша мечтал попасть в мастерскую Покровского*, который уже прославился модернистским зданием Дворца пионеров в Москве. Оказалось, отец был хорошо знаком с Покровским, даже писал какие-то сатирические стишки для “Кохинора и Рейсшинки” — “единственного ансамбля, созданного в советской

* Покровский Игорь Александрович (1926–2002) — советский и российский архитектор. Главный архитектор Зеленограда (1964–2002).

архитектуре”, как его назвал великий Буров*. Отец позвонил, Покровский весело сказал: “говно вопрос”, и Шуша стал младшим архитектором Мастерской № 3 Моспроекта-2.

Первым проектом, в котором ему пришлось участвовать, был знаменитый дом “Флейта” в Зеленограде — единственный жилой дом в городе, построенный по индивидуальному проекту. Это было сооружение длиной в полкилометра с галерейной планировкой, где все жилые помещения выходили на юг, а все кухни на север, и предназначалось оно для молодых семей, таких, как он и Заринэ.

Шуша, конечно, был мелкой сошкой в команде, в проектных документах и чертежах его фамилия не числилась, но сам факт, что он участвовал в проекте, напоминающем его любимого Леонидова, был неслыханной удачей. Хотя сталинский стиль сдавал позиции, происходило это медленно. В газетах иногда появлялись фотографии строящихся обкомов. В Волгограде, Житомире, Тюмени, Улан-Удэ, Харькове и других областных центрах все еще колосились коринфские капители. Ужаснее всего были, конечно, московские высотки, они вызывали у Шуши примерно такую же тошноту, как торт с шоколадной бутылкой из Гастронома № 24. В этой атмосфере дом “Флейта” казался возвращением в нормальность.

Потом началась работа над сверхсекретным Научным центром микроэлектроники. Шуше было сказано, что он должен получить “третью форму”. Это как-то перекликалось с “третьим разрядом сле-

* Буров Андрей Константинович (1900–1957) — советский архитектор, изобретатель, сценограф, дизайнер.

саря механосборочных работ”, которым его наградили во время школьной практики на заводе “Метро-строя”, но общего оказалось мало. Третью форму, как ему объяснила Анна Семеновна из отдела кадров, выдавал Комитет государственной безопасности после тщательной проверки самого гражданина, всех его родственников и предков. Тут могла возникнуть проблема: дядя Лева был расстрелян как враг народа в 1938 году в Киеве. Шуша, в сущности, был ЧСВР — членом семьи врага народа.

То ли между украинским и российским отделениями госбезопасности не было координации (что объясняло, почему московская часть семьи не пострадала после гибели Левика), то ли события тридцатилетней давности уже никого не волновали, но “третья форма” была ему выдана, и член семьи врага народа был допущен к секретному объекту. На обсуждение первого, “башенного” варианта из Ленинградского КБ приехали, как ему сказали, “очень важные специалисты” Филипп Старос и Иосиф Берг. Они сразу отвергли высотное решение, объяснив, что в секретных технологических процессах, которые тут будут происходить, малейшие колебания здания недопустимы. Чем-то эти два типа отличались от всех инженеров, с которыми Шуша сталкивался до сих пор. Они были одеты с несвойственной технарям элегантностью, говорили коротко, внятно, вежливо и почему-то с легким акцентом.

Мастерская стала срочно делать второй вариант. Он состоял из двух лабораторных корпусов, как бы сломанных в середине под тупым углом, — эта композиция вошла в моду после того, как зять Хрущева Алексей Аджубей съездил на Кубу. Его так поразило

здание Мартина Эстебана, что он посоветовал тестю послать туда Михаила Посохина — поучиться у кубинского мастера. Покровский, Шушин начальник, работал с Посохиным над Новым Арбатом — так эти формы перекочевали в Научный центр микроэлектроники в Зеленограде.

...Прошло десять лет. Шуша успел развестись с Заринэ, снова сойтись с Рикки и снова с ней расстаться. Теперь он был уже не младшим, а ведущим архитектором. Зарплата выросла больше чем вдвое, некоторые проекты он вел сам, его приняли в Союз архитекторов. Это был успех, но радости он не принес. Что-то было не так. Он уже прочел книгу Джэнкса “Язык постмодернистской архитектуры”, которая ему скорее не понравилась, он все-таки был модернистом. Но тот модернизм, который в индустриальных количествах производила его мастерская, нравился еще меньше. В 1955-м, в разгар “борьбы с излишествами”, Академию архитектуры переименовали в Академию строительства и архитектуры. Архитектуры там по существу не осталось, осталось только дешевое строительство, которое не нравилось никому: жильцам пятиэтажек — чудовищным качеством, архитекторам — отсутствием архитектуры, начальству — недостатком монументальности.

Союз архитекторов время от времени давал ему “общественные поручения” — водить по Москве иностранных гостей. Он довольно прилично знал английский язык, давали себя знать уроки Милочки, разговоры с Риккиной матерью Алисой, а главное — регулярное слушание “Би-би-си”. Русскоязычные передачи “вражеского радио” подвергались глушению,

а англоязычные — нет, то ли денег не хватало, то ли в идеологическом отделе ЦК не могли поверить, что этот тарабарский язык кто-нибудь в состоянии понимать.

Одного из иностранных гостей звали Лукас, он был студентом лондонской школы АА.

— Что это за школа? — заинтересовался Ш.

— Сумасшедший дом, — ответил длинноволосый Лукас. — Секс, наркотики и рок-н-ролл. В баре постоянно торчит Дэвид Боуи, все помешаны на группе “Аркигрэм”^{*}, Вудстокском фестивале и парижских демонстрациях 1968-го.

С Лукасом возникла дружба, оба оказались поклонниками Леонидова. Лукас о нем практически ничего не знал, даже того, что тот уже умер, но он видел несколько проектов в журналах. Они произвели на него такое впечатление, что он специально съездил несколько раз в СССР, надеясь познакомиться с архитектором. Шуша, который знал о Леонидове чуть больше, начал спрашивать коллег. Оказывается, вдова Леонидова, Нина Андреевна Коняева, была жива.

...Им открыла немолодая женщина, одетая с неожиданной для московской окраины элегантностью, хотя скорее 1950-х, чем 1970-х годов. На ней была белая блузка с большим отложным воротником, длинная черная юбка и черные туфли на высоких каблуках. Прямые волосы гладко зачесаны назад. Двигалась она с неторопливой плавностью. Лукас заговорил с ней

* *Archigram* — английская архитектурная группа, оказавшая большое влияние на развитие постмодернистской архитектуры.

по-английски, Шуша принялся переводить, но она махнула рукой:

— Я все понимаю, — сказала она, — мне только говорить по-английски трудно. — *Parlez-vous français?* — обратилась она к Лукасу.

— *Bien sûr*, — радостно отозвался лохматый.

После чего оба очень быстро заговорили по-французски, и Шуша оказался не у дел. Он стал бродить по комнате. Модернистские стеллажи находились в резком контрасте с тем, что на них стояло — разрозненные предметы антикварной посуды и старые книги, включая восемь томов "*Oeuvres complètes*"** Флобера.

Потом они пили чай на кухне, сидя на деревянных табуретках вокруг самодельного стола. В столешнице было что-то странное. Бесцеремонный Лукас тут же залез под стол и стал изучать столешницу снизу. Нина Андреевна невозмутимо продолжала пить свой чай, как будто иностранец, залезающий под стол, был для нее самым привычным зрелищем.

— *Come here, quickly!*** — скомандовал Лукас.

Шуша послушно залез под стол и тоже стал рассматривать столешницу.

— Очень похоже на Леонидова! — закричал он из-под стола. — Я не знал, что он еще и живописец.

— Еще бы, — ответила Нина Андреевна, — учился у иконописца. Это поселок Ключики под Нижним Тагилом.

— А еще что-нибудь похожее есть? — высунув голову из-под стола, спросил Шуша.

* Полное собрание сочинений (фр.).

** Иди сюда, быстро! (англ.)

— Да всё тут, у меня в шкафу. И Ключики, и Южный берег Крыма, и Город Солнца.

— А посмотреть можно?

— Да пожалуйста, только из-под стола вылезти придется.

Доски были вытащены из шкафа, разрешение фотографировать получено, и Лукас отщелкал три пленки.

Через неделю он принес Шуше свою статью о Леонидове. Она начиналась так: *Ivan Leonidov was born in Tversk...** Дальше шло много открытий в том же духе.

Шуша вежливо объяснил восторженному студенту, что такого города нет, а Леонидов родился на хуторе Власиха Старицкого уезда Тверской губернии, и посоветовал больше никому статью не показывать.

Шушу теперь часто приглашали в МАРХИ читать лекции об “архитектуре за рубежом”. Студенческие проекты, которые он там видел, часто были попытками имитировать западный постмодернизм и производили жалкое впечатление.

Почему это так плохо, думал он. Он не любил постмодернизм, но ему было ясно, что в нем тоже есть градации профессионализма. Студенческие проекты выглядели безграмотно. В грамотный постмодернизм, думал он, можно войти только из модернизма, а модернизму в СССР не учили с середины 1930-х. Это как пытаться создать геометрию Лобачевского, не зная геометрии Эвклида.

Еще более депрессивное впечатление производила архитектура новых обкомов, с которыми он

* Иван Леонидов родился в Тверске... (англ.)

сталкивался в командировках. Капителей больше не было, но пропорции, тяжеловесность, подавляющий масштаб — все это посылало сигналы о возвращении сталинской роскоши, с которой, как казалось еще недавно, было покончено навсегда.

Он все чаще вспоминал слова египетского жреца из платоновского Тимея: “Вы, эллины, вечно остаетесь детьми, и нет среди вас старца! Вы начинаете всё сначала, словно только что родились, ничего не зная о том, что совершалось раньше”.

Куда бежать от этой карусели циклического времени?

Атмосфера в мастерской тоже менялась. Как-то раз его вызвала к себе Анна Семеновна из отдела кадров и произнесла официально-доброжелательным тоном:

— Хочу тебя предупредить. Чисто по-дружески. Кое-кому не нравится, что тебе постоянно шлют письма и книги из Америки. Не порть себе жизнь. У нас в библиотеке полно книг.

Оттепель закончилась. В газетных статьях стали появляться формулировки, напоминающие конец 1930-х. Начались процессы над диссидентами. Ни от кого не требовалось демонстрировать страсть, как в 1930-е, при Сталине, надо было лишь спокойно, можно даже с иронической улыбкой, произнести на собрании правильный текст. Ну и конечно, воздерживаться от рискованных анекдотов. Шуша оказался неспособным ни к тому, ни к другому.

На работе начали записывать желающих в туристическую поездку в Грецию. Шуша записался. За неделю до поездки его опять вызвала Анна Семеновна и сказала:

— Я тебя предупреждала. Вот и доигрался. Визу дали всем, кроме тебя.

Это было последней каплей. Массовая еврейская эмиграция уже шла полным ходом. Он вспомнил про двоюродную бабушку Сою в Израиле. Наверное, можно ее разыскать. Но тогда придется ехать в Израиль, куда его совсем не тянет. Правда, есть еврей-активисты. Стоит им шепнуть, и через два месяца тебе придет вызов от фиктивных израильских родственников. В этом случае ехать в Израиль не обязательно.

Через месяц пришел вызов из Израиля, и в тот же день его опять вызвала Анна Семеновна. В кабинете сидел неприметный человек в сером костюме. Он встал и протянул руку, широко улыбаясь.

— Наслышан, наслышан. Меня зовут Сергей Иванович. Вот мое удостоверение.

Он протянул раскрытую красную книжечку, на левой стороне была его фотография рядом с гербом в виде щита, а на правой — несколько строчек, заполненных от руки.

— У вас найдется несколько минут для разговора?

Шуша пожал плечами.

— Ну и прекрасно. Пойдемте в мой закуток. Там нам никто не помешает.

Они подошли к двери, которую Шуша видел много раз, но никогда не обращал на нее внимания.

Сергей Иванович открыл дверь своим ключом, и они оказались в пыльном и душном помещении без окон. Шуше был предложен шаткий стул, а сам Сергей Иванович сел за стол в красное дерматиновое кресло, которое протяжно под ним заскрипело.

— Извините за обстановку, — сказал Сергей Иванович. — Я тут редко бываю. Все нет времени привести мой закуток в порядок.

Он замолчал, внимательно рассматривая Шушу.

— Чем больше я о вас узнаю, тем больше восхищаюсь, — начал он. — Сразу видно человека из интеллигентной семьи. Я только одного не могу понять: что вас так тянет в эту Америку? Что хорошего вас там ждет?

— Почему вы думаете, что меня туда тянет?

— Тянет, тянет. Знаем. “А-ме-ри-ка — волшебное слово. Я хочу в Америку, как хотят домой”. Где-то январь семьдесят третьего, правильно?

Шуша раскрыл рот от изумления.

— Это мой дневник... Вы что, делали у меня обыск?

— Зачем обыск? Есть много способов узнать, что думает и пишет умный и интеллигентный человек.

— Но как...

В этот момент у Шуши в голове всплыл странный эпизод. Он решил сделать микрофильм книги Авторханова “Технология власти”. Книга была издана по-русски мюнхенским “Посевом”, частью эмигрантского Народно-трудового союза, считавшегося самым страшным врагом СССР. Отцу ее дал его друг Олег из ЦК с условием никому не показывать и через неделю вернуть. Рассеянный отец держал книгу на столе в своем кабинете, где Шуша прочел ее от корки до корки.

Зачем ему понадобился микрофильм? Непонятно. Никаких планов распространения “вражеской пропаганды” у него не было. Может быть, за-

хотелось поиграть в советского шпиона вроде Кадочникова в фильме “Подвиг разведчика”? Или Штирлица?

У знакомого фотографа он выменял тридцать метров сверхконтрастной черно-белой пленки на пластинку Рэя Чарльза *The Genius Sings the Blues*. Вспомнил, чему его учили в фотокружке Центрального дома детей железнодорожников, и устроил в большой комнате фотостудию. Книга лежала на полу, прижатая стеклом, вынутым из отцовского стеллажа. Фотоаппарат *Nikon F3* — сфарцованный у Лукаса в обмен на номер журнала “СА”^{*} с леонидовским проектом Института Ленина — был установлен на штативе объективом вниз, а две настольные лампы расставлены, как полагалось, под углом 45 градусов. Работа заняла два дня. Их новая домработница, Любовь Семеновна, сменившая вышедшую замуж алкоголичку Катю, время от времени заглядывала и недовольно ворчала — съемки полностью парализовали ее хозяйственную деятельность, особенно когда Шуша запирался в ванной, проявляя пленки. Она, конечно, резко отличалась от всех предыдущих домработниц — приходила накрашенная, с завитыми локонами, в туфлях на высоких каблуках, потом, правда, надевала какие-то восточного вида тапочки. Чем-то напоминала актрису Целиковскую.

Через несколько дней раздался звонок в дверь. Шуша открыл. Перед ним стоял молодой человек в джинсах, кедах, брезентовой куртке и вязаной льжной шапке с красно-бело-синим петухом. Чело-

* “Современная архитектура”.

век заговорил по-немецки. Из его монолога Шуша понял только пять слов: *Ist Herr Schulz zu Hause?*^{*}

— Подождите, — сказал он по-русски и побежал за отцом.

Отец вышел. Разговор по-немецки, в котором Шуша не понял ни слова, продолжался несколько минут, после чего молодой человек кивнул, повернулся и ушел.

— Чего он хотел? — спросил Шуша.

— Очень странно, — сказал растерянный отец, — сказал, что он из издательства “Посев”, спрашивал, нет ли у меня случайно текста “Технологии власти”. Ничего не понимаю, они сами ее издали. Я, конечно, сказал, что ничего такого у меня нет.

Шуша был в панике. Он чуть не подставил наивного отца, который не понял, с кем беседовал по-немецки, и не подозревал о Шушиной шпионской фотолаборатории. Неужели Любовь Семеновна к ним приставлена? В это трудно было поверить. Тут он вспомнил интеллигентного электрика Эдуарда Юрьевича. Так вот зачем он их всех выпер из дома...

— Но как?..

— Не ломайте голову, — сказал Сергей Иванович. — Я просто хочу рассказать вам кое-что об Америке. Чтобы не было потом разочарований. Я, в отличие от вас, кое-что про нее знаю. Много раз бывал и даже жил подолгу. У вас и ваших друзей есть наивная идея: раз советская пропаганда пишет, что в Америке всё плохо, значит там всё хорошо. Как вы думаете, откуда советская пропаганда берет всю не-

* Господин Шульц дома? (нем.)

готивную информацию об Америке? Не знаете? Я вам скажу: из американской прессы, главным образом левой. Эти ребята трезво видят реальную ситуацию. Только тупые автосборщики из Детройта и тexasские нефтяные магнаты верят, что Америка — это рай на земле и весь мир только и мечтает стать как Америка. Капитализм хорош для капиталистов, а их в Америке становится все меньше и меньше. При этом им принадлежит все бóльшая и бóльшая часть всего — денег, земли, полезных ископаемых, произведений искусства, возможности учиться в лучших университетах, красивых женщин, наконец. Вот вы хотите бежать в Америку, прямо как гимназист Чечевицын из вашего любимого Чехова, а вы знаете, что честным американцам приходилось бежать из Америки? Вы когда-нибудь слышали про супругов Розенберг?

— Которых казнили? Вроде бы ни за что, они ничего важного не передали.

— Это версия американских левых, которую мы поддерживаем. На самом деле и они, и мы прекрасно знаем, что было за что. Юлиус создал настоящую подпольную организацию. Привлек талантливых еврейских инженеров. Один из них, правда, был не еврей, а грек. Все они верили в коммунизм и хотели помогать Советскому Союзу, из которого вы собираетесь бежать. Создали секретную фотолабораторию у одного из них дома, выносили с работы чертежи и делали микрофильмы.

Последнее слово он произнес с нажимом, внимательно глядя на Шушу.

— Все радары, которыми мы сегодня пользуемся, — продолжал он после паузы, — сделаны по их

чертежам. И еще много чего, *proximity fuse*^{*}, например; это то, чем мы сбили шпионский самолет Пауэрса в 1960-м. Так вот, двоим из группы Розенберга удалось бежать, хотя за ними было наблюдение. Мы их сумели переправить в Чехословакию, дать другие имена и биографии, потом перевезти к нам. Здесь они добились гораздо большего, чем у себя в Америке, они создали советскую микроэлектронику, они получили...

Микроэлектроника? Шуша вспомнил Зеленоград и странный акцент инженеров Староса и Берга.

— Пойдите, — перебил Шуша, — уж не...

— Чрезмерная догадливость, Александр Данилович, может привести к серьезным последствиям. Так что три раза подумайте, прежде чем произносить что бы то ни было вслух. Вы это правило столько раз нарушали, что уже перевыполнили план на всю жизнь.

— Зачем же вы мне доверяете государственные тайны?

— А чтобы посмотреть, способны ли вы их хранить. Если не способны, катитесь в свою Америку, становитесь там в очередь за бесплатным сыром или, если повезет, работайте младшим чертежником где-нибудь в штате Вайоминг. Вы нас больше не интересуете. А если можете, мы поговорим с вами о серьезных делах. Вы не нужны нам в качестве стукача за тридцать сребренников в месяц. Вы человек другого масштаба. Вы ведь знакомы с Юрием Свешниковым из "Комсомольской правды"?

— Не очень, видел несколько раз.

* Неконтактный взрыватель (англ.).

— Знаю, что не очень, но вы были у него дома, когда он поил вас “Клюковкой” и рассказывал о разведчиках. Помните, что он сказал о нашем отделении внешней разведки? Что там работают люди “совсем другого интеллектуального уровня”. Это люди вашего уровня, Александр Даниилович, — в отличие от американских евреев, которые будут с гордостью показывать вам “настоящий американский супермаркет”. Всё, можете идти. Я вас больше не задерживаю. Захотите со мной связаться, обратитесь к Анне Семеновне, она знает, как меня найти.

Через несколько дней Шуша действительно обратился к Анне Семеновне, но не с тем, чтобы найти Сергея Ивановича. Он положил ей на стол заявление по собственному желанию. А через три дня он уже ехал с друзьями в Торжок. Он давно задумал этот поход по львовским местам, а теперь у него наконец появилось время. Вернувшись, написал подробный отчет живущему в Лондоне другу. Теперь, когда решение эмигрировать было принято, надо было налаживать связи с теми, кто уехал раньше.

ПИСЬМА О ПОЕЗДКЕ В ТОРЖОК

ПЕРВОЕ ПИСЬМО ЛОНДОНСКОМУ ДРУГУ 21 АВГУСТА 1978

Я получил твою бандероль. На ней стояла цифра “4”, из чего я заключил, что бандеролей было по крайней мере четыре, если, конечно, ты не нумеровал их каким-нибудь экстравагантным спосо-

бом, скажем, только четными числами. В этой бандероли были Сол Беллоу и Трумен Капоте, а из художников Пикассо и Миро. Спасибо, если только это слово, после пересечения всех пространственных и временных границ, сохраняет свою силу — если оно является свободно конвертируемой валютой.

Мы, в составе известных тебе Женьки, Ленки, Витьки и меня, только что вернулись из похода. Наш маршрут, если начертить его на карте, представлял собой логарифмическую спираль, центром которой служил город Торжок. Мы-то, правда, хотели, чтобы получился круг или часть круга, точнее окружности, но нас как-то стало разносить и выбрасывать. И скорость росла неудержимо. В первый день мы прошли три километра, во второй день — пять, в третий — я уже даже не помню сколько, а потом неизвестно почему стали ловить попутные машины, хотя вернуться в Торжок можно было из любой точки и спешить нам было некуда, но, так или иначе, мы ловили машины и мчались всё дальше и дальше от Торжка, пока наконец нас не забросило в Старицу, откуда можно было поездом доехать до Торжка, а оттуда в Москву. Поезд был ленинградский, и мы огромным усилием воли заставили себя все-таки выйти в Торжке, а не ехать до Ленинграда, хотя нас уже тянуло туда.

Идея была Витькина, он хотел в пушкинские места — Берново, Малинники, Грузины. Я поехал, потому что мне хотелось посмотреть постройки Николая Александровича Львова, гения конца XVIII века, архитектора, поэта, музыканта, драматурга, собирателя народных песен, предпринимателя, друга Державина, Бакунина, Оленина, Левицкого и Боровиковского. Женька хотел развеяться и подышать све-

жим воздухом после сорокашестичасового сидения за компьютером IBM 510, купленном за огромные деньги во время командировки в Америку. Ленка поехала, потому что думала, что будет весело, и почти не ошиблась.

В среду стали созваниваться — кто что купил и чего не хватает. Я успел с утра сходить на работу и убедить своего начальника, что меня надо послать в Торжок за деньги института — в командировку для сбора материала по истории архитектуры. Таким образом, мы имели разный статус: я был солидным человеком с командировочным удостоверением, с письмами в исполком и горком партии, а остальные — бесправными бродягами.

С самого начала возникла проблема, ехать ли прямым поездом, который выходит из Москвы в 20:00 и приходит в Торжок в 00:26, как предлагал я, или же ехать днем на электричке в Калинин, а оттуда на другой электричке в Торжок — как предлагал Женька, считая, что приезжать в чужой город в полночь рискованно в том смысле, что мы не попадем в гостиницу.

— Да зачем нам гостиница, — не мог понять я, — если мы везем с собой палатки?

— А затем, — вмешалась Ленка, — что в полночь в Торжке от палаток мало толку. Ты что, на городской клумбе их будешь ставить?

Неожиданный совет поступил от Социолога.

— Езжайте в Калинин, — сказал он, — там в гостинице всегда есть места. А если их нет, поезжайте в “Березовую рощу”, туда можно доехать на такси, и там места есть точно. Но главное — туда пускают с бабами и не требуют штампа о браке в паспорте.

— Так наша единственная баба как раз состоит в законном браке с Женькой и у них есть штампы в паспортах, — возразил я.

— Неважно, — сказал опытный Социолог. — По дороге подберете.

Вариант с “Березовой рощей” большинству понравился, и мы поехали на электричке в Калинин. Мне этот вариант совсем не понравился, но у меня был расчет, который блистательно оправдался. Когда мы вытащили наши тридцатикилограммовые рюкзаки на перрон в Калинин и поняли, что сейчас их придется надевать и тащиться пешком в гостиницу, я сказал задумчиво:

— А между прочим, с этой самой платформы через сорок минут пойдет поезд до Торжка и можно вещи никуда не тащить, а просто побросать их в поезд и сидеть спокойно еще полтора часа.

Я рассчитывал на действие известного экономического закона: благо в настоящем заведомо ценнее блага в будущем. Возможность не тащить вещи, а ехать в поезде была привлекательнее, чем гостиница в Калинин, к которой надо было переться с рюкзаками. Даже Витька, этот Робеспьер раннего вставания, этот Марат трусцы и Демулен гигиенических омовений, сказал: “А почему бы нам, действительно, не поехать сразу в Торжок”. И мы поехали в Торжок. Эта электричка должна была приехать туда в 23:58, но она ехала как-то неровно, то быстро, то медленно, а потом совсем медленно, потом и вообще остановилась и стояла полчаса, так что мы приехали в Торжок в начале первого — всего на несколько минут раньше, чем если бы ехали на прямом поезде.

Было очень холодно. Пошел дождь. Даже куртка, подаренная мне когда-то Сеньором, не очень спасала.

— Может, мы доедем до гостиницы на такси? — предложила Ленка.

— Где ты видишь такси? — язвительно спросил я.

И действительно, никаких такси не наблюдалось. Мы прошли мимо желтого здания клуба имени Парижской коммуны, где когда-то Даша Пожарская кормила Пушкина своими котлетами, рецепт которых ей продал нищий француз, больше ему нечем было расплатиться. Котлеты были так хороши, что после них Пушкину удалось легко опровергнуть Радищева, ошибочно полагавшего, что России не нужна цензура. Затем мы прошли между Воскресенским женским монастырем, известным тем, что в нем долгие годы содержалась некая Петрова, обвиненная в колдовстве, и Екатерининским путевым дворцом, в котором в 1787 году группа золотой торжковской молодежи перебила всю посуду. Затем мы спустились по так называемому Почтовому спуску, но уже не по бульжникам, как это приходилось делать Пушкину, держась за деревянные перила, а по гранитным ступеням, уложенным в 1930 году; деревянные перила были тогда же заменены на бетонные вазы с цветами, за которые особенно не подержишься. Это заставило меня задуматься, может ли красота действительно заменить пользу, как это попытались сделать в 1930 году, и этих размышлений мне хватило как раз до гостиницы.

Свободный номер нашелся, не пришлось даже трясти официальными письмами. Мы с Витькой уступили единственную кровать Женьке с Ленкой, а сами устроились на полу на надувных матрасах

и спальных мешках. Утром мы с Витькой проснулись рано. Женька спал. Ленка открыла глаза, быстро сообразила, что идти с нами в город будет веселее, чем продолжать спать рядом с утомленным богатырем, оделась и пошла с нами.

Мы перешли речку Тверцу по “железнодорожному” мосту — в 1881 году его по дешевке продало городу железнодорожное ведомство, поскольку он был бракованный, но нас он выдержал. Сразу за мостом на правом берегу стояла Крестовоздвиженская часовня, построенная Львовым. Когда я был в Торжке в первый раз, часовня была обнесена различными пристройками и все сооружение было выкрашено ядовито-изумрудной краской. Если заглянуть в щель одного из заколоченных окон, снизу на куполе можно было разглядеть остатки лика, напоминающего “Спас Ярое Око”. Теперь уродливые пристройки были снесены, часовня перекрашена в благородный желтый цвет русского классицизма и на ней вместо вывески “Табаки” висела другая: “Сувениры”. Когда ремонтировали купол, то остатки “Ярого Ока” решительные реставраторы... Страница кончилась, продолжение в следующем письме.

ВТОРОЕ ПИСЬМО ЛОНДОНСКОМУ ДРУГУ 26 АВГУСТА 1978 ГОДА

В прошлый раз мы остановились на правом берегу Тверцы около Крестовоздвиженской часовни, построенной Львовым в 1814 году. Правильнее было бы сказать, построенной по проекту Львова, поскольку он умер в 1803-м. Когда реставрировали ку-

пол, остатки живописи покрыли ровным слоем белил. Не знаю, почему я сказал тебе, что там были остатки “Спаса Ярое Око”. Я разыскал тот слайд, сейчас он у меня в руках. Там были ленты, лучи, остатки надписи “славимъ”, “крестъ”, “воздв...” и абсолютно ничего похожего на “Спас Ярое Око”. Произошла, как ты уже сам наверняка догадался, визуальная контаминация.

Конечно, эта живопись 1888 года не представляла художественной ценности. Конечно, пристройки 1903 года, использовавшиеся до недавнего времени как комиссионный магазин, нарушали целостность замысла Львова, но я все-таки против такой реставрации. Можно сделать следующий шаг и рассматривать деятельность реставраторов как еще один элемент в том же ряду обновлений, но тут есть принципиальная разница. Одно дело, когда человек достраивает, то есть вставляет свое слово в уже написанный текст. Другое — когда человек начинает править, зачеркивать и стирать, то есть берет на себя роль оценивающей инстанции, что не может не раздражать другие оценивающие инстанции, например меня.

Перед тем как покинуть город, мы зашли к краеведу Суслову, точнее, я зашел к Сулову, а Витька, Ленка и присоединившийся к ним сонный Женька остались ждать меня во дворе. Ждали они, надо сказать, долго.

А что я мог сделать, если Александра Александровича я застал лежащим в постели, опутанным резиновыми трубками, которые он то и дело трогал, чтобы убедиться, что они теплые: то есть моча из мочевого пузыря идет в резиновую грелку, а не на

простыню. В комнате стоял резкий запах тройного одеколона, чтобы заглушить все остальные, но одеколон помогал плохо. Суслов был сильно небрит и выглядел очень старым, каким он, в сущности, и был, потому что восемьдесят лет — это, как ни крути, очень много. Его жена, бывшая его ученица, была, видимо, на огороде. Я постучал в дверь, слабый голос ответил мне: “Войдите”.

Я вошел. Комната за те два года, что я не был, не изменилась совсем: те же фотографии на стенах, те же коврики — этот странный стиль деревенской интеллигенции. Суслов лежал в другой, маленькой комнате, за занавеской у окна. Два года назад он был там же, у окна, но в кресле, а теперь лежал на кровати, ногами к окну. Он не узнал меня, и я стал рассказывать, как я приезжал два года назад, как мы переписывались, как я прислал ему статью о русской архитектуре, где было довольно много о нем, и была даже его фотография, он все вспомнил, прослезился и велел мне снять со стула кипу вырезок и сесть.

“Помню, помню, голубчик, — говорил он, морщась и ворочаясь от резкой боли в мочевом пузыре. — Все помню и очень благодарен, что не забыли. А что не пишу вам, простите, сил нет, все время жожет и жожет, ни на минуту не отпускает, а голова ясная, иногда хочется поработать, материал какой-нибудь послать в «Маяк коммунизма» или даже в «Калининскую правду», а не могу. Плохо, очень плохо, голубчик. Но жаловаться не могу, я чист, накормлен, жена ухаживает, из горкома заходят иногда, рассказывают, ученики заходят. Как я вам завидую, что вы сейчас пешком пойдете по Новоторжскому уезду,

я ведь столько тут ходил, все тропинки знаю, а сейчас вот лежу. Говорят, могила Вульфа опять в запустение пришла, я ведь ее разыскал в свое время, в горком пришел, мне пятнадцать рублей выписали, я плотника взял, мы с ним деревянную ограду сделали. А то ведь никто не знал, где он похоронен, Павел Иванович, друг Пушкина, а теперь, говорят, ограду сломали, и где могила, никто уже и не знает, а я встать не могу, чтоб им показать. Будете в Митино, посмотрите, там, говорят, на правом берегу стали церкви деревянные свозить, не знаю, не видел. А в Прутне, на погосте, там, где Анна Петровна Керн похоронена, это ведь тоже я разыскал могилу, никто не знал, где она похоронена, там, говорят, украли надгробие Ивана Кирилловича Собривеского, генерала кавалерии, при Александре II служил, вы уж посмотрите, голубчик, хорошее было надгробие, с фигурой ангела летящего”.

Я оставил Суслову пачку индийского чая со слонем и целый круг краковской колбасы, чему он был очень рад, — почетный гражданин Торжка жил на пенсию в восемьдесят рублей. Еще, правда, сорок получала жена, но этого все равно не хватало, все уходило на лекарства.

Мы прошли по левому берегу Тверцы вверх по улице Соминке, которая названа так потому, как писал Суслов в “Маяке коммунизма”, что здесь в доках ремонтировались особые речные суда “соминки”, на которых в Петербург везли зерно. Эти соминки бурлаки тащили вверх до Вышнего Волочка, а там те плыли уже по течению сами. Потом город кончился, и мы пошли по старой Петербургской дороге, пока не дошли до Смыковского ручья, на-

званного так потому, что около него сходились в XVIII веке разбойничьи шайки, пока в 1711 году Петр не велел полковнику Козину всех переловить и повырывать ноздри. Тот повырывал, но, по-видимому, не разбойникам, а тем, кто попался. Так или иначе, эта мера подействовала, потому что, когда мы поставили не без некоторого страха палатки у Смыковского ручья, все обошлось. Правда, Витька утверждает, что когда он вылез в четыре утра, было уже довольно светло, и он увидел неподалеку от наших еще одну палатку, оранжевую, и рядом с ней человека. Когда же мы встали, это было около девяти, никакой лишней палатки и никакого человека не было. Это странно, мы заснули около часа ночи, тогда палатки тоже не было. Кому могло понадобиться ставить рядом с нами палатку после часа ночи, да еще так бесшумно, что мы ничего не услышали, а затем так же бесшумно снимать ее на рассвете?

— Это был Эдик! — хихикая, произнес Женька, а Ленка покраснела.

Мы побывали в деревне Митино, принадлежавшей некогда Львовым, но не тем Львовым, а другим, что не помешало “не тем” пригласить “того” Львова, чтобы он им все построил. Построил он среди всего прочего оранжевую, где было специальное помещение для павлинов, этот чудаков держал только синих, а белых и зеленых за павлинов не считал. Там было еще одно, восхитительное по своей нелепости, сооружение: погреб в виде египетской пирамиды. С двух противоположных сторон к пирамиде приделаны входы, арки и своды, сложенные из гигантских булыжников-валунов.

Пирамида высотой с двухэтажный дом была заколочена, но если подпрыгнуть и зацепиться рукой за слуховое окошко, туда можно было заглянуть. Похожее сооружение существовало под Берлином, *Freimaurerpyramide*, масонская пирамида. Пирамида Львова, как писал в своей брошюре Суслов, тоже имела отношение к масонству, «она была секретной лабораторией, в которой российские масоны пытались управлять потоками невидимой энергии».

Барский дом сохранился хорошо. В этом доме, превращенном в международную ленинскую школу, в 1930-е годы отдыхал первый и единственный президент ГДР Вильгельм Пик. После 1943-го Пик уже не мог там отдыхать, потому что ленинская школа разделила судьбу Коминтерна. Шахматы, которыми играли отдыхающие, достигали в высоту метра, быть может, ими играли Вильгельм Пик с Сэном Катаямой, но доиграть им не довелось, потому что позвали ужинать, а Вильгельм Пик если и мог отказаться от оппортунистической политики врагов рабочего класса Носке и Шейдемана, то от ужина — никогда.

«В оранжерее, — писал Суслов, — павлины иногда взлетали на сук старой липы около дома и своим неприятным криком возвещали о том, что на противоположном берегу Тверцы кто-то просит о перевозе». Тщетно стояли мы и ждали неприятного крика павлинов, никто не закричал и никто не шел нас перевозить. Пять или шесть лодок стояли у берега, прикованные цепями и запертые на замок, ключи же находились у владельцев. Мы уже сами были готовы кричать неприятными голосами, но тут пришел мужик, которому тоже зачем-то понадобилось из Митино попасть в Васильево, может, как и нам,

ему хотелось посмотреть на Чертов мост, построенный, как нетрудно догадаться, тем же Львовым, а может, он спешил в его Храм любви, не зная, что тот давно разрушен, или просто хотелось взглянуть на места, где Салтыков-Щедрин чуть не... Страница кончилась, продолжение в следующем письме.

ТРЕТЬЕ ПИСЬМО ЛОНДОНСКОМУ ДРУГУ 2 СЕНТЯБРЯ 1978 ГОДА

В прошлый раз мы остановились около мужика, готового перевезти нас на лодке к Чертову мосту, где неподалеку Салтыков-Щедрин почти купил имение. Меня до сих пор волнует загадка, почему вице-губернатор Твери расторг уже почти состоявшуюся сделку.

Мост этот построен тем же Львовым, и это видно с первого же взгляда: те же самые валуны и циркульные арки. Средняя арка — пролет моста, боковые — внутренние помещения. Несколько лет назад через Чертов мост гнали трактор, и он провалился как раз в одно из внутренних помещений под аркой, но когда мы туда зашли, трактора там не было, видимо, растащили на запчасти или же провалился еще глубже, но проломов ни сверху, ни снизу не было видно, стояли только какие-то подпорки из бревен.

Вечером мы с Женькой пошли за дровами. У нас были две теории собирания дров. Женька предлагал сесть на меня верхом и рубить топором нижние сучья. Мы так и сделали, но когда его топор, сорвавшись с сука, просвистел в сантиметре от моего уха,

у меня зародились сомнения в справедливости его теории.

— Ну хорошо, — сказал Женька, — садись тогда ты на меня.

Но я настаивал на своей идее, которая была проста и неотразима. Всю ночь шел дождь, поэтому все было мокрое, следовательно, надо было срубить наиболее сухие сучья. Чем суше сучья, тем лучше они ломаются. И настоящему сухому суку не нужно топора. Надо взять тяжелую палку и бросить ее вверх, в гущу сучьев. Те из сучьев, которые сломаются, и будут самыми сухими. Итак, я начал ломать, а Женька начал рубить. Потом в костре сторели и его, и мои дрова, так что каждый остался убежденным в собственной правоте.

К утру выяснилось, что мы у самой Прутни и через речку виден шпиль церкви. В Прутне похоронена “гений чистой красоты” Анна Керн, а могилу разыскал, как ты уже знаешь, Суслов. Остается вопрос, почему Керн похоронена именно в Прутне, хотя ее с этим местом ничего вроде не связывает? Суслов ответил: все дело в бездорожье, везли ее в Прямухино, где ее второй муж Марков-Виноградский похоронен, но не довезли, дожди начались, и все дороги развезло, а в наших краях, как дороги развезет, то уж ни проедешь, ни пройдешь, вот и похоронили где пришлось. Что же касается надгробия генерала кавалерии Собриевского, то мы установили, что его надгробие не украли, а только отбили от него летящего ангела.

— Народ-богоносец, — злобно проворчал Женька. — Только ангела отбили, а ведь могли все надгробье унести.

А что такое “дороги развезет”, мы поняли очень скоро. Мы хотели добраться до усадьбы Львова Никольское. Если бы мы шли дальше вверх по Тверце, то рано или поздно дошли бы до Раменья, неподалеку от которого в Тверцу впадает Осуга. Но что-то подсказало нам, что пятнадцать километров вдоль Тверцы, а потом несколько километров вдоль Осуги до Никольского будут совсем неинтересными, судя по старой довоенной карте. Там и лесов-то было немного. Если же пересечь Тверцу и идти прямо на запад, то, судя по той же карте, километров через восемь мы неизбежно выйдем на Осугу — Тверца и Осуга на этом участке текут почти параллельно. Несколько смущало отсутствие компаса — как в пасмурную погоду мы определим, где запад, не по муравейникам же и не годовым кольцам пней. Эти приметы хороши только для журнала “Пионер”. Надежда была на врожденную тягу советского человека на запад.

Мы переправились все тем же способом, на попутном мужике, но на этот раз заплатили ему двадцать копеек. Деревня напротив Прутни называлась Прутенка, а как добраться до Осуги, никто не знал.

— Есть где-то такая река, — говорили прутенские мужики, — точно есть, но пройти туда нельзя. Надо переправляться обратно, и вверх по Тверце до Раменья.

— Да не надо нам Раменья, — объясняли мы, — это будет лишних двадцать или тридцать километров. Вот на карте, видите, тут масштаб шесть километров, значит, от Тверцы до Осуги здесь самое большее восемь километров.

Но прутенские мужики только недоверчиво качали головами:

— Может, конечно, оно и так, но только мы такого не слышали. Туда и дороги-то никакой нет. Леса. А не хотите по Тверце, идите по большаку на Святцево, потом на Быльцево, а там уже и на Скрылево. А от Скрылево до Раменья рукой подать.

— Да не нужно нам вашего Раменья! — раздражались мы. — Заладили: Раменье да Раменье. Нам Осуга нужна. Река такая. Воспетая в одноименной поэме Бакунина, отца известного анархиста и революционера, друга Львова, сторонника крепостного права и поклонника царицы-матушки Екатерины. Она с Вольтером переписывалась. А вы, дураки, карту читать не умеете, масштаба не понимаете. Раменье, Раменье. Хуямень!

Да, была у нас в запасе такая беспронитывная форма юмора, освоенная мною за год работы в слесарной мастерской. Какое бы слово ни произносилось, допустим, “кастрюля”, какой-нибудь шутник его сразу трансформировал по такой схеме: “Кастрюля, кастрюля — хуюля!” Это всегда вызывало смех, даже у людей, которые слышали это сотни раз. Сила этой схемы была в том, что ее можно было применить абсолютно к любому слову. Конечно, скажи тебе сейчас, к примеру, слово “щи” или “часы”, и ты придешь в затруднение, потому что приходящие в голову варианты покажутся тебе неблагозвучными или несмешными. Профессионализм, однако, заключается в том, чтобы не искать благозвучия. Надо просто любым способом соединить в одном слове корень “ху” с заданным окончанием. Как бы ты это ни

сделал — искусно, коряво, талантливо, тупо, неожиданно, бездарно — все равно получится очень смешно. Можешь попробовать у себя в Гайд-парке или в Букингемском дворце.

Прутенские мужики упорно стояли на своем:

— Так-то оно так, но только идти вам теперь все равно на Святцево, со Святцева на Быльцево, с Быльцева на Скрылево, а там уж рукой подать до Раменья, а Раменье как раз на этой, на Осуге, и стоит.

— Ну хорошо, — говорили мы, — а если мы пойдем не по большаку, а вот сюда, на запад, прямо от реки к вон тому лесу, то мы куда придем?

— Аккурат в Житково и придете.

— Так нам туда и надо!

— Так бы и сказали сразу, — обиделись прутенские мужики, — А то заладили, Раменье да Раменье.

По дороге в Житково нас с аэроплана опрыскали ДДТ, приняв, наверное, за колорадских жуков. Я оставляю открытым вопрос, были ли это ДДТ, гербицид или пестицид, скажу только, что мы остались живы благодаря проливному дождю: те опрыскивали, а тот смывал... Страница кончилась, продолжение в следующем письме.

ЧЕТВЕРТОЕ ПИСЬМО ЛОНДОНСКОМУ ДРУГУ 5 СЕНТЯБРЯ 1978 ГОДА

Только что позвонил Витька и сказал, что на пятницу, субботу и воскресенье мы, оказывается, едем в Осташков, и он уже заказал гостиницу. Надо же! А я еще про Торжок не дописал. А вообще — хватит путешество-

вать! В жизни каждого человека уже было достаточное число путешествий, даже если маршрут пролегал только от печки до порога. Важно эти путешествия подробно и добросовестно записать. Путешествий всегда больше, чем ты можешь записать. Поэтому надо стремиться не к путешествиям, а к обладанию пишущей бумагой, пишущей машинкой, письменным столом и, разумеется, тишиной за окном. У меня-то как раз под окнами сейчас ремонтируют здание нового цирка, которое построили архитекторы Белопольский и Вулых. Я бы лично производил ремонт за их счет, потому что здание, несмотря на висящий на нем плакат “Строитель, ты строишь цирк на века”, разваливается. Ты, конечно, возразишь, что архитектор проектирует, а строит строитель, но ты не прав. Архитектура выросла из строительства точно так же, как потом из инженерии вырос дизайн. Глубоко прав был бандит Каганович со своим лозунгом “Архитектор — на леса!”. И уж тем более был прав Витрувий, сказавший *firmitas, utilitas, venustas*, что, как знает каждый школьник, значит “прочность, польза, красота”. Обрати внимание, что красота идет последней. Эту фразу Витрувия процитировал позавчера по телевизору мой директор, приписав ее почему-то масону Баженову, возможно, спутав его с Митей Бажугиным, который хоть и не масон, но выбрил себе на затылке тонзуру; польза в ней, может быть, и есть, но красоты никакой, говорить же о прочности применительно к затылку мне представляется неуместным.

Вернемся в Тверскую область. Я оставляю открытым вопрос, опрыскали ли нас ДДТ, гербицидами или пестицидами и зачем. Важно, что мы выжили

благодаря проливному дождю. Жители деревни Житково попытались проделать с нами все тот же трюк, то есть послать нас на Святцево, Быльцево, Скрылево с конечным пунктом в Раменьях, но мы были начеку. Под проливным дождем мы наконец нашли одного человека, который признался, что есть тропинка через лес, которая ведет в Малые Вишенья, а, как он слышал, в Малых Вишеньях есть рыбак, который когда-то ходил на Осугу на рыбалку.

— Пойдете вон к тому лесу, — сказал он, — перейдете ручей, там будет тропинка. Одна тропинка пойдет правее, другая левее, третья прямее.

— А какая нам нужна? — спросили мы.

— Вам-то? Сами увидите. Которая на Малые Вишенья.

Больше ничего мы от него добиться не смогли. Вообще мы заметили, что мы с местными жителями не понимаем друг друга. Для них тропинка на Малые Вишенья отличается от всех остальных именно тем, что она ведет на Малые Вишенья, а остальные — совсем в другие места. Но что же нам делать, если мы никогда не ходили по этой тропинке и не знаем, ведет ли она в Малые Вишенья? Вот этого “никогда” и не желали понимать наши житковские (как, впрочем, и прутенковские, а впоследствии и вишенские, и пудышевские, и сосенские, и дедковские, и никольские, и арпачеевские, и якшинские, и фоминские, и красненские, и волосовские, и астратовские, и щербовские, и прямухинские, и скрылевские, из другого Скрылева, и русоские, и рясенские, и луковниковские, и, наконец, старицкие) мужики и упорно твердили свое:

— Как ручей перейдете, так сразу и увидите тропинку на Малые Вишенья. Только вы не идите по той, что в Киселевку ведет, вам туда не надо. Да вы ее сразу узнаете, тропинку, ее сразу видать, она на Вишенья ведет, а та на Киселевку.

Углубившись в сосновый лес, мы сделали короткий привал, съели по мокрому куску хлеба, по мокрому куску сыра и заели все это мокрой земляникой, которая росла у нас под ногами. Тропинка стала едва различимой, мокрые ветки обдавали водой, как из душа, сквозь полностью промокшие куртки этот душ ощущался, как если бы никаких курток и не было. Быстро темнело. Глину развезло уже настолько, что ноги проваливались по щиколотку. Тропинка теперь то исчезала совсем, то внезапно их появлялось много и вели они, разумеется, в разные стороны — одна в Киселевку, другая, возможно, в Дрембу, а третья — в местечко Зембля, но понять, какая где, мы даже и не пытались. Так прошло около двух часов. Становилось то темнее, то светлее, потому что свет и тьма зависели не от времени суток, а от стужения и разряжения туч. Временами мы разделялись — одни шли по одной тропинке, другие по другой, и каждый раз мы все равно сходились, и временами это нас радовало, хотя с таким же успехом могло бы и огорчать. Было тяжело, рюкзаки врезались в плечи, с каждым шагом приходилось с хлюпаньем выдирать увязшую в жидкой глине ногу. Непонятно было, куда идти, и не у кого было спросить, а если мы не выйдем к реке до ночи, то нам будет нечего пить — мокрую палатку в мокром лесу мы бы как-нибудь поставили, костер из мокрых дров мы бы как-нибудь развели, но

вот уже горячего чая не было бы точно, а без горячего чая не радовало бы нас даже наличие бутылки водки. Внезапно мы вышли на дорогу, это была явная дорога с отчетливыми следами коровьих копыт, но идти по ней было хуже, ибо отсутствие травяного покрова приводило к тому, что ноги проваливались в глину уже не по щиколотку, а почти по колено. А главное, неясно было, идти по дороге направо или налево. Это выяснилось, когда мы все-таки пошли налево и встретили большое стадо и молодого пастуха.

— Идите назад, — сказал пастух, — там дорога будет расходиться на три. Так вы не идите по той, которая ведет в Дрембу, и не идите по той, которая ведет в Земблю, а идите по той, которая ведет в Малые Вишенья.

— А как мы узнаем, какая куда ведет?

— Так видно же будет — одна туда, другая сюда.

— Ну да, конечно, — сказали мы обреченно и двинулись, понимая, что Зембли нам не миновать.

Шли долго. Тропинки ветвились, сходились, снова расходились, пропадали совсем, внезапно превращались в широкую дорогу со следами колес, потом удивительным образом следы обрывались. В конце концов тропинка уперлась в заросли орешника и осины, и мы остановились, ибо идти дальше было некуда. Дождь продолжался, под ногами все превратилось уже в настоящее болото, и тут между нами произошло нечто, что можно было бы назвать скандалом между воспитанными людьми.

С одной стороны, избыток воспитания мешает свободному выходу эмоций, и это плохо, потому что эмоции выходят со скрипом, накапливаются и по-

том прорываются в самый неподходящий момент. Если же ты способен от души полаяться и даже, если повезет, подрасться, то потом может наступить идиллия. С другой стороны, способность контролировать выход эмоций упрощает отношения, воспитание работает как стабилизатор — независимо от колебаний реальных эмоций на выходе получаешь примерно одно и то же. Любовь и ненависть выражаются примерно в одной сдержанной стилистике, механизм отношений работает без скачков и сбоев. Тут тоже есть проблема, вся нагрузка падает на внутренний стабилизатор, и он может оказаться перегруженным. А у тех, кто привык к свободному выходу эмоций, драка может стать привычным ритуалом, и проблемы восстановления отношений может и не возникнуть.

В шестнадцать лет обычно волнует проблема, как разговаривать с женщиной, с которой ты только что совершил ряд беспорядочных акробатических движений. Надо ли говорить житейском тоном, как будто ничего не было, или, наоборот, сознательно снижать смысл происшедшего циничными физиологическими подробностями вроде “черт, все локти и колени об эту гнусную обивку ободрал”, или же надо говорить что-то вроде “моя атманическо-брахманическая сущность пережила состояние комы, сомы, нирваны, не вижу обивки ни целой, ни рваной, ни душа не надо, ни ванны, ни этой подушки диванной, к Германтам иль в сторону Свана, в пустыню, в болота, в саванну, к Ивану, к Арону, к Абраму, о, дайте подъемного крану извлечь из души моей прану”... Страница кончилась, продолжение в следующем письме.

ПЯТОЕ ПИСЬМО ЛОНДОНСКОМУ ДРУГУ 7 СЕНТЯБРЯ 1978 ГОДА

Люди, прожившие несколько лет в супружестве, легко и свободно переходят от восьмой позиции (на боку, колени сдвинуты и поджаты к животу) к снятию показаний электрического счетчика и внесению их в абонентскую книжку, не видя в этом переходе никакой трудности. Точно так же люди, привыкшие к свободному выплеску эмоций, легко и свободно переходят от драки к задушевым разговорам. Поскольку у нас этого опыта нет, нам остается одно: стабилизировать выход эмоций. Поэтому то, что я называю скандалом, внешне выглядит вполне благопристойно и корректно. Происходило это так.

— Одну минуту, — сказал Женька, — мы, по-моему, сбились с дороги, и надо немедленно вернуться.

— Куда? — резонно спросили мы.

— Туда, где дорога была еще различима.

— Во-первых, где гарантия, что мы попадем именно туда, где были, а не в какое-нибудь другое место; а во-вторых, дороги и тропинки все время ветвились, и мы каждый раз выбирали ту тропу, которая казалась нам наиболее протоптанной: какой же смысл возвращаться?

— Значит, в какой-то раз вы ошиблись.

Он имел в виду то, что мы с Витькой шли впереди, а он лишь следовал за нами.

— Может быть, и не один раз ошиблись, — добавил он строго.

— Но если вперед идти бессмысленно, то назад тем более, — сказал Витька.

— Давайте тогда разобьемся и пойдем в разные стороны, через десять минут сойдемся и поделимся знаниями, — не унимался Женька.

Есть священный принцип совместных путешествий: если кто-то хочет делать нечто безумное, но что, по-твоему, не принесет непоправимого вреда, прими в этом участие. И тут Витька позволил себе нелояльное заявление:

— Иди, если хочешь, а я никуда не пойду и буду ждать тебя здесь.

— Я пойду вперед, — сказал я, чтобы сгладить конфликт, — а ты, Женька, иди назад. Через десять минут встретимся здесь.

— А мы с Ленкой здесь покурим, — цинично заявил Витька.

Цинизм заключался в том, что Женька в приступе мазохизма в очередной раз бросил курить и очень мучился оттого, что Ленка с Витькой не только не бросали, но и не выражали никакого сострадания.

Мы разошлись, потом сошлись, потом куда-то пошли, потом еще куда-то, потом начало темнеть уже по-настоящему, потом дождь пошел уже в полную силу, потом глину развезло до жидкого состояния, потом мы услышали пастуший кнут и пошли на него, это оказался тот самый молодой пастух, а с ним еще пожилой. Это не значит, конечно, что мы сделали круг, просто они пошли по нашим следам и увидели, что следы ведут совсем не в Малые Вишенья, и даже не в Дрембу, и может быть, и мимо Зембли, в непроходимые болота, и пошли за нами, чтобы нас спасти, и постоянно щелкали кнутом, заменяя этим свет маяка.

— Не туда, не туда! — закричал издали пожилой пастух, увидев нас. — Прошли вы тропинку. Там надо было туда, ближе к Вишеньям, а вы, значит, сюда, на Киселевку подались, а потом вижу — и от Киселевки в сторону, а сейчас и вовсе в болото зашли. Да вы еще и без сапог? Как же это можно, без сапог в наших-то краях. Куда вас теперь, я и не знаю. До Вишеньев сегодня вам не дойти.

— Нам теперь нужно любое место, — сказали мы, — чтобы был сосновый лес и вода для питья. Мы там поставим палатки, а утром пойдём к Осуге, а там уже на Никольское, Арпачево и, может быть, на Таложню.

— Тогда вот что, — сказал пастух, обращаясь к молодому, — ты, Юра, отведи их в тот соснячок, где пруд, а я стадо пасти буду.

— Ладно, — кивнул Юра. — Пошли.

Мы пошли за Юрой. Дождь шел с такой же силой, темнело так же быстро, земля под ногами так же хлюпала и засасывала при каждом шаге, лямки намокших рюкзаков так же врезались в онемевшие плечи — но теперь все было иначе. Мы шли совсем в другой тональности и модальности. У нас была цель, которая оправдывала средства. Целью был соснячок у пруда, Зембля, почвенничество, народничество, Осуга, воспетая отцом анархиста, Вишенья, гора Кобылка, цветные глины, черепичный завод, дыхание пространства, пронизанного историко-культурными связями и литературными реминисценциями. Этот край писался как роман, а мы, его читатели, вынуждены были переводить его литературные тропы — метафоры, метонимии и синекдохи — в пешеходные тропы, и каждый образ давал

ся с трудом, потому что ноги вязли в пучинах ассоциаций.

Через час Юра остановился и сказал:

— Дальше сами. Мне пасти надо, — и ушел.

Мы пошли прямо и скоро вышли на довольно большую поляну, которую сзади замыкал сосновый лесок, явно посаженный людьми, так как сосны шли ровными рядами, как типичный пример лесозащитной полосы, о которой Маршак в свое время спрашивал читателя: “Что мы сажаем, сажая леса?” — и сам же себе отвечал: “Мачты и реи — нести паруса”.

Не знаю насчет парусов, но с мачтами и реями он попал в точку: мы нарубили длинных жердей и перекладин и соорудили мачты и реи, на которых развесили мокрые спальные мешки, штаны, надувные матрасы, носки, куртки, рюкзаки, стельки из войлока, стельки из кожи, рубашки, давно утерявшие белизну трусы, — но, как ты понимаешь, для того, чтобы все это развесить, нужно было, чтобы дождь перестал идти, что он и сделал.

А произошло это так. Как только мы вышли на поляну и сняли наши рюкзаки, еще не дойдя до сосняка, я расправил затекшие плечи и сказал:

— Если бы он перестал, я бы ему все простил.

Дождь как будто услышал меня, и, как будто ему нужно было мое прощение, он сразу стал стихать, стихать, и когда мы обнаружили пруд, дождь просто моросил, а когда ставили палатки, он едва капал. Каким-то чудом у каждого в рюкзаке сохранился сухой комплект одежды. Какое блаженство было снять с себя мокрые куртки, ботинки, трусы, майки. Правда, было очень холодно, но все равно это было блаженством, несмотря на пять градусов тепла. Когда

мы расставили палатки, было около восьми вечера, и примерно до часу ночи мы сушили, сушили, переворачивая высухшее на другую сторону, перевешивали подгоревшее на более дальние рей и более высокие мачты. Мы делали перерывы только на принятие ужина и нашей единственной бутылки водки, правда, в это время сушение происходило само, потом опять сушили, перевешивали и переворачивали, сушили, пока, разморенные жаром костра, паром сохнувших штанов и выпитой водкой, не упали в палатки и не забылись сном. Во сне до нас доносилось щелканье бича — это мимо нас гнали все то же стадо.

Это был дом. Это была почва. Это была Зембля.

Утром появилось солнце, и мы снова стали сушить, потому что кое-что еще не высохло, а кое-что отсырело за ночь. Потом снова раздалось щелканье бича. Мы стали звать Юру и Антона. Антон подошел и сказал, что Юра не придет, он очень стеснительный, а ему, Антону, необходимо выпить чаю. Но оказалось, что он хочет совсем не чаю. Он взял весь наш запас заварки, высыпал его в кружку, залил водой и стал кипятить на костре. Иными словами, он хотел чифиря. Чифирь, как писал великий Похлёбкин, “обладает психостимулирующим действием, он представляет собой концентрат вредных алкалоидов (в их числе гуанин, а также разрушенный теин), которые в совокупности оказывают разрушительное действие на центральную нервную систему”.

— Я ведь тоже из Москвы, — сказал Антон, помещивая веткой свой чифирь. — Работал на складе, пока не сел.

Это объясняло пристрастие к чифирю. На вид ему было лет сорок, и выглядел он действительно не по-деревенски.

— Железо кровельное мы отпустили без накладной, семь вагонов, — продолжал он. — Ну я и сел. Денег мы, правда, за эти вагоны получили кучу. Миллионы. Я одних гарнитуров мебельных жене накопил штук восемь. И денег ей оставил. В общем, обеспечил. Завскладом с главным бухгалтером, конечно, больше получили, но я пожаловаться не могу, деньги были. Вот, значит, сел я, а их не заложил. Один сел. Ну и они, конечно, каждый месяц ко мне во Владимир приезжали на свидания, передачи, посылки, деньги слали. В общем, помогали. А жена вот ни разу не приехала. А потом, как выпустили меня через десять лет, она меня из квартиры выписала. Прихожу — а там у нее уже муж другой. Гарнитур, правда, мои стоят. Не все, конечно, а два. А муж другой. Дети бегают. У нас-то с ней детей не было. Так я из Москвы и выбыл. Теперь вот пастухом здесь в деревне.

— Не женился? — спросил Женька.

— Нет, — сказал Антон и отпил большой глоток. — Деревенскими я как-то брезгую. Ну так, разве что туда-сюда, а жениться — нет. Вот та жена у меня была чистая такая, гладкая. А эти — нет. С той мы хорошо жили, а с этими я и не хочу. Она вот, видишь, выписала меня, теперь мне в Москву нельзя. Правильно, вообще-то. Ей жить надо, чего ей меня дожидаться. Ну и я не жалуюсь. Четыреста я тут всегда заработаю в месяц, а больше мне и не надо.

— Четыреста... — с завистью подумал я. — В пастухи, что ли, пойти? Или кровельное железо без накладной кому-нибудь отпустить?

ШЕСТОЕ ПИСЬМО ЛОНДОНСКОМУ ДРУГУ 13 СЕНТЯБРЯ 1978 ГОДА

Продолжаю на другой машинке. “Эрику” отец забрал в Дом творчества писателей, и это правильно, кесарю кесарево. Вот если бы он забрал кульман, я бы этого, конечно, так не оставил. На этой машинке другое расположение букв, и, хотя я, в отличие от тебя, печатаю, глядя на клавиши, опечатки сейчас пойдут, как гробы после вождя. Только что позвонила мама и сказала, что пришло извещение на бандероль. Тут могут быть разные варианты. Это может быть твоя бандероль с номером 1 или 3. Это может быть твоя бандероль с каким-нибудь другим номером или без всякого номера, и это может быть не твоя бандероль. Это мы еще не рассматривали вариантов, при которых это вообще не бандероль, ибо людям свойственно называть вещи несвойственными им именами — тетрадку книжкой, подрамник планшетом, горшок банкой, посылку бандеролью, костыль шлямбуром, шпindelь бабкой, календулу ромашкой, Воздвиженку Остоженкой, батон булкой, риску фаской, метчик плашкой, тесьму лентой, синусоиду экспонентой, абаку эхином, шпатель мастихином, абсиду приделом, мушку прицелом, — короче, если ты можешь все это перевести на иностранный язык, тогда и только тогда ты его знаешь.

День был прекрасный. Мы почувствовали себя вознагражденными за все страдания. Светило солнце. Мы знали, куда идти, — через лес по проселку. Надо бы, конечно, заглянуть в словарь Даля, чтобы узнать, что такое проселок, но словарь утащила к себе Джей, а в новом издании дошли пока только

до буквы “З”. Видимо, проселок — это дорога, соединяющая два села. Теоретически, проселок может идти и через реку или даже через море, если два села на противоположных берегах связаны узами, как, например, города-побратимы Торжок и Савонлинна, “финская Венеция”, как этот город называют. Тогда проселок вполне мог бы привести нас и в Финляндию, что совершенно не входило в наши планы, тем более что по проселку нам было сказано идти всего лишь “пока не выйдем на мощёнку”. Это слово, напоминающее одновременно и мощи, и мошонку, никому из нас не нравилось, но выбора у нас не было.

И мы прошли сквозь мелкий, нищенский, нагой, трепещущий ольшаник, заросший к тому же орешником и прочей мокрой гадостью — папоротниками, хвощами и лишайниками. Довольно скоро впереди показалось поле. После суток блужданий по зарослям выйти на простор доставляло физическое удовольствие. Еще несколько шагов, и впереди и чуть слева возникают заколоченные избы Малых Вишеньев. Где они, цветные глины, где черепичный завод, где гора Кобылка, наконец? Нет этого ничего. Ряды заколоченных изб. Одна из этих изб показалась нам более жилой, чем другие. Мы бросили рюкзаки на траву и постучали. Через несколько минут на крыльцо выползла сонная фигура мужика в лаптях, онучах, чунях, поддевке, охабне, опашне, мурмолке и косоворотке (мне известно значение по крайней мере двух из этих слов). В руках он держал самовар, из которого пахло кислыми щами.

— Так вам, стало быть, на Осугу надо? — спросил мужик, оказавшийся тем самым рыбаком, который однажды ездил туда на рыбалку. — Тут недалеко.

Красуйся, тихая Осуга,
Душа Премухинских полей
И неизменная подруга,
Кормилица моих детей, —

Ученые тебя забыли,
Проселком путь таится твой.
Ты городской не знаешь пыли,
Боишься стуку мостовой.

Так писал об Осуге поэт Александр Михайлович Бакунин, владелец имения Прямухино (или Премухино, как писали в его время), отец знаменитого анархиста. Хотя до Осуги мы уже дошли, до Прямухино было далеко. Надо было еще пройти Пудышево, Сосёнки, Дедово, Никольское, Арпачево, Якшино, Фомино, Красное, Волосово, Астратово, Щербово, Далекшино — и про каждое из этих населенных пунктов мне есть что рассказать, так что отложи все свои дела, сядь поудобнее и слушай.

Мы вышли к Осуге как раз напротив Пудышева, у разрушенной мельницы, принадлежавшей мельнику Красноперову, который изобрел особую веялку, придающую муке бархатистость. За это качество мука была названа “Красноперовкой” и высоко ценилась в Петербурге. С Волги зерно по воде шло в Торжок, а из Торжка его развозили по мельницам. Лучшее зерно, естественно, везли в Пудышево. Секрет веялки давно утерян. Несколько лет назад эту веялку по описаниям пыгались повторить в пищевом техникуме в Торжке. Не получилось. А так хотелось попробовать батон бархатистого помола! Не сомневаюсь, что неудача была связана с неправиль-

ным словоупотреблением: они, конечно же, назвали шпindelь бабкой.

Прошли восемь километров от Прутни до уже ставшей мифом Осути ровно за двое суток вместо двух часов. Человек, как известно, может пройти за час четыре километра, даже с рюкзаком. И вот мы стоим на деревянном мостике, и под нами не жидкая глина, а сухое дерево. Мы фотографируемся, вернее, я их фотографирую прямо с развалин Красноперовской мельницы, облокотясь левой рукой на знаменитый шпindelь, упираясь коленом в легендарную бабку, заросшую календулой и ромашкой, и они улыбаются, а Витька для смеха делает вид, что прыгает в воду.

— В Америке, — назидательно сказал Женька, — все пользуются “Полароидами”. Это очень удобно, нажал и вынул цветную фотографию.

— А зачем нам в деревне Пудышево цветные фотографии? — спросил я, возмущенный Женькиным низкопоклонством перед Западом. — Они все равно до Москвы превратятся в труху, смешавшись в рюкзаке с носками и сливочным маслом.

Ленка, Женька и Витька пошли в селпо покупать хлеб, водку, тушенку, краснодарский чай, незрелые помидоры, спички, сигареты “Опал”, слипшиеся ириски и алюминиевую кастрюлю. Я двинулся в сторону избы с надписью “КЛУБ”. Из-за нее выехал трактор.

— Смотри, коня-то мово не напутай! — крикнула трактористу почтальонша. Ее конь, запряженный в телегу, смиренно жевал солому и только косился на трактор, выпускавший клубы вонючего дыма. Ленка, Женька и Витька вышли из магазина с потолстевшими рюкзаками.

— Вон почтальонша сейчас в Никольское поедет, — сказал нам мужик, одетый, несмотря на сравнительно теплый день, в телогрейку. — Просите ее, может, подвезет.

— Ну куда я вас всех посажу! — откликнулась почтальонша. — С такими вещами. Кого-нибудь одного — пожалуйста. Это ж конь, а не трактор.

Жалко. Поездка на телеге никак не нарушила бы пешеходности — это ж конь, а не трактор. Автобус непригоден для знакомства с местностью, но лениво плетущийся конь дает, как мне кажется, правильный ритм передвижения. Постоянный скрип колес, равномерное сотрясение вестибулярного аппарата и запах конского навоза создают тот самый каркас восприятия, обеспечивающий единство картины мира, ныне считающееся утерянным.

Дорога шла вдоль реки. Вскоре нас обогнала почтальонша на своей телеге. Потом дорога вышла к большаку, по которому ходили автобусы. Большак поворачивал налево вдоль реки Таложеньки, левого притока Осуги. На Таложеньке стояло Никольское, Арпачево и деревня Таложенька, куда мы не дошли, потому что Таложеньскую церковь, воспользовавшись болезнью Суслова, снесли в 1962 году, а в 1973-м, когда ему стало хуже, снесли и барский дом. Теперь туда ходить незачем.

Прежде чем сворачивать на большак, мы решили “наскоро перекусить всухомятку” — эти три неприятных слова довольно точно передают вкус такой еды, поэтому я настоял, чтобы мы все-таки спустились к реке, развели костер и выпили чаю. Избалованные москвичи презируют краснодарский чай, говоря, что он сделан из веника, но мы за эти

дни настолько опростились, что могли бы заварить и метлу.

Вместо намеченных двадцати минут мы провели у реки три часа, но обычно так и бывает. Сначала мы с Витькой залезли в ледяную воду, чтобы, говоря пушкинским языком, “обмыть заповревшие яйца”. Потом стали разжигать костер, а он все не разжигался.

— Я принесу хороших дров, — сказал Женька и исчез вместе с топором.

Потом откуда-то издали долго слышался стук. Мы развели костер, вскипятили чай, выпили его, стали собирать вещи — и только тут появился наконец Женька, почти голый, огромный, лохматый, бошой. Над головой он нес гигантское сухое дерево, на котором можно было бы сжечь три-четыре Жанны д'Арк и полтора Джордано Бруно. За резинкой некогда белых трусов торчал топор. Освещенный заходящим солнцем, он был и Давидом, и Голиафом; и Самсоном, и Далилой; и Юдифью, и головой Олоферна; и Рабочим, и Колхозницей; и серпом, и молотом.

Потом мы шли по песчаному большаку в хорошем темпе и в прекрасном настроении. Это был все тот же день, начавшийся признаниями Антона. Несколько раз начинался дождь, но мы уже были опытнее — мы надевали наши плащи поверх рюкзаков. В результате не мокла спина, а когда дождь прекращался, плащи на ветру мгновенно просыхали. Не останавливаясь, мы прошли Сосёнки, Дедково, и когда уже начало темнеть, слева впереди стали видны очертания Львовского мавзолея в Никольском. Мы прошли мимо бетонных барачков и, перепрыгивая через лужи, подошли к ротонде.

На фотографиях и чертежах мавзолеей казался маленьким, а в натуре он выглядел огромным и страшно облупленным. На фотографиях казался графичным, тут же он был скульптурным. Здесь были все излюбленные формы Николая Александровича, за исключением пирамиды. Цокольный этаж был сложен из грубых булыжников, как пирамида в Митино. В нем были циркульные арки, как в мосту в Васильево. Колонн было не двенадцать, как в Крестовоздвиженской часовне, а шестнадцать, как в Знаменском, колонны были дорические, как в Борисоглебском соборе, а не коринфские, как в Крестовоздвиженской часовне, и не ионические, как в Знаменском.

В начале 1950-х, когда Суслов разыскал и атрибутировал мавзолеей, он обнаружил, что около него мальчишки играют в футбол каким-то непонятным предметом. Суслов заинтересовался. Предмет оказался черепом Николая Александровича из вскрытого и разграбленного склепа в цокольном этаже. Остальных частей скелета найти не удалось, а теперь пропал и череп. Если влезть через окно в цокольный этаж, взяв с собой фонарь, ибо там темно, то можно увидеть лишь одну оставшуюся надгробную плиту родственников Львова, а вместо остальных — ямы.

Как пишут в путеводителях, время не пощадило остальных строений усадьбы Никольское, и это самая правильная формулировка. Субъектом разрушения и забвения следует считать именно время или, точнее, пространственно-временной континуум, который можно назвать культурой, или стилем жизни, или общественным мироощущением.

Итак, общественное мироощущение не пощадило усадебного дома Львова. Время срезало у него всю центральную часть вместе с правым флигелем, культура выбила в оставшемся флигеле стекла, а стиль расписал стены детской комнаты похабщиной.

Тебе, давно живущему в Англии, где ритуалы парламентских прений и университетских застолий, не говоря уже о самих зданиях, не изменились за последние несколько веков, уже трудно вспомнить и тем более понять этот *modus vivendi*.

Мы еще раз обошли всю усадьбу, точнее, все, что от нее осталось, и на прощание сфотографировались в санях, стоящих в коричневой луже.

ДАФНИС И ХЛОЯ

— Слушай, — сказал Шуша Алле в середине зимы, — ну чего ты тут будешь сидеть в Москве, одна, с двумя детьми. У меня идея. Ты выходишь за меня замуж, и мы вместе уезжаем в Америку.

Долгая пауза.

— Тебя не выпустят. У тебя была секретность.

— Какая там секретность! — отмахнулся Шуша. — Третья форма. Я знаю троих, которые с ней уехали.

— А почему в Америку?

— А куда еще? Единственная возможность уехать — вызов из Израиля. А дальше выбор среди стран, готовых принимать беженцев, — США, Канада, Новая Зеландия и Израиль. Америка — страна эмигрантов. Там, в отличие от Европы, легко стать своим. Там можно говорить с акцентом.

— А почему не Израиль?

— А что у меня общего с этой страной? Я для них чужой, у меня мать православная.

— Они тебя примут. У тебя же там двоюродная бабушка! Там, кстати, тоже можно говорить с акцентом.

— А что мне там делать? В Африке!

— В Африке? Ты географию в школе проходил?

— Ну, не в Африке, в Аравии. Один черт.

— Ну хорошо, езжай куда хочешь. А я тебе зачем? Ты что, опять в меня влюбился?

— Слушай, мы не дети. Влюбленность продолжается недолго, а дружба может длиться вечно. Мы ведь друзья?

— Друзья. Но если мы уедем вместе, нам придется жить и, возможно, даже спать вместе. У нас с тобой нет такого опыта.

— Есть. Мы были влюблены. Все может вернуться...

— Я понимаю, — сказала Алла, — ты начитался Розанова. Он женился на Аполлинару Сусловой, потому что с ней спал Достоевский. Ты хочешь отомстить Сеньору, переспав со мной, потому что раньше у тебя это не получалось.

— Да нет у меня никакого желания ему мстить. И вообще, можно считать, что я уже это сделал. С Рикки.

— А что тогда? Хочешь стать отцом его детей?

— Я не против стать отцом Ники и Мики, хотя не это главное.

— А что главное?

— Главное, что у меня не осталось близких людей. Рикки в Гане. Сеньор растворился где-то между

Италией и Америкой. Джей умерла. В Заринэ я был влюблен, но мы никогда не были друзьями. Отец завел другую семью. Мать страдает, но я помочь ей не могу. Осталась ты.

— Я слишком хорошо тебя знаю. Появилась идея. Она тебе кажется гениальной. Ты будешь с ней носить несколько месяцев. Потом остынешь. Потом появится другая, еще более гениальная.

Шуша не остыл. Он продолжал рассказывать ей, как хорошо им будет вместе в Америке, и даже начал испытывать что-то, похожее на прежнюю влюбленность.

Теперь и она стала думать — а что, может быть, это не такая уж и безумная идея. Ведь были же они влюблены друг в друга двадцать лет назад. Ведь не такие они и старые в свои тридцать пять.

Как-то раз он остался ночевать у нее на десятом этаже. Гигантскую комнату к этому времени разгородили на четыре клетушки и коридор. Две отдали детям, одну маме. Самая маленькая досталась Алле. Когда они легли на ее узкую кровать, он попытался было к ней прикоснуться, она отдернулась.

— Нет! Не работает. Умозрительный секс. Абсурд.

Следующие три ночи он тоже оставался у нее. И только в последнюю они как-то сдвинулись с мертвой точки. Но остановились на том же самом месте, что и двадцать лет назад.

— Слушай, — сказал он на следующий день, — секс — это ерунда. Это само придет рано или поздно. Но ехать все равно надо, и ехать вместе. Женатыми. Самое главное — получить вызов из Израиля. Один вызов у меня уже есть, но нужен новый — на семью.

По ортодоксальным законам ни ты, ни я не евреи, но это никого не волнует ни там, ни здесь.

Как ни странно, Алла согласилась.

Расписаться в ЗАГСе было просто. Получить новый вызов еще проще. Подать заявление в ОВИР намного сложнее, но и с этим они в конце концов справились. Расчет был на то, что к Олимпиаде от всех нежелательных москвичей будут избавляться. Про свою “третью форму” Шуша давно забыл. Зря, конечно, но дело было совсем не в его “секретности”. ОВИР как бы вообще перестал существовать. Самой популярной стала шутка про автоответчик ОВИРа: “Ждите отказа, ждите отказа, ждите отказа...”

— Шуша, — сказала ему Алла, — если мы уж решили ехать, надо что-то делать. Сидеть в подвешенном состоянии можно много лет. Надо суетиться. Конечно, всегда есть риск, что пошлют не на запад, а на восток, но застрять в этой *twilight zone** навсегда гораздо страшнее.

И он начал действовать. Познакомился с группой евреев-отказников. Эти как раз обладали “секретностью” и собирались ехать именно в Израиль. У них были связи с общинами в Израиле, Америке и Европе, откуда им слали посылки и иногда передавали деньги через дипломатов. Но самое ценное — они обладали информацией.

— Могу ли я чем-нибудь быть полезен? — спросил Шуша одного из активистов по имени Авидор. — Но должен предупредить, мы едем в Америку.

* Сумеречная зона (англ.).

Высокий бородатый Авигдор, одетый в новенький джинсовый костюм “варёнка”, внимательно рассматривал Шушу.

— На этом этапе, пока мы все в одной лодке, мы дружим с ношерниками, — сказал Авигдор. — Мы пока нужны друг другу, хотя морально вас осуждаем. Что вы умеете делать?

Слово “ношерник” Шуша уже знал. Он происходило от שושי, что значило “выпавший”, естественно, из лона Израиля.

— Я могу преподавать рисунок, живопись, историю архитектуры...

— А детям все это вы сможете преподавать? В нашем детском саду тридцать шесть детей — от трех до семи лет.

— Могу, конечно, — ответил Шуша. — Мне приходилось преподавать детям.

— Прекрасно, — ответил Авигдор, — но хочу предупредить. Это подпольный еврейский детский сад. Он находится под пристальным наблюдением. Вы сразу окажетесь под прицелом. Скорее всего, ничего с вами не случится, но никаких гарантий мы вам дать не можем. Вы принимаете на себя все риски. И имейте в виду, наша главная задача — подготовить детей к жизни в Эрец-Исраэль*. Главные предметы — иврит и иудаизм. Искусство и архитектура — для развлечения. Вы знаете иврит?

— Когда-то начинал изучать.

— Придется продолжить.

Так началась его новая, ни на что не похожая жизнь. Каждое утро он отвозил Мику и Нику в шко-

* Земля Израильская (ивр.).

лу, а потом ехал на метро к Белорусскому вокзалу, садился в электричку до станции “Пионерская”, шел десять минут по заснеженной Садовой улице до большого деревянного дома, вокруг которого постоянно ходили два мрачных типа в штатском. Несколько раз они его фотографировали. Дальше он входил в жарко натопленный дом, и его облепляли дети.

— А что мы сегодня будем рисовать? — кричала его любимица Полина.

— Сегодня, — отвечал преподаватель, уже начавший осваивать иудаику, — будем делать декорации к Пуриму. Кто помнит историю про Эстер и Мордехая?

— Я! Я! — дружно закричали дети.

— Хорошо, кто такая Эстер, или Эсфирь, как ее называют по-русски?

— Родственница Мордехая!

— И еще жена Ахашвероша!

— Отлично! А кто такой Мордехай?

— Он спас жизнь Ахашверошу!

— Правильно! А кто такой Ахашверош, или Артаксеркс, как его называют по-русски?

— Царь!

Какой страны? Задумались.

— Подсказываю: на букву “П”.

— Станция “Пионерская”! — крикнул остряк Гоша.

— Польша?

— Палестина?

— Персия!

— Правильно, Персия. Теперь выясним, что такое гоменташн?

— Знаем, знаем! Уши Амана!

— А кто такой Аман?

— Плохой! Хотел убить всех евреев, но евреи, наоборот, убили Амана, его десять сыновей и всех плохих...

— Очень хорошо, что у вас контакт с детьми, — сказал ему Авиغدор. — Но не надо забивать им голову русскими вариантами имен. Они будут жить в Израиле и русский язык, надеюсь, скоро забудут навсегда.

Шуша огорчился.

“Если я когда-нибудь приеду в Израиль, — думал он, — и найду там своих бывших учеников, то как мы с ними будем разговаривать? И вспомнят ли они меня?”

К этому времени он уже окончательно переехал на десятый этаж. У них с Аллой были все атрибуты счастливой семейной жизни — он возил детей в школу, чинил краны в ванной, бегал с судками в чудом сохранившийся пищеблок Дома правительства, они ели и спали вместе. Не хватало мелочи: они, говоря языком Торы, так и не познали друг друга. Как ни странно, ни его, ни ее это не беспокоило. Беспокоила неопределенность их положения. Олимпиада закончилась, а ОВИР так и не открылся.

В феврале ему неожиданно позвонила Анька и сказала, что ее друзья едут в фольклорную экспедицию в Полесье и им нужен фотограф.

— Ты хорошо снимаешь. Денег они не платят, но тебе, наверное, будет интересно посмотреть на места своих предков, — сказала она.

— Каких предков? Где это?

— Где-то между Минском и Пинском. Когда приедешь в Америку, узнаешь, что все американские евреи приехали как раз оттуда. До Второй мировой,

конечно. После войны евреев там, сам понимаешь, не осталось.

— Мне нравится это “когда приедешь”, — сказал Шуша. — Говори лучше “если”.

Алла отнеслась к идее Минска-Пинска положительно. — Поезжай, конечно, — сказала она. — Но что делать, если позвонят из ОВИРа?

— Дашь телеграмму, — сказал он. — Есть адрес: “Белорусская ССР, Брестская область, Пинский район, деревня Мерчицы”.

ПОЛЕСЬЕ

И снова Белорусский вокзал. Он много раз уезжал отсюда на электричках в Баковку, а потом на “Пионерскую”. А теперь — в Минск.

“Фотографу не платят, — думал он, идя со старым альпинистским рюкзаком по мокрому от растаявшего снега перрону, — значит, придется ехать в плацкартном вагоне, без белья, без чая и, уж конечно, без романтических приключений”.

Вагон оказался купейным. Два молодых человека уже лежали на верхних полках. Они смотрели в окно и негромко переговаривались.

— Привет, — сказал Шуша.

Они в ответ пробормотали что-то вроде приветствия. Он сел на левую нижнюю полку и тоже стал смотреть в окно. Там происходила трогательная сцена прощания. В раме окна это выглядело как кадр из какого-то знакомого фильма. “Застава Ильича”? “Романс о влюбленных”?

Молодой человек в модном черном пальто, без шапки, страстно целовал блондинку в дубленке. Оба, как показалось Шуше, слегка переигрывали. Вспомнились стишки пролетарского классика: “А фея, как гибкая ветка, в могучих руках извивалась”.

Поезд тронулся. В купе вошла блондинка, одетая в дубленку, с красным лицом и распухшими губами. Молодые люди слезли с верхних полок. Все четверо, как выяснилось, ехали в те самые Мерчицы. Пропахшая дымом проводница принесла чай. Шваркнув на столик четыре стакана в подстаканниках, она быстро и ловко застелила все четыре постели. Шуша пошел умываться. В левый туалет была большая очередь, но спешить было некуда. Он долго стоял в коридоре. После Вязьмы за окном не было ничего, кроме черных лесов. Бесконечная полоса черных деревьев. Когда вернулся в купе, свет был уже погашен и все, похоже, спали. Он быстро разделся и тоже лег.

Через несколько минут он почувствовал что-то вроде магнитного поля, исходящего от нижней полки напротив. Она не спит и ждет его? Как это может быть? После такого романтического прощанья?

Он быстро переполз на нижнюю полку справа. Да, она ждала его...

— Как тебя зовут? — прошептал он, когда они успокоились.

— Лика.

— Я буду тебя звать Ликенион. Можно?

— Иди к себе. Я хочу спать.

В Минске надо было пересесть на местный поезд. Он опаздывал, и им пришлось просидеть на вокзале почти сутки. Все были голодные и злые. Лика его де-

монстративно не замечала. Ладно, думал он, куда ты теперь денешься. В Пинске ждали автобуса, но никто не знал, когда он появится. Просидели еще полдня. Наконец приехал автобус, куда сразу ринулась толпа местных жителей. Кое-как втиснулись и потом тряслись по разбитой дороге еще несколько часов. Приехали в Лагишин. Вечер. Стали стучаться в сельсовет. Сонный мужик в резиновых сапогах и телогрейке объяснил, что дорогу развезло и доехать в Мерчицы можно только на тракторе с прицепом и только завтра. Ночевать можно здесь, в сельсовете, дрова он принесет.

Вся дорога от Белорусского вокзала до деревни Мерчицы заняла три дня. В последний день трактор с прицепом, увязая в глине, довез их до довольно приличного деревянного дома с двускатной крышей. Наружные стены были обиты досками и покрашены в грязно-голубой цвет. Над двумя окнами большими буквами белой известкой было написано “СЛАВА КПСС”. Внутри в единственной комнате стояли кровати с сетками и ватными матрасами. Белья не было. С потолка свисала пыльная электрическая лампочка.

Шуша понял, что в таких условиях продолжения игр с Ликенион ждать не придется, и пошел обследовать дом. В кухне стояла русская печь с лежанкой, там свободно могли поместиться двое. Он вернулся в комнату, где все уже поделили кровати и начали раскладывать вещи.

— Я вас покидаю, — торжественно объявил он. — Буду спать на печи, как Илья Муромец.

Лица бросила на него быстрый взгляд, ее губы скривились в еле заметную усмешку. Она по-преж-

нему игнорировала его. К вечеру печь была натоплена дровами, которые нашлись в сарайчике, пристроенном к дому. На горячей печи было жарко, спать можно было, только раздевшись догола и без одеяла. Он долго лежал, прислушиваясь, не идет ли к нему Лика, но она так и не появилась.

Не появилась и на следующую ночь. “Всё, — подумал он, — кончилась моя витальная сила. Растерял, пока трясся по земле предков”.

На третью ночь он уже перестал прислушиваться и сразу заснул. Его разбудил топот босых ног и скрип половиц, потом раздался звук падающей на пол тяжелой дубленки, и почти сразу же к нему прижалось жаркое тело.

Их жизнь теперь разделилась на дневную и ночную. Днем они были коллегами. Пока Лика беседовала со старухами и записывала заговоры, песни, свадебные и похоронные обряды, Шуша фотографировал. Бывшего члена “Клуба юных историков архитектуры” поразила почти стерильная чистота в избах, которая находилась в резком контрасте с грязью и разрухой вокруг. Дизайн интерьера, судя по всему, следовал древним, но сильно модернизированными традициям. Типичная изба выглядела так. В углу справа от входа висела напечатанная на бумаге икона в рамке для фотографий, покрытая рушником. Прямо под иконой на модернистском столике с коническими ножками, покрытом белой салфеткой с вышитыми гладью розами, стоял телевизор “Рекорд-В312”. Такими же салфетками, с разными узорами, были покрыты практически все горизонтальные поверхности. На полу лежали домотканые коврики. Самыми интересными оказались “паву-

ки”, которые изготовляла из ниток и щепок прикованная к постели веселая бабка в белом платке и пестром халате. Ее “павуков” они потом встречали и в других избах.

Обещанных Анькой следов своих предков Шуша не находил. Только в один из последних дней в деревне Велясница, куда они с Ликой ходили записывать похоронные обряды, он увидел несколько полуразрушенных надгробных камней. На одном из них можно было увидеть куски сохранившейся надписи. Опыт детского сада на станции “Пионерская” пригодился. Он разобрал и даже сумел перевести следующее: כּאן נקבר שׁולץ ל״ב הרב, что значило “Раввин Лейб Шульц был похоронен здесь”. Мог ли это быть его прадед? Мог. Но Шульцев много.

...Ночью начиналась другая жизнь, о которой никто из обитателей дома не догадывался. Только капризный Вася жаловался:

— Кто-то каждую ночь топает, спать невозможно, неужели нельзя сбегать в сортир заранее?

Она прибежала каждую ночь. Первые несколько ночей они не разговаривали. Жадно бросались друг на друга; а потом пришла неторопливость, и он внимательно исследовал ее горячее тело. Роберт Стрит, автор “Современной сексуальной техники”, остался бы им доволен.

— Что за странное имя Ликенион? — однажды спросила она шепотом. — Почему ты хотел меня так называть?

— Греческий роман второго века, — прошептал он в ответ. — Мальчик и девочка, Дафнис и Хлоя. Сироты. Его выкормила коза, ее — овца. Они пасут коз

и овец и влюбляются друг в друга. Ему пятнадцать, ей тринадцать. Не знают, что делать. Пробуют разные позы, но ничего не получается. Он говорит: “Надо обниматься голыми, я в книжке читал”. Пробуют — ничего не происходит. У него новая идея: “Ты встанешь на четвереньки, как овца, а я сзади, как баран”. Пробуют — опять ничего не происходит. Он убегает в слезах: “Я глупее барана!” Мимо идет женщина по имени Ликенион. “Что ты плачешь, мальчик?” Он ей все рассказал. “В угоду Нимфам, — говорит благочестивая женщина, — я тебя всему научу”. Научила, и он тут же счастливый помчался к своей Хлое — поделиться. Знаменитый сюжет.

— У тебя-то с кем не получается? — спросила она с коротким смешком. — Почему пошел ко мне в ученики?

— Как ни странно, с женой.

— Она что, девственница?

— Не знаю. У нее двое детей.

— Твоих? Ах, нет, прости! Но это правда странно. Может, у вас в доме не топят? На печке вроде получается.

Примерно через месяц к ним на тракторе приехал председатель колхоза.

— Шульц! Есть такой? Телеграмма из Москвы.

Судя по дате, телеграмма шла три дня, столько же, сколько занял их переезд Москва — Мерчицы. Она была краткой и без подписи: “Срочно приезжай”. Все было понятно.

— Срочно вызывают в Москву! — сказал он председателю. — Поможете уехать?

— Даю тебе пять минут на сборы! Я еду в Логишин. Успеешь — отвезу.

Никого в доме в этот момент не было. Он побросал вещи в рюкзак, нацарапал карандашом на клочке бумаги “Срочно вызвали в Москву всех обнимаю Ш”, вскочил в прицеп трактора и затрясся на комьях полузасохшей глины. Перед поворотом оглянулся. Последнее, что осталось у него в памяти, была надпись белой извешткой по грязно-голубому фону “СЛАВА КПСС”.

Слава Карнальному Познанию Собственной Сушности! Слава Краткому Приключению с Сексапильной Студенткой! Слава Козлам Предающимся Сомнамбулическому Сексу!

**СТИХИ, СОЧИНЕННЫЕ ШУШЕЙ В ПРИЦЕПЕ
К ТРАКТОРУ, ВЕЗУЩЕМУ ЕГО ИЗ ДЕРЕВНИ
МЕРЧИЦЫ В ЛАГИШИН 18 МАРТА 1981 ГОДА**

Я покидаю этот грустный край.
В иных широтах вряд ли будут сниться
Фронтон избы, полузамерзшая синица
И полуразвалившийся сарай.

В иных краях не будет места лени,
И вряд ли вспомню я прокуренный рассвет,
Звук паровоза, водокачки силуэт
И женщины шершавые колени.

А церковь здесь промерзшая пуста,
Лишь электричество горит в глуби абсиды.
Здесь умирали правоверные хасиды
За то, что предки их не приняли Христа.

Что привело в промерзшие поля
Моих прапрадедов в засаленных ермолках?
Прабабки лопотали без умолку,
Решив, что здесь обетованная земля.

Забудь печальный этот вид
И снегом занесенные могилы,
На камне очертанья буквы гимел
И полустершийся могоендовид.

Прощай, полуродной промокший край.
Прощайте, перепуганные куры.
Забуду вас, и пряди белокурой
С собой не увезу в заморский рай.

Прощай, туман на берегу.
Ты мне вослед не должен больше статься.
Прости меня, я не могу с тобой остаться.
Прости меня. Я еду. Я бегу.

БЕГСТВО

— Представляешь, — сказала Алла, как только он ввалился в квартиру в грязной куртке с еще более грязным рюкзаком, — звонят из ОВИРа и говорят таким раздраженным тоном: “Вы когда за визой придете? Сколько можно вас ждать! У вас всего восемнадцать дней осталось. Не уедете — визу аннулируем”.

“Так, — думал Шуша, раздеваясь, — телеграмма шла три дня. Еще три дня я добирался до Москвы. Остается двенадцать дней. Срочно ехать в ОВИР за визами. Потом в Шереметьево за билетами в Вену.

Потом чемоданы в таможню. Потом прощание с родственниками и друзьями. Получается больше пятидесяти человек. Как их всех разместить?”

В ОВИРе все произошло быстро. Их назвали предателями родины, демонстративно порвали советские паспорта, сказали, что они никогда не вернуться на родину, и выдали какие-то мятые бумажки с печатями и их фотографиями.

Любопытно, что уроки Ликенион сработали, карнальный контакт с Аллой состоялся. Первый раз это показалось им чем-то вроде принудительной физиотерапии. Потом оба долго со смехом обсуждали, что именно это было — они действительно были скорее друзьями, чем любовниками. Потом постепенно, как старый паровоз, с усилием набирающий скорость, выпуская пар и прокручивая колеса на месте, они дошли до вполне приемлемых результатов, то есть примерно до того уровня, к которому супруги приходят на десятом году брака.

Билеты были куплены на 31 марта. Гости приглашены на пятницу 27-го. Утром поехали сдавать чемоданы на проверку в таможню. Там выяснилось, что все словари русского и английского языков, преподаванием которых Алла собиралась зарабатывать, взять с собой нельзя.

— Но они мне нужны для работы, — говорила Алла таможеннику.

— А что у вас за работа?

— Я преподаю в педагогическом институте.

— Вот принесите нам справку оттуда, и мы вам разрешим взять словари.

Алла помчалась на такси к себе в пединститут, а Шуша поехал домой готовиться к приему гостей.

Через полтора часа влетела растрепанная Алла и закричала с порога:

— Катастрофа! В отделе кадров меня спрашивают, куда справка. Я говорю, в ОВИР. Зачем? Для выезда на ПМЖ. Что?! Вы что, не знаете, что вы обязаны сначала уволиться? Мы сейчас позвоним в ОВИР и потребуем, чтобы они аннулировали вашу визу...

— Подожди, — сказал Шуша, которого это сообщение неожиданно привело в спокойное и сосредоточенное состояние. — Смотри, сейчас уже шесть часов вечера, пятница. Сегодня они звонить не будут, а если даже будут, в ОВИРе все уже разбежалось по домам. Завтра ОВИР не работает. Ты сиди развлекай гостей, а я поеду в Шереметьево и попробую поменять билеты на завтра. На всякий случай ничего никому не говори, скажи, я застрял на таможне.

Схватив единственный полностью упакованный чемодан, он выскочил на Большой Каменный мост, тут же поймал такси и помчался в Шереметьево — экономить деньги было уже бессмысленно. В вестибюле аэропорта почти никого не было. За окном кассы “Аэрофлота” сидела девушка в темно-синей форме.

— Я хотел бы поменять билеты, — сказал Шуша как можно более незаинтересованным тоном, хотя сердце бешено колотилось.

— Виза есть? — спросила девушка.

— Есть. Вот виза и билеты.

— Когда хотите лететь?

— Чем скорее, тем лучше.

Она полистала что-то вроде амбарной книги.

— Билеты на Вену есть на завтра. Вас устроит?

Он сделал вид, что размышляет, хотя сердце билось еще сильнее.

— Пожалуй, подойдет, — сказал он задумчиво.

— Цена такая же, доплачивать не надо.

Он молча кивнул. Девушка что-то писала на бланке.

— Вот ваши новые билеты.

Схватив визу, билеты и чемодан, уже забыв про конспирацию, он помчался через весь зал к телефону-автомату и стал звонить другу Женьке.

— Привет, — сказал Женька. — Ты нас с Витькой поймал в дверях, мы уже ехали к вам на проводы...

— Я не дома! Можете взять такси в Шереметьево? — прокричал он в трубку. — Я заплачу. Жду вас у входа в таможню.

Когда они наконец встретились, было уже около девяти вечера. По стеклянному коридору таможни тянулась огромная очередь. Стало ясно, что им предстоит провести в этом стеклянном пространстве всю ночь.

— Ты садись на чемодан, — сказал Женька, — мы пока постоим.

— Садись ты, — ответил Шуша. — Будем меняться. Я сидеть не могу. Меня все еще колбасит.

Их очередь подошла около шести утра. Они были последними. Два сонных таможенника в зеленой форме, примерно того же возраста, что и они, лениво потыкали в открытый чемодан, потом один из них махнул рукой и сказал:

— Всё, идите домой. Всё в порядке. Чемодан получите в Вене.

Шествуя по стеклянному коридору, в полной тишине опустевшего аэропорта, друзья услышали, как один таможенник сказал другому:

— Симпатичные ребята.

— Да, — сказал другой со вздохом. — Обычно приходится иметь дело с такой серой массой.

Домой Шуша вернулся около семи утра. Гости уже разошлись. Во всех четырех комнатах были навалены бумажные тарелки с остатками еды, пластиковые стаканчики с недопитым красным вином, пол усеян окурками. Стоял тяжелый запах кислой еды, смешанный с табачным дымом. В их спальне на кровати сидели сонные и не совсем трезвые Алла с сестрой Нинкой.

— Ну что? — спросила Алла.

— Буди Мику с Никой. Через четыре часа вылет.

— А вещи?

— Чемодан сдан в таможню. Про остальные забудь.

— Правильно! — вдруг громко произнесла очнувшаяся Нинка. — Именно так из этой блядской страны и надо уезжать! Все бросить и рвать когти.

ПЕРЕЛЕТ

Последние четыре часа, до того мгновения, когда Ту-134Б оторвался от взлетной полосы, Шуша и Алла находились в панике. А что если отдел кадров все-таки позвонил в ОВИР? Когда они уже сидели в самолете, каждый новый входящий пассажир казался им то милиционером, то пограничником. Вошел кто-то похожий на Сергея Ивановича, Шуша вжался в кресло, но тот прошел мимо.

— Ну всё, — облегченно сказала Алла, когда они наконец взлетели.

— Подожди. Мы еще над советской территорией.

Он все еще не решался выпустить из рук их единственную ручную кладь — пишущую машинку “Рейнметалл”. Вместе с Аллой, Никой и Микой машинку можно было считать наследством Сеньора. Обещание “вернуть Аллу в целостности и сохранности” было перевыполненным.

С пассажирами этого рейса, а их было 76, произошла метаморфоза: до пересечения границы они были эмигрантами, а сразу после — иммигрантами. Сами они этой метаморфозы пока не ощущали. В Вене их встречали представители конкурирующих агентств — израильского Сохнута, толстовского фонда, Джойнта, ХИАСа и других. Сохнутовец в черном костюме и черной шляпе стоял прямо у трапа и голосом строгого директора школы говорил по-русски без акцента:

— Так. Документы сюда, пожалуйста! Быстро, не задерживаем остальных! Документы!

Пассажиры, включая Шушу с Аллой, безропотно протягивали ему свои документы. Если бы эти люди не провели всю свою жизнь в СССР, они бы наверняка сказали: кто вы такой? Покажите сначала ваши документы. Мои документы останутся у меня.

Но такая дерзость не могла прийти им в голову, как прекрасно понимал сохнутовец, такой же иммигрант из СССР, но приехавший на несколько лет раньше. Представители Толстовского фонда, Джойнта, ХИАСа и других организаций стояли неподалеку и не делали попыток вмешаться — они знали, что статистика на их стороне. Когда всех погрузили в автобусы, Шуша пересчитал, их было 70. Значит, шесть человек откуда-то знали, что у них теперь есть право

выбора. Кто-то их предупредил или дошли своим умом?

Окна в автобусах были закрыты шторами — опасались терроризма. Лагерь, в который их привезли, был окружен колючей проволокой, и по периметру ходили израильские автоматчики.

Всех рассадили в большом зале, и началась регистрация.

— Те, кто собираются ехать в Израиль, поднимите руки, — сказал сохнутовец.

Поднялось пятнадцать или двадцать рук.

— Это все? — спросил он. — Вы откуда? — обратился он к семье из шести человек с двумя детьми и довольно старыми дедушкой и бабушкой.

— Из Кишинева.

— Куда собираетесь?

— В Канаду.

— А вы?

— В Америку.

— Вы?

— В Америку.

— Так, — продолжал сохнутовец, — а вы знаете, какое количество денег ваша родина потратила на то, чтобы вывести вас из советского пленения? Где ваша благодарность? Вы понимаете, что вы изменники родины?

Шуша с Аллой переглянулись. В течение всего нескольких дней они стали изменниками сразу двух родин.

В этом лагере, по каким-то техническим причинам, они провели только сутки, намного меньше, чем уехавшие раньше знакомые. К большому огорчению архитектора Ш, мечтавшего о встрече с Вен-

ским сецессионом, в город их так не выпустили. Им досталась еще одна коллективная беседа, на которой почти дословно повторялось все то, что Шуша слышал на станции “Пионерская” от Авигодора: “Вы пользуетесь возможностью, пробитой с огромным трудом для других людей и для другой цели. Пробивали бы честно для себя свою Америку”.

“Это звучит справедливо, — размышлял Шуша, — но не реалистично”.

Ночной поезд Вена — Рим, по письмам уехавших друзей, был ужасным: только сидячие места, ни капли воды, адский холод, вагоны запломбированы снаружи, дети страдают. В реальности все оказалось гораздо лучше. Вагон действительно был сидячим, но наш архитектор быстро сообразил, что сидения можно разложить и превратить в одно сплошное ложе, на котором все четверо разместились вполне комфортно. Вагоны действительно были заперты снаружи, но именно это уберегало их от толп пассажиров, атаковавших поезд в Болонье и Флоренции.

“Да, — думал Шуша, — нас ввозят в Италию примерно так же, как ввозили в Россию большевиков из Германии, то есть «как чумную бациллу», по словам Черчилля. Немцы хорошо знали лозунги, ввозя таким способом большевиков, они пытались вывести Россию из войны, которую Германия уже почти проиграла. «Чумная бацилла» сработала, Россия развалилась. Теперь держись, Италия!”

Дети не страдали. Мика и Ника носились по вагону, осваивая чудеса техники — откидные столики, стульчики, педали под умывальниками, держалки для бутылок, бумажные полотенца, регуляторы температуры. Кстати, и обещанного адского

холода не было, наоборот — жара. Из соседнего купе пришел, шаркая шлепанцами, дедушка из кишиневской семьи.

— У этих итальянцев ничего не работает! — ворчливо сказал он. — Регулятор температуры! Фикция! Я пробовал ставить на самую холодную — еще жарче.

— В какую сторону вы крутили? — спросил Шуша.

— Туда, где написано *Caldo*.

— *Caldo* по-итальянски “горячий”, — сказал Шуша, он как-никак был владельцем итальянско-русского словаря, подаренного когда-то Сеньором.

— Не морочьте мне голову! *Caldo! Cold* по-английски.

— Попробуйте крутить в другую сторону. “Холодный” по-итальянски *Freddo*.

Кишиневский дедушка посмотрел на него с выражением: дурят нашего брата!

Рано утром они проснулись от крика: “Падаю!” Это остряк Мика услышал произнесенное по-русски в коридоре название города Падуя. Спать больше не хотелось. Пейзаж за окном напоминал Судак — горы, пирамидальные тополя, цветущий миндаль. Названия станций звучали, как билеты к экзаменам по истории архитектуры — Флоренция, Ареццо, Орвието. Вместо чисто вымытой Австрии за окнами проносилась грязная южная раскованная Италия. По перронам не спеша двигались холеные мужчины с бородами, усами, темными очками и с таким чувством собственного достоинства, что его хватило бы на три эшелона советских иммигрантов.

...Первое, что они увидели, когда их привезли в пансион Ламармора в Риме, — это висящий на

стене телевизор, по которому снова и снова показывали кадры покушения на президента Рейгана. Вот он поднимает правую руку. Вот начальник охраны Парр бросается на президента и швыряет его на пол бронированной машины. Вот президентская машина рвет с места и исчезает. Вот двое раненых — полицейский Делаханты и пресс-секретарь Брэйди.

“Да... — подумал Шуша. — В интересную страну мы собрались”.

Бросив вещи в пансионе, они отправились бродить по незнакомому городу. Впрочем, незнакомым его можно было назвать только условно. Наш архитектор вдруг понял, что этот город он знает. Пройдя через пьядцу Витторио Эммануэле, они оказались перед базиликой Санта Мария Маджоре. Тут Шуша поразил Аллу, немедленно сообщив ей, что базилика была построена не при папе Сиксте III, как считают многие, а при папе Целестине I, то есть на восемь лет раньше, и что золото для кессонированного потолка Джулиано да Сангалло привез Колумб, а Фердинанд и Изабелла подарили это золото папе Александру VI.

Перед самым отъездом из Москвы, повинувшись непонятному импульсу, Шуша купил себе в Военторге черные высокие солдатские ботинки. Никакой другой мужской обуви в их единственном чемодане не оказалось. Ходить в солдатских ботинках было пыткой, они были рассчитаны на существ с какой-то другой анатомией. Поэтому сразу после осмотра интерьера базилики было решено купить главе семьи дешевые тапочки. Если бы они прожили здесь хотя бы месяц, они бы знали, на какой толкучке и за

сколько их надо покупать. Но они к этому времени прожили в Риме меньше часа. С вынужденной неторопливостью двигаясь по улице Джаберти, они оказались перед обувным магазином *Antoni*. В витрине, рядом с туфлями стоимостью в две-три *mille lire*, стояли спортивные тапочки всего за 150, то есть 15 долларов. Теперь, когда они уже были под крылом у Джойнта и ХИАСа, можно было позволить себе потратить 15 долларов из 500, которые им разрешили вывезти из страны социализма.

Внимательно изучив витрину, все четверо решительно вошли в магазин. К ним направился улыбающийся хозяин, видимо, сам *Antoni*. Шуша заговорил с ним по-английски с интонацией, которая должна была создать примерно такой образ: “Мне, прогуливающемуся американцу, случайно оказавшемуся в вашем городе, неожиданно захотелось переобуться ну, скажем, в эти теннисные туфли, которые я заметил у вас на витрине”.

Antoni понимающе кивал. Всех четверых усадили в кресла, и через две минуты приказчик или, если угодно, *commesso* принес требуемые модель и размер. Военторговские ботинки Шуша снял сам, надевать тапочки ему мягко, но решительно не позволили. Их бережно надели, зашнуровали так, чтобы не давило, но и не болталось. Старые ботинки почтительно уложили в красивый полиэтиленовый пакет с рекламой магазина.

— Тебе этот пакет насовсем отдали? — с замиранием сердца спросил Мика.

Они вышли из магазина, уже слегка отравленные потребительской идеологией. Мика и Ника, которые до этого момента все еще ходили с презри-

тельными рожами — придумали какую-то глупость, ехать в какую-то за границу, не дали взять щенка и бабушку, — теперь бросались к каждой витрине с отчаянным криком “купи!”. Этот крик спущенных с цепи советских детей мог относиться к миллиону предметов — к бананам, ананасам, кока-коле, жвачке, пирожным, кексам, печенью, каким-то диким шоколадным яйцам размером с человеческую голову, электронным роботам с программным управлением, омерзительным картинкам с подмигивающим голографическим Христом, джинсовым комбинезонам, маслинам “размером с голубиное яйцо”, подумал Шуша, никогда не видевший голубинового яйца, живым собачкам в магазине *Tutto per la cane*^{*}, нелепым фарфоровым тиграм и брелокам, брелокам, брелокам...

Все это обладало наркотическим эффектом, и если бы, к несчастью, у них водились деньги, противостоят этому было бы невозможно. Даже если ты равнодушен к замшевым пиджакам, то расколешься на пластинках, книгах, горных лыжах, цветах, теннисных ракетках, фруктах, плеерах *Sony Walkman* или на миллионе других достижений либерального капитализма.

К концу дня все почувствовали страшную усталость. Архитектор Ш злился, что смотрел не на *San Carlo alle Quattro Fontane*, а на мешанскую роскошь, но потом задумался: а так ли глубока пропасть, отделяющая одно от другого? Не из одного ли источника черпали вдохновение Борромини и безвестный создатель подмигивающего Христа?

* Всё для собаки (итал.).

На этой глубокой мысли закончился первый день в Риме. Таких дней в их римском сроке, от звонка до звонка, было ровно восемьдесят семь.

ХИАС

Организация ХИАС (*Hebrew Immigrant Aid Society*) была создана, как им рассказали, в 1881 году в Нью-Йорке. После убийства Александра II началась волна еврейских погромов, главным образом на юге России (в Израиле ее называют “суфот ба-негев” — “бури на юге”). Тысячи евреев пытались бежать в Америку. Тем, кому удалось, ХИАС помогал с жильем и работой. В результате к 1920 году еврейское население Америки достигло трех с половиной миллионов.

Римское отделение ХИАСа занималось непосредственно эмиграцией, связывалось с американскими еврейскими общинами и заботилось о трудоустройстве. Другая организация, Джойнт (*American Jewish Joint Distribution Committee*), занималась главным образом бытом, давала иммигрантам деньги (которые потом, по приезде в Америку, надо было отдавать постепенно, по мере возможности, без нажима и дедайна). Джойнт нанимал переводчиков с английского на русский и обратно, потому что еврейско-итальянские дамы из Джойнта свободно говорили по-английски, а большинство советских иммигрантов не говорило ни на каком языке, кроме русского, а иногда и по-русски так, что наш “мальчик из интеллигентной семьи” невольно морщился.

Когда через несколько недель Шуше удалось устроиться переводчиком, он с гордостью писал в письмах, что он теперь “реальный агент Джойнта”. Задумывался ли он, что стало бы с его родителями, если бы он послал подобное письмо в середине 1930-х?

Контора ХИАСа, где вся семья провела много часов, оказалась дикой смесью советского бюрократизма и итальянской бесшабашности плюс все то, что каждый привез из своих Ясс, Кишинева, Ростова или Киева. Обстановка, говорил Шуша Алле, напоминала ему профсоюзные санатории. Алла кивала, хотя прекрасно знала, что ни в одном профсоюзном санатории Шуше побывать не довелось.

— Вас направили к врачу Моретти? А нас к Симончини.

— Вас поселили на виа Аппия? А нас на виа Венти Сетtembre.

— У вас в номере есть ванна? У нас тоже нет.

— А у Рабиновича душ. Но огромные тараканы.

— Они на самом деле не Рабиновичи. Их настоящая фамилия Гнатюк.

— Seriously? Тогда ХИАС ими заниматься не будет. Им теперь только Толстовский фонд.

— Да вы что! Толстовский фонд занимается только деятелями искусств.

— Да, но бывают исключения.

Шуша, с его православной матерью, ни у кого подозрений не вызвал. Видимо, перевесила фамилия. Аллу, по паспорту Семенову, долго разглядывали в фас и профиль, требовали имена и отчества всех предков, но в конце концов приняли. В общем, проскочили, как шепнул им сотрудник ХИАСа.

Но проскочили не все. Миша Штейн, который жил в том же пансионе, внезапно исчез. Как-то Шуша столкнулся с ним на улице Карло Альберто.

— Привет, куда ты делся?

Миша рассказал свою историю. Его мать русская. Отец еврей, но абсолютно не религиозный. Про еврейские обычаи и праздники Миша никогда в жизни не слышал. Про православные тоже. Когда в ХИАСе его начали допрашивать, у них возникли вопросы.

— Вы еврей? — спросил по-английски Мишу его ведущий Томазо Гринберг.

— Да.

— Знакомы с еврейскими обычаями и праздниками?

— Конечно, — бодро ответил Миша.

— Вы, конечно, знаете, что во время молитвы евреи надевают что-то вроде покрывала. Не помните, как оно называется?

Тут Миша вспомнил, что когда ему было шесть лет, его водили к какому-то дальнему родственнику, ортодоксальному еврею. Родственник делал что-то странное. На нем было покрывало, а к руке ремешками была привязана коробочка. Два странных слова, которые Миша тогда услышал, — талес и тфилин — он запомнил навсегда, возможно, именно из-за их странности. Поэтому на вопрос Томазо уверенно ответил:

— Вы имеете в виду талес?

— О! — удовлетворенно произнес Томазо и что-то записал в деле Миши. — Тогда ответьте еще на один вопрос, во время молитвы на руку надевают...

— Вы имеете в виду тфилин? — радостно перебил Миша.

— О!! — еще более удовлетворенно произнес Томазо и опять что-то записал. — Ну, и последний вопрос: как вы думаете, что находится в этой коробочке?

Тут Миша задумался. Других слов он не знал. После минутного размышления неуверенно предположил:

— Тело Христово?

Сейчас, как он объяснил Шуше, он шел в Толстовский фонд. Здесь недалеко.

SIKORSKY

Через месяц жизнь потеряла всякую “заграничность” и стала просто жизнью. Их выпихнули из Ламармори, где, с одной стороны, тридцать человек должны были спать в одной гигантской комнате, но, с другой, бесплатно кормили. Надо было искать квартиру. Большинство знакомых рвалось к морю. Сравнительно недорого можно было поселиться в Остии или в Ладисполи, но наш архитектор заявил, что из Рима не уедет, плавать намерен только в Атлантическом или, в крайнем случае, Тихом океане и в эту Остию его увезут только в наручниках. Алла, которая начала ходить на курсы итальянского, с ним согласилась, и они сняли квартиру на улице Вестричио Спуринна у станции метро “Нумидио Квадрато” на юго-востоке от центра.

Каждый месяц Джойнт выдавал им 450 *mille lire*, еще 80 Шуша зарабатывал в том же Джойнте переводчиком с английского. Денег хватало, но с трудом,

тем более что они потихоньку начали откладывать на поездку в Венецию и Флоренцию.

Теперь они уже точно знали, где можно купить джинсы за тридцать, а где за семь — правда, похуже и не модные. Им уже было известно, на каком рынке надо покупать *zampa di tacchino*, потому что дешевле ноги индюка могут быть только крылья индюка, которые *rifugiati sovietici** уже окрестили “крыльями советов”.

Письма от родственников и друзей приходили на Центральный почтамт *fermo posta*, до востребования. Однажды Шуше там выдали две бандероли из Женевы от некоего *H. Sikorsky*, адресованные *A. Schultz*. Он их взял, хотя по-английски его фамилия обычно писалась *Shults*. В одной бандероли были две книги Зиновьева, “Зияющие высоты” и “Желтый дом”, в другой, огромной, среди килограмма опилок лежало несколько небольших шоколадных конфет. “Зияющие высоты” Шуша с Аллой уже читали, рецензии на “Желтый дом” были кислые, но конфеты выглядели привлекательно.

— Нет, — твердо заявил Шуша оживившимся при виде конфет детям, — сначала надо ответить неизвестному благодетелю.

Сел и написал вежливое, слегка игривое письмо по-английски, что, мол, спасибо вам, *Mr. Sikorsky*, книжки так себе, но конфеты выглядят замечательно. Ответ пришел через две недели. Он был написан по-русски: “Я не могу понять, как Вы могли решиться получить и распечатать бандероли, которые были адресованы не Вам. Конфеты Вы можете оставить

* Советские беженцы (итал.).

себе, но книги я прошу Вас немедленно передать Аркадию Шульцу”.

Лже-Шульцу стало стыдно. Он помчался в Джойнт и стал спрашивать, не знает ли кто его однофамильца.

— Аркадий Шульц? Как же. Он завтра рано утром улетает в Америку. Переводчик Набокова. Получил место в Гарварде. Живет недалеко от тебя у Понте Лунго. Вот его адрес.

Станция “Понте Лунго” была на той же линии, что и “Нумидио Квадрато”.

Когда Шуша наконец нашел квартиру, было уже десять вечера. Он позвонил в дверь. Дверь открыл лысеющий молодой человек в черных трусах, синей майке и квадратных очках. Он с недоумением смотрел на Шушу, стоящего в дверях с большим пластиковым пакетом. В комнате был полный бардак. На кровати стоял открытый чемодан, заваленный вещами. Бросились в глаза разбросанные по столу фотографии. На одной была женщина, напоминающая актрису Целиковскую.

— Я почти ваш однофамилец, — сказал Шуша, — Александр Шульц, но по-английски пишется по-другому. Мне по ошибке на почте выдали две ваших бандероли от некоего *H. Sikorsky*. Там были вот эти книги и конфеты.

— Так это же от Елены Владимировны! — воскликнул молодой человек. — Я все ждал от нее книг. Что за книги?

— Александр Зиновьев.

— Оставьте себе, — разочарованно произнес Аркадий. — Мне некуда класть. К тому же я не вполне разделяю ее любовь к этому автору. Изви-

ните, не могу вам ничего предложить, тут даже сесть негде.

— Нет, нет, спасибо. Не буду вам мешать, скажите только, кто она такая?

— Вы не знаете? Елена Владимировна! Сестра Набокова!

— О боже! Я понятия не имел. Вы ведь, кажется, его переводили. Мой любимый писатель.

“Зря не расспросил этого Шульца, — думает Шуша по дороге домой, — может, мы родственники? Может ли он быть сыном дяди Левика? Нет, слишком молод. Дяди Арика? Маловероятно, тот был без ума от своей Дорочки. Отца? Какое-то отдаленное сходство есть. Учитывая отцовскую одержимость сексом...”

Дома он немедленно сел за “Рейнметалл” и, игнорируя протесты сонной Аллы, тут же напечатал письмо.

6 МАЯ 1981 ГОДА

Глубокоуважаемая Елена Владимировна!
Прежде всего спешу сообщить, что мне удалось разыскать Аркадия Шульца. На следующий день он должен был улетать в США, поэтому попросил отправить книги обратно Вам, а шоколад отдать детям. Я хотел бы объяснить, почему я решил, что посылки адресованы мне. Фамилия Шульц пишется по-разному. Мне доводилось получать письма и бандероли, адресованные и *Shults*, и *Schultz*. Прошу Вас извинить

меня, мне следовало сначала написать Вам, а потом получать посылки.

С глубоким уважением, Александр Шульц

Ответ пришел довольно быстро. Это была бандероль. На этот раз адресат был написан правильно — *Alexander Shultz*. Внутри была книга *Ada, or Ardor: A Family Chronicle* и письмо:

12 МАЯ 1981 ГОДА

Дорогой Александр!

Какое забавное недоразумение! Рада с Вами познакомиться, хотя и таким необычным образом.

Читайте книги, возвращать их, и тем более шоколад, мне не надо. Аркадий уже успел мне позвонить и сообщить, что Вы поклонник моего брата. Рада это слышать! Посылаю один из его романов. Один из недооцененных, на мой взгляд.

Всего Вам доброго!

Уважающая Вас,

Елена Сикорская

— Вот, — думает Шульц, — в мировую архитектуру пока войти не удалось, а в историю литературы я вроде бы уже попал.

Он отдал обе книги Зиновьева коллеге из ХИАСа, а сам уселся читать недооцененный роман. Типичная для Набокова шахматная игра с читателем, с ловушками и капканами, здесь была доведена до абсурда. Пожалуй, пост любимого писателя теперь можно снова считать вакантным.

ПИСЬМО ШУШИ О ВЕНЕЦИИ И ФЛОРЕНЦИИ 12 МАЯ 1981 ГОДА

Здравствуй, дорогой папа. Мы долго мечтали съездить в Венецию и Флоренцию, и вот, по счастливому стечению обстоятельств, все получилось. Правда, совсем не так, как в нашем воображении. Лучше или хуже? *È una bella domanda**.

Почему это стало возможным? Во-первых, Нику с Микой мы смогли оставить нашей соседке Тамаре. За неделю до нас Тамара ездила в аналогичную поездку и оставляла нам свою Веру. Этот обмен нельзя считать равноценным, ибо мы оставались с тремя детьми вдвоем, а Тамара — с теми же тремя — одна, что свидетельствует о высоких моральных качествах Тамары и нашем беззастенчивом потребительстве.

Без моей зарплаты в Джойнте мы вряд ли смогли бы поехать, особенно учитывая украденные у меня в автобусе 150 долларов. Сообщаю об этой краже как о свидетельстве нашего возросшего благосостояния — украли 150 долларов, а мы пьем кокосы, жрем бананы и путешествуем.

Поезд отходил от вокзала Термини в 00:25. Метро в Риме работает до 10:30. Поехали на ночном автобусе. В рюкзаке лежали одолженные у Тамары два спальных мешка и книга Муратова “Образы Италии”, которую я ни разу не открыл в Риме, но теперь решил, что пора. Перед тем как сесть в автобус, Алла пересчитала деньги и выяснила, что взяла с собой только 60 тысяч, а не 70, как собиралась. Мы, конечно, успели бы вернуться еще за одной десяткой, но

* Хороший вопрос (итал.).

Алла мудро заметила, что чем меньше денег мы возьмем, тем меньше истратим. Как потом выяснилось, мы съездили из Рима в Венецию, Флоренцию и обратно за 60 тысяч, чего со времен императора Веспасиана не удавалось никому, — правда, в последний день мы почти ничего не ели, кроме двух чашек кофе, одного куса пиццы и одного мороженого на двоих. Даже легендарно прижимистый Веспасиан, подозреваю, за день съедал больше.

Вокзал Термини живет круглосуточно. Тут в любое время дня и ночи можно купить газету, книгу, порнографический журнал и *tramezzino**. На полу в спальнях мешках спят иностранные студенты, бродят подозрительные личности — в общем, идет богатая ночная жизнь. Когда подошла моя очередь в кассу, я твердо произнес:

— Венеция — Фиренце — Рома. Эспрессо. Дуэ билетти.

Кассир набрал что-то на своей кассе, и на небольшом экране появились цифры: 15 000, что было гораздо меньше, чем я ожидал. Я радостно протягиваю ему две бумажки по 10 000, а он пальцем показывает на третью, которую я сжимаю в кулаке, и поясняет:

— Пер ун билетто!

Поэтому билеты туда и обратно нам стоили 30 000, а это уже намного больше, чем мы рассчитывали, на все остальное оставалось только 30 000, то есть 30 долларов.

Я вытребовал у Аллы жестяную банку пива, мотивируя это тем, что плохо сплю в поездах. Простодушная, доверчивая и щедрая Алла согласилась

* Треугольный сэндвич (итал.).

(осталось 29). Мы довольно быстро нашли наш вагон, где почти никого не было, вошли в пустое шестиместное купе, убедились, что сидения легко раздвигаются и превращаются в кровати, закинули рюкзак наверх, закрыли стеклянную дверь, опустили штору, открыли пиво и блаженно развалились в креслах.

Здравствуй, Вита Нова, она же Дольче Вита! Еще месяц назад нас, перепуганных беженцев, с трудом отличающих *Caldo* от *Freddo* и *Dolce* от *Salato*, везли в plombированном вагоне, как продавшуюся большевикам чумную бациллу, а сейчас мы, свободные люди, едем куда хотим, захотим — выйдем, захотим — поедем в другую сторону...

— Кстати, — говорит Алла, — а мы в ту сторону едем? Там на вагоне что-то непонятное было написано.

Я встаю, давая понять своим видом, что, как *gentiluomo*, конечно, исполню этот каприз *bella signora*, но никаких оснований для беспокойства нет. Иду в соседнее купе, где сидит пожилой итальянец в твидовом пиджаке с газетой *Paese Sera*, и спрашиваю, в Венецию ли идет этот поезд. Он начинает махать своими твидовыми рукавами в смысле нет, какая там Венеция, этот вагон идет в Верону, а в Венецию идут только головные вагоны! Мы хватаем рюкзак, недопитое пиво и выскакиваем на перрон. До отправления остается три минуты. Два неудавшихся веронца несутся вдоль поезда, расплескивая пиво, находят нужный вагон, десять раз переспрашивают, идет ли он в Венецию, и только после того, как пять человек почти хором раздраженно отвечают *si!*, запрыгивают в вагон, который, конечно же, перепол-

нен, находят купе, где сидят только четыре человека, в изнеможении падают в кресла, и поезд трогается. Начинается мучительная ночь в сидячем вагоне — полусон, полубред, полубодствование.

В семь утра мы просыпаемся окончательно. За окном яркое солнце и с обеих сторон — море. Мы едем по узкой насыпи, соединяющей Венецию с сушей. Я пошел бриться, умываться и чистить зубы — единственный во всем вагоне, итальянцы, похоже, это занятие не уважают — я имею в виду тех из них, которые ездят по ночам в сидячих вагонах, а что происходит в вагонах первого класса, мы, я думаю, узнаем не скоро. Когда мы вышли из поезда, нас слегка покачивало от бессонной ночи. Чтобы прийти в себя, выпили *due cappuccini* и съели *due tramezzini* (осталось 26) и оставили рюкзак в камере хранения. Там же, на вокзале, купили путеводитель с планами, фотографиями и схемами (осталось 23) и вышли на набережную Большого канала. Еще не успев ничего разглядеть, мы сразу ощутили совершенно особый свет и колорит, совершенно не римский, — блики, отсветы, мерцание, мрение — во всем присутствует вода. Мы не отрываясь смотрим на отражения в этой воде, и у нас возникает что-то близкое к наркотическому опьянению.

Разложите перед собой карту Венеции. Обратите внимание на размер города, он чуть больше Баковки. Через весь город в виде латинской буквы S, только зеркально перевернутой, похожей скорее на русскую Г, проходит Большой канал. Он шире всех остальных каналов, примерно как половина Москва-реки. По мосту Понте дельи Скальци мы перешли через воды Большого канала, которые Муратов на-

зывает летейскими водами, то есть водами реки Леты, но вместо ожидаемого забвения во мне стали всплывать воспоминания о лекциях по истории архитектуры в полутемном зале института. Происходило чудо, мутные черно-белые диапозитивы на моих глазах превращались в освещенные ярким утренним солнцем трехмерные то ли макеты, то ли декорации, то ли миражи.

Гондольер в соломенной шляпе с красной лентой и в красно-белой полосатой майке стал делать нам знаки типа “эх, прокачу!”, но мы не сели бы, даже если бы у нас были деньги, слишком уж это напомнило ВДНХ с катанием на тройках. Тут, правда, есть разница. Венеция — это город, естественно превратившийся в театральную декорацию, и эта декорация изображает саму себя, в то время как ВДНХ изображает нечто, чего нет, не было и никогда не будет.

Надо было все-таки сесть в эту гондолу и не пытаться вырваться из спектакля. Приехать в Венецию и искать в ней нетуристских радостей — это примерно то же самое, что, придя в театр, не заходить в зрительный зал, а лазить по подсобным помещениям. Я, конечно, буду настаивать, что мы не сели в гондолу по идеологическим соображениям, но, между нами говоря, не сели мы от бедности.

Примерно к середине дня эйфория кончилась. Надо было срочно поспать, хотя бы несколько минут. Мы вернулись на вокзал, купили подарок Тамаре — она из своей поездки привезла нам сувенир “золотая гондола”, от нас же ей достанется “тарелочка с ложечкой” (осталось 19 600). Взяли рюкзак из камеры хранения (осталось 19 150) и где-то около

Fondamenta Santa Lucia потеряли всякую способность сопротивляться сну, бросили спальные прямо на бульжники, легли на них и провалились в сон. Мимо нас проплывали гондолы, лодки, катера, и какой-нибудь американский турист, возможно, говорил своей жене, указывая на нас:

— Смотри, Бетси, до чего забавны эти итальянцы. В городе полно гостиниц, пансионатов и мотелей, а они предпочитают традиционную сиесту на бульжниках, как римские легионеры.

Когда мы проснулись, уже темнело. После сна тяжелая усталость сменилась легким оцепенением, какое бывает, когда от головной боли выпьешь несколько таблеток аспирина — боли не чувствуешь, но в голове туман. Мне срочно нужно было найти туалет, а, как нам сказал один гондольер, “ин Италия тоилетте но ворк”. Алла посетила туалет на вокзале, мне же она предлагала вести себя по-итальянски, то есть писать в канал. Я долго не мог на это решиться по двум причинам. Во-первых, вся Венеция, включая каналы, это произведение искусства, поэтому писать в канал — это все равно что подтираться страницей из “Божественной комедии”. Во-вторых, надо ухитриться это сделать, пока нет ни одной гондолы на воде и ни одного американского туриста на суше за спиной.

Гондолы, как назло, зачастили, причем в каждой из них кто-нибудь пел. Некоторые валяли дурака и нарочно орали фальшивыми голосами “Санта Лючию”, звучало как “Подмосковные вечера” в Сокольниках, а некоторые пели серьезно, под аккомпанемент аккордеона или гитары. Прямо скажу, в такой высокохудожественной обстановке я не писал ни-

когда. Набежавшая волна от промчавшейся моторки смыла это позорное пятно с замшелых камней древнего города.

Пора было искать дорогу обратно к вокзалу. Сначала мы шли наугад и оказались у конной статуи Бартоломео Коллеони скульптора Вероккио. Несчастный Коллеони завещал все свои деньги, сто тысяч дукатов, Венецианской республике, чтобы на главной площади Сан Марко ему воздвигли монумент. Когда в 1475 году он умер, решили, что на главной площади ему будет слишком жирно, и поставили монумент перед собором Иоанна и Павла, они же Джованни и Паоло (или даже *John and Paul* — начнем привыкать к языку будущей родины). Святой Марк все же незримо присутствует — рядом находится *Scuola Grande di San Marco*, которую построил не кто-нибудь, а Якопо Сансовино.

Мы шли мимо ярко освещенных ресторанчиков и кафе, где за столиками красивые, хорошо одетые люди разговаривали и тихо смеялись. Некоторые столики были освещены только свечами. Свечи мерцали, и казалось, что там происходит нечто тайное и запретное. Но ничего тайного там не происходило, просто ели лангустов, омаров и устриц, не говоря уже о пицце, спагетти и ригатони, запивая все это кьянти, фраскати и веллетри. Запретным это было только для нас.

Мы испытывали примерно то же чувство, какое испытал Владимир Печерин, один из первых российских политических эмигрантов, когда он в 1838 году бежал из Швейцарии, где его должны были арестовать за долги, и в конце концов, голодный и оборванный, добрался до французского города Нанси. Шел

дождь. Он укрылся в подъезде губернаторского дома. Подъезжали кареты, из которых выходили “прелестные дамы, разряженные в пух”, и “элегантные мужчины в мундирах и черных фраках”. Что может быть ужаснее, думал он, чем шататься без цели по улицам, чувствовать голод и видеть перед собой зрелище довольства и роскоши.

В XX веке путь Печерина бюрократизировался, бегство с родины превратилось в заполнение бесчисленных анкет как до, так и после пересечения границы. Если бы слова “кватроченто”, “антаблемент”, “базилика” и “квадрифолий” не вызывали у нас священного трепета, то мы смиренно сидели бы у себя на Вестричио Спуринна или валялись на пляже в Остии, как большинство *rifugiati sovietici*, и не испытывали бы ни усталости, ни голода, ни зависти.

Поезд Венеция — Рим, на котором мы собирались доехать до Флоренции, отправлялся в то же время, что и поезд из Рима, в 00:25, но, чтобы занять купе и забаррикадироваться, следовало прийти заранее. На вокзале шла обычная жизнь, кто-то спал на полу в спальном мешке, кто-то читал порнографический журнал, кто-то обнимался в углу. Наши обратные билеты были до Рима. Мы спросили кассира, можем ли мы сделать остановку во Флоренции. Он ответил, что можем. Это мы и без него знали. А зачем спрашивали? А просто так, чтоб доказать себе, что мы можем поболтать на этом звучном языке: *possiamo fermarci a Firenze?*

Мы нашли наш вагон, убедились, что он идет в Рим через Флоренцию, а не, скажем, в Турин через Милан, — хотя увидеть самый большой в мире готи-

ческий собор было бы неплохо, но возвращение на нашу временную родину Вестричио Спуринна стало бы проблематичным.

Мы выбрали одно из пустых купе, закрыли дверь — поскольку она была стеклянной, пришлось задернуть три шторы, — открыли окно, подняли разделяющие подлокотники на диванах, залезли в спальные мешки и мгновенно провалились в глубочайший сон.

Нас разбудил яркий свет. Кто-то меня тряс, пытаясь разбудить. Это был контролер, желающий проверить билеты. Я протянул ему наши билеты с большим достоинством, потому что на этот раз все должно было быть в порядке. Он внимательным образом изучил наши билеты и сказал, что это не наш вагон, потому что это первый класс, а наш второй класс в хвосте поезда. “О, мадонна миа”, — подумал я, но вслух произнес только: “Ва бене”. Мы начали собираться. Контролер ушел.

— Слушай, — сказал я Алле, — если он ушел, зачем уходить нам?

Алла не смогла противостоять моей железной логике, и мы опять заснули.

Проснулись мы оттого, что контролер снова тряс меня, впрочем, без всякой злобы. Он предложил нам доплатить разницу, это оказалось около 10 000, ровно столько, сколько у нас к этому времени осталось, — куда делись остальные 9 150, мы уже не могли вспомнить.

— Нет, — сказали мы ему, — если у вас такие нелепые порядки, мы лучше перейдем в вагон второго класса, где, возможно, еще сохранились остатки гуманизма Марсилио Фичино и Пико делла Мирандола.

Вагон второго класса был полон. Мы нашли одно купе, где было только два человека, разложили два кресла, превратив их в кровать, и снова заснули богатырским сном. Засыпая, я подумал, что мы ведь можем и проспать Флоренцию, но в памяти, как спасательный круг, всплыла фраза предателя Мечика из романа Фадеева “Разгром”:

— А не все ли равно!

Я проснулся ровно за пять минут до Флоренции, то есть в 04:15. Нужно было жить и исполнять свои обязанности, как сказал командир Левинсон из того же романа. Мы вышли на перрон, который сразу узнали: мы видели его из окна, когда нас везли из Вены.

Насколько же мы все-таки изменились за эти полтора месяца, до какой степени избавились от запуганности, затравленности, закомплексованности. Первые дни после пересечения границы боялись всего — сделать что-то не так, сказать не то, боялись спросить, боялись показать, что чего-то не знаем или не понимаем. Теперь, решили мы, все будет наоборот, пусть они напрягаются, а мы будем говорить на своем английском языке. Иными словами, еще не попав в Америку, мы уже стали себя вести, как *ugly Americans** в представлении европейцев.

Как только мы приобрели чувство собственного достоинства, итальянцы к нам резко переменились. Они стали улыбаться, старались помочь, выяснилось, что они знают какие-то русские слова. Произошла парадоксальная вещь: как только мы ощутили себя не странными существами без паспортов, без

* Гадкие американцы (англ.).

национальности, без места жительства, без денег, без политических убеждений, а фигурками, затерявшимися в огромной толпе точно таких же фигурок туристов, беженцев, местных жителей, левых, правых, террористов, атеистов, католиков, антисемитов, сионистов, — мы обрели утраченную индивидуальность. Презумпция исключительности вела к потере индивидуальности, так как не оставалось ничего, на чем могла бы строиться исключительность. Осознание заурядности привело к восстановлению индивидуальности, но очищенной от таких вещей, как место жительства, национальность, профессия, социальное положение, — остались только детские атрибуты индивидуальности: родной язык, цвет волос, болезни, привязанности. Хотел добавить “любимые блюда”, но понял, что в Италии их набор стал быстро меняться.

Надо было доспать недостающие несколько часов. Я вспомнил об израильском родственнике, умеющем ночевать в пустых вагонах. На вокзале Флоренции было около шестнадцати путей, на каждом стоял поезд, и вагоны не запирались. Важно было найти такой поезд, который отправлялся не слишком скоро. Расписание сообщило нам, что через четыре часа с двенадцатого пути отправится поезд в город Ливорно, находящийся прямо на берегу Лигурийского моря. Мы быстро залезли в пустой и темный вагон, раздвинули кресла, расстелили привычным движением спальники и снова заснули как убитые.

Проснулись за несколько минут до отправления поезда. Конечно, было обидно не познакомиться со знаменитыми верфями Ливорно, на которых стро-

ился советский эсминец “Ташкент”, но нас ждала Флоренция. Мы быстро, но, разумеется, не теряя достоинства засунули спальники в рюкзак и выскочили на знакомый перрон. Никто из пассажиров, надо сказать, не удивился нашему уходу, возможно, кроме нас и нашего родственника есть еще на свете люди, которые спят в пустых поездах.

Мы чувствовали себя выпавшими и отдохнувшими — правда, этого ощущения хватило примерно на полтора часа, потом пришлось пить капучино. Было около восьми утра, вокзал уже жил полной жизнью. Из нескольких поездов на Рим мы выбрали тот, который отправлялся в 17:45, а прибывал в Рим около девяти вечера. Таким образом, у нас оставалось около девяти часов на Флоренцию, а вечером мы уже могли блаженствовать в собственных кроватях. Мы вышли с вокзала и пошли налево по направлению к бело-зеленому узорчатому и отчасти азиатскому *Duomo*, он же *Cattedrale di Santa Maria del Fiore*.

— Напоминает резьбу по кости, — сказала Алла.

— Да, — согласился я, — но не забывай, что фасад добавлен только в XIX веке.

Я рвался в этот собор, потому что там должен был быть Паоло Уччелло. Первый раз я встретил это имя в путевых заметках Виктора Некрасова, потомка венецианских дворян и архитектора по образованию. Некрасов открыл для себя этого художника, путешествуя в 1960-х по Италии. В этих заметках он спорил с Вазари, который отзывался об Уччелло довольно пренебрежительно, считая, что тот добился бы большего, если бы меньше времени потратил на изучение перспективы. Паоло, по словам его жены, все ночи напролет проводил в мастерской в поисках за-

конов перспективы, а когда она звала его спать, отвечал ей: “О, какая приятная вещь эта перспектива!” Что-то бесконечно волновало меня в этом сюжете. Фрейдисты, на помощь!

Когда в институте мне надо было выбрать тему для реферата по истории искусств, я выбрал фреску Уччелло в Санта-Мария-дель-Фьоре, изображающую конную статую англичанина Джона Хоквуда, сражавшегося на стороне Флоренции и похороненного там же, в соборе. В том, как была построена перспектива фрески, было что-то странное: конь и всадник были изображены, как если бы зритель находился с ними на одной высоте, хотя на самом деле зритель находился метров на семь ниже, а саркофаг, он же постамент, был написан в правильной перспективе. У искусствоведов принято ругать Уччелло — с женой не спал, а с перспективой все равно не справился. Я же, нахальный первокурсник, написал, что все они дураки, не поняли гениального замысла: двойной перспективой Уччелло “как бы поднимает зрителя до уровня героя”. Кстати, когда Андреа дель Кастаньо через тридцать лет в том же соборе писал похожую фреску, посвященную уже не Хоквуду, а Никколо да Толентино, он повторил, хотя и с меньшим мастерством, двойную перспективу Уччелло — значит, не считал ее ошибкой.

Когда мы вошли в собор, Уччелло не обнаружили, он и Кастаньо были на левой стене, загороженные колоннами, а когда вошли в левый неф и двинулись в сторону алтаря, первое, что увидели, был как раз Кастаньо. Поскольку Кастаньо содрал у Уччелло всю композицию, я сначала решил, что это и есть Уччелло, и удивился — все выглядело не совсем так, как я по-

мнил. Сделали еще несколько шагов вперед — и вот он, Хоквуд. Первый шок — это была совсем не фреска, а живопись на холсте. Как мы узнали из путеводителя, в XIX веке каким-то образом обе фрески, Уччелло и Кастаньо, удалось перенести на холст. Я долго рассматривал этот холст с разных точек — издали, вблизи, под углом, с верхней галереи — и убедился, что я был прав, это была не ошибка Уччелло, а его художественная находка. Тот факт, что фреска находилась несколько выше, чем холст, ничего не меняет...

Обрываю это письмо, потому что неожиданно появилась okazия передать это письмо в Москву вместе с пятьюдесятью фотографиями. Одна картинка, как вы знаете, равна тысяче слов, поэтому считайте, что к этому письму приложены еще 50 000 слов, то есть 100 страниц А4, напечатанные с одинарным интервалом.

Обнимаю, Ш

ПИСЬМО ШУШИ О ПОКУШЕНИЯХ 21 МАЯ 1981 ГОДА

Здравствуй, дорогая мама. Вот тебе свежая сводка международных новостей. Позавчера я купил в киоске “Ньюсуик”, не потому, что особенно было нужно, а просто для ощущения полноты жизни: идешь себе по Риму, не купить ли, думаешь, “Таймс”, “Плейбой” или “Пентхаус”, нет, думаешь, пожалуй, все-таки “Ньюсуик”. Весь номер оказался посвященным покушению Джона Хинкли на президента Рейгана. Так что теперь я переполнен деталями и подробностями.

Похоже, что этот Джон Хинкли внимательно изучил книгу твоей подруги Майи Туровской “Герои «безгеройного времени»”, поскольку вся история — это иллюстрация к ее тезису о “самотипизирующей действительности”. Джон Хинкли хотел убить президента для того, чтобы понравиться юной звезде Джоди Фостер, которая в 1976 году снялась в фильме “Таксист” в роли двенадцатилетней проститутки. За час до покушения Хинкли написал ей письмо, в котором признался, что он ее очень любит, но слишком застенчив, чтобы подойти и познакомиться, поэтому решил обратить на себя ее внимание “историческим поступком”. Шансы Хинкли были равны нулю по многим причинам, одна из которых — Джоди, как сообщил нам коллега-переводчик, лесбиянка. Существенная деталь: главный герой “Таксиста”, которого играет Роберт де Ниро, покушается на жизнь американского сенатора. Этот факт “самотипизирующей действительности” уже просится в статью Валентина Зорина*.

Куда нас несет? Меня немного успокоила другая статья в том же “Ньюсуике”, про Майю Лин, которая выиграла конкурс на мемориал американским солдатам, убитым во Вьетнаме. Ей двадцать один год, она американка китайского происхождения, еще не окончила архитектурный факультет Йельского университета. Ее гениальный по минимализму проект вызвал бурю протестов со стороны вьетнамских ветеранов:

* Зорин Валентин Сергеевич (1925–2016) — советский и российский политолог, американист.

— Эти азиаты убивали нас, а теперь эта косоглазая собирается выкопать яму в земле, и мы должны будем спускаться в эту яму, чтобы почтить память товарищей?

Тот факт, что решение профессионалов из жюри оказалось сильнее шовинизма героев войны, примирил меня с Америкой.

Все мои попытки установить контакты с итальянцами, имеющими хоть какое-то отношение к архитектуре, привели к разочарованию. Единственные, кто охотно с нами общался, были слависты, но, во-первых, на наш вкус они были слишком левыми и просоветскими, а во-вторых, по безалаберности оставляли далеко позади даже нас, российских разгильдяев. Если обещали позвонить, можно было быть уверенным, что не позвонят. Если обещали переслать мой концептуальный проект театра великому дизайнеру Этторе Соттсассу, можно было поставить все мое состояние (в настоящий момент 634 *mille lire*) на то, что не перешлют.

Лучом света в этом темном царстве оказался Дмитрий Вячеславович Иванов, сын знаменитого символиста, а потом библиотекаря Ватикана. У символиста была жена Лидия Зиновьева-Аннибал и дочь, тоже Лидия. После смерти жены он женился на ее дочери от первого брака, то есть своей падчерице, Вере Шварсалон. От этого брака и родился сын Дмитрий. Таким образом, Вера была и матерью Дмитрия, и падчерицей его отца, то есть в каком-то смысле его сводной сестрой. А его единокровная сестра Лидия была сводной сестрой его матери, то есть в каком-то смысле его тетей.

Дмитрий Вячеславович, разумеется, не итальянец, хотя, как и его отец, не только свободно гово-

рит на всех европейских языках, но и пишет на них в газеты всего мира. Я позвонил ему, чтобы передать письмо от общего знакомого из Москвы. Он порази нас совершенно не итальянской пунктуальностью.

— Я еще не знаю, как сложится следующая неделя, — сказал он мне по телефону, — но непременно позвоню вам в Джойнт в одиннадцать утра в понедельник.

В понедельник ровно в одиннадцать меня позвали к телефону.

— Я предлагаю встретиться в среду в семь часов вечера, — сказал Дмитрий Вячеславович, — и чтоб вам не надо было искать, у Пирамиды, прямо у входа в вокзал, с которого ездят в Остию.

В среду в Джойнте был сумасшедший день. Вместо семи переводчиков нас было всего четверо, причем один, только что взятый на работу, не знал английского. В Москве можно было бы предположить, что он стукач, а здесь не знаю, что и думать, — переодетый агент Толстовского фонда? Неожиданно приехали сразу двести человек, мы втроем кое-как сумели их обслужить, что для меня было особенно мучительно, поскольку предыдущую ночь я почти не спал. С жуткой головной болью поехал домой. Там я немедленно заснул, а когда проснулся, была уже половина седьмого. Я растолкал Аллу, которая из солидарности тоже заснула, и мы помчались к метро, проклиная себя за неспособность соответствовать пунктуальным русским старого разлива.

К вокзалу мы подбежали в десять минут восьмого. Никого не было. Объяснение могло быть только одно — западный журналист не дождался и уехал.

“Нет, — думаю я, — пунктуальный западный журналист должен все-таки понимать, что от бывших советских людей глупо ждать точности. Может, я что-то перепутал?”

Мы постояли еще минут двадцать, за которые Алла успела высказать мне все, что обо мне думала. Я не особенно возражал, потому что думал о себе примерно то же, но в гораздо менее вежливой, чем у нее, форме. Я начал звонить ему домой с телефона-автомата в вестибюле вокзала. Номер был все время занят. Я набирал минут десять, пока вдруг не дозвонился, правда, как выяснилось, не туда. Мне сказали по-итальянски, что никаких Ивановых они не знают. Пока я с ними препирался на всех доступных мне языках, я вдруг услышал, что кто-то окликает меня по-русски тихим старческим голосом:

— Господин Шульц, Господин Шульц.

Это была женщина лет восьмидесяти с заплаканными глазами, опирающаяся на инвалидную трость. Рядом с ней стоял итальянец средних лет.

— Господин Шульц, — продолжила она, — я сестра Дмитрия Вячеславовича.

Дальше она стала что-то говорить про покушение... он в больнице... есть надежда... он журналист... но в вокзальном шуме разобрать было трудно.

“Боже! — подумал я. — Иванова убили?”

Нет. Оказалось, что он в полном порядке. Пока мы с Аллой спали, какой-то турок или араб выстрелил в человека по имени *Karol Józef Wojtyła*, более известного как папа Иоанн Павел II. Турка задержали, папе сделали операцию, его жизнь вне опасности, Дмитрий Вячеславович, как корреспондент трех газет и нескольких радиостанций, не может отойти от

телефона, поэтому он послал сестру Лидию Вячеславовну, которая еле ходит, предупредить нас. Итальянец средних лет оказался шофером такси, на котором она приехала. Мы проводили их обратно до такси и сказали, что позвоним и зайдем как-нибудь в другой раз.

— Нет-нет, — сказала Лидия Вячеславовна, — он просил, чтоб вы непременно зашли на минуту сейчас.

Мы поднялись с ней на лифте на пятый этаж, который вполне можно было считать десятым, учитывая невероятную высоту потолков. Дмитрий Вячеславович встретил нас очень приветливо и даже приглашал зайти, но мы убедили его перенести наш визит на другой день, на что он с радостью согласился. Мы простились и вышли, потом он догнал нас на лестнице и посоветовал прямо сейчас ехать на Сан Пьетро, и даже сказал, на каком автобусе.

На площади святого Петра было темно. Вокруг нескольких автомобилей со включенными радио стояли кучки людей. Все жадно слушали новости. Корреспонденты со вспышками щелкали всех подряд, но снимать, в сущности, было нечего. Мы послушали радио, мало что поняли (вот, кстати, почему хочется скорее в Америку — очень неприятно ощущать себя глухим), сели в метро и поехали к себе домой на Вестричио Спуринна.

По моим наблюдениям, средний римлянин столь же несимпатичен, как и средний москвич. Разница лишь в том, что когда в московском метро перед сидящим молодым человеком атлетического сложения будет стоять старушка с тяжелыми сумками, он будет краснеть, загораживаться газетой, а весь вагон будет смотреть на него с осуждением. Римлянин в такой ситуации будет сидеть с чувством собственного

достоинства и глаз отводить не будет. Остальные пассажиры этой сцены вообще не заметят. А если старушке уступит место какой-нибудь шестидесятилетний итальянский профессор, она все равно не успеет сесть, потому что ее опередит другой римлянин атлетического сложения с еще большим чувством собственного достоинства. Хочется написать фельетон в “Литературную газету” в стиле Зиновия Паперного. Хотя, возможно, все дело в коллективности российского сознания и индивидуальности итальянского — хотел написать “западного”, но мы про Запад пока не знаем ничего, включая вопрос, существует ли он. У нас, правда, сохранилась иллюзия, что мы что-то знаем о российском сознании.

Целую, Ш

MARE

С каждым днем Алла становилась мрачнее. — Что мы там забыли, в этой дикой стране? — говорила она. — Там сумасшедшие стреляют в президентов. Я там никого не знаю. Поедем в Израиль, там масса родственников и знакомых. Родина примет, нам обещали, помнишь?

Шуша пытался рассказывать ей о великой американской литературе — Сэлинджере, Фолкнере, Фицджеральде. Не помогало. Аргументы из области кино, архитектуры, образования, медицины, автомобилестроения, налогообложения и юриспруденции тоже не действовали.

В четверг, 7 мая, в десять утра, они должны были быть в американском консульстве по адресу:

121, Виа Венето, для получения визы. Утром Алла вдруг тихо сказала:

— Я никуда не пойду.

— Как не пойдешь?

— Мы с детьми поедem в Израиль.

— Ах, в Израиль! — в бешенстве сказал Шуша. —

Прекрасная идея. *Nice knowing you!**

Он быстро оделся, собрал документы и решительно направился к двери.

— Подожди, — сказала Алла.

Она подошла к нему, обняла и тихо заговорила.

— Прости, я не знаю, что со мной происходит. У меня паника. Дай мне десять минут...

На следующий день их вызвали в ХИАС и сообщили, что они едут в Орандж Каунти.

— Что это? — спросила Алла.

— Мы не знаем, — ответила благообразная седая Федерика Розенблюм с могоендовидом на золотой цепочке, — а вы узнаете, когда попадете туда.

— Но нам очень важно попасть в Нью-Йорк, — вмешался архитектор Ш. — Все мои профессиональные контакты должны быть именно там.

— Ах, вам важно попасть в Нью-Йорк, — саркастически произнесла Федерика на своем безукоризненном английском языке, — у вас будет такая возможность. Когда вы приедете в Орандж Каунти, вы поступите так, как поступил бы любой американец на вашем месте. Вы купите билеты и полетите в Нью-Йорк.

— Но... — начал было Шуша.

* Приятно было пообщаться (обычно употребляется при расставании навсегда) (англ.).

— Извините, — сказала Федерика, — там, в зале, еще сорок человек ждут своей очереди.

В последний день перед отлетом Шуша внезапно объявил утром:

— Едем в Остию!

— Как? — удивилась Алла. — Без наручников?

— Орандж Каунти — это почти Лос-Анджелес и находится на широте Бейрута и Каира, — объяснил архитектор. — Люди там загорелые. Мы будем выглядеть как белые вороны, *no pun intended**.

Он теперь все чаще вставлял английские слова и выражения, надеясь в Америке сойти за *our kind of a guy***.

В Остии Алла с детьми сидели под зонтиком, а Шуша добросовестно загорал. Хотя Рим расположен севернее и Бейрута, и Каира, он сильно недооценил средиземноморское солнце, но почувствовал это только к ночи. Вместо того чтобы складывать чемоданы, он со стонами носился по квартире, пока Алле не надоело и она не отправила его в аптеку — пользы от него все равно было мало.

Ближайшая аптека была закрыта, но на двери висела табличка с адресом дежурной. Ее поиски заняли больше часа. Дверь была заперта. Шуша барабанил в дверь несколько минут. Открылось окошко, и сонный аптекарь спросил, какого черта ему нужно.

— Диами ла медицина пер лустине.

Он смотрел на Шушу, явно не понимая.

— Маре? — спросил он наконец.

* Непреднамеренный каламбур (англ.).

** Нашего парня (англ.).

— Маре, маре, — закивал архитектор.

Это почему-то чрезвычайно развеселило аптекаря, и он начал повторять “маре-маре”, показывая на нашего героя пальцем кому-то внутри и громко смеясь. Тем не менее мазь была продана. Пока он добрался домой, шел уже второй час ночи. В шесть утра за ними должен был приехать автобус.

Наверное, это был ожог второй степени. Мазь помогала мало. Спать он не мог. Складывать чемоданы тем более. Алла сказала, что она тоже измучена, что чемоданы будет складывать утром, поставила будильник на четыре утра и ушла, закрывшись с детьми в спальне, чтобы не слышать его стонов.

Под утро он все-таки заснул на диване. Автобус должен был за ними заехать в шесть. Ровно в пять тридцать начали барабанить в дверь — автобус уже ждал внизу. Он заглянул в спальню. Жена и дети спали глубоким сном. Вещи собраны не были.

— В общем, так, — сказал водитель-итальянец. — Через пятнадцать минут мы уезжаем. *Con te o senza di te**.

Ни о каком завтраке уже не могло быть и речи. Они растолкали сонных детей, наскоро побросали вещи в чемоданы, теперь их было два, натянули на себя какую-то одежду и потащили чемоданы и детей к лифту. Второй чемодан, гигантский, купленный на рынке за девятнадцать тысяч, весил, наверное, не меньше пятидесяти килограммов. Там были все их приобретения за три месяца, включая несколько десятков книг по архитектуре, купленных на толкучках.

Водитель с трудом поднял чемодан и сказал, что его точно не пропустят, — в самолете предел три-

* С тобой или без тебя (итал.).

дцать килограммов. Но деваться было уже некуда. Чемодан совместными усилиями впахнули в автобус, и они поехали.

— Кстати, где ключи от чемоданов? — спросил Ш.

— А кто их запирает? — язвительно спросила Алла.

— Я, но ты выходила из квартиры последней, должна была все проверить.

— Ах, это моя вина? Ты не должен был выходить из квартиры без ключей.

Они сонно препирались, но сил хватило ненадолго.

Автобус подобрал еще несколько семей и привез их в аэропорт имени Леонардо да Винчи. Тем временем другой автобус привез тех, кто жил в Остии и Ладисполи. Весь гигантский табор расположился внутри аэровокзала. Никто ими не руководил, ни у кого не было на руках билетов и никто не понимал, что делать.

“Вот мы и опять попали в положение запуганных *rifugiati sovietici*, — подумал Шуша. — Ощущение свободы было миражом. Мы по-прежнему никто; без национальности, гражданства, места жительства, профессии. Вот что значит «перемещенные лица» — это те, которых перемещают”.

Все время возникали слухи: надо идти к шестой стойке, нет, не надо идти к шестой стойке, а надо терпеливо ждать; нет, не надо ждать, а надо все решать самим. Вдруг весь табор ринулся с вещами к стойке с надписью *Ufficio controlli dogane**. Кто сказал, что надо туда? Никто не знает, но все бегут. Наконец появил-

* Таможенный контроль (итал.).

ся элегантный итальянец и сказал, что действительно надо туда.

— А что если они попросят открыть чемоданы? — Шушу охватила паника. — Чем мы будем их отпирать? Ключи остались на столе. Нас не посадят в самолет. Что с нами будет?

Чемоданов никто не открывал, их ставили на весы, но на стрелку весов эти итальянские разгильдяи не смотрели. Шуша испытывал двойственное чувство. С одной стороны, ему хотелось крикнуть: “Кто так работает! Смотри на весы, *fannullone**!” С другой, страх: только бы не взглянул!

Их пятидесятикилограммовый гигант поплыл вместе с другими чемоданами по конвейеру. В какой-то момент он застрял, служитель в форме стал его поправлять, поднатужился, крикнул, ухмыльнулся, покачал головой, и чемодан поплыл дальше.

*Lunga vita alla sciatteria italiana!***

* Бездельник (*итал.*).

** Да здравствует итальянское разгильдяйство! (*итал.*)

ГЛАВА ШЕСТАЯ

НОВЫЙ СВЕТ

WELCOME HOME

Их ввели в зал ожидания компании “Пан Американ”, и они сразу попали в другую страну. Вокруг говорили по-английски, и это было неприятно. Не всегда понятная итальянская речь стала уже привычной. На нее не обращаешь внимания и не стараешься понимать. А тут язык, который ты, прочитав на нем десятки книг, вроде обязан понимать, а все равно не понимаешь! Если очень напрягаешься, что-то улавливаешь, но мало. Это тебе не передача “Би-би-си”, а какие-то горные ручьи с перекатывающими камнями. Шуша впал в тоску — вот среди этих ручьев и камней придется провести остаток жизни?

Войдя в “Боинг-747”, они ахнули: десять кресел в одном ряду, три — проход — четыре — проход — три. Шире, чем их квартира на Вестричио Спуринна. Интересно, кто-нибудь догадался ночевать в пустых самолетах? Запирают ли их на ночь? По радио объяснили, как себя вести в случае катастрофы и в каких салонах можно курить. Желающим смотреть кино со звуком предлагали наушники за три доллара. Шуша

с детьми стали требовать от Аллы девять долларов, объясняя, что из всех искусств для них важнейшим является кино, но она заявила, что это разврат и никаких наушников они не получают.

Полет продолжался девять часов. Вылетали в час, прилететь должны были в три, куда пропадут шесть часов, непонятно. Несмотря на усталость, спать не хотелось. Обожженная спина не болела, наверное, помогала “медицина пер лустине”, а на душ, к счастью, времени не хватило. Стюардесса в голубой форме и с какой-то турецкой феской на голове спросила Шушу, не желает ли он немного виски. Он подумал и согласился. Тогда она добавила, что это стоит два доллара. Тогда он подумал и отказался.

— Может, стоит выпить пива, чтобы заснуть? — сказала Алла.

Шуша позвал стюардессу обратно и спросил, есть ли пиво. Она очень отчетливо, с преувеличенной артикуляцией сказала, что это стоит один доллар.

— О’кей! — ответил Шуша на безукоризненном английском языке.

Стюардесса принесла пиво, и Шуша спросил, сразу ли заплатить. Она подумала и сказала, что лучше сразу, — она явно не верила в их кредитоспособность, но держала себя в руках. Когда Алла достала из сумки смятый доллар, стюардесса не смогла скрыть радостного изумления.

Время от времени по радио звучал голос командира корабля. Он сообщал важные сведения о полете: скорость, высоту, над какими городами пролетаем и массу других технических подробностей. Это было приятно, они ехали не как скот, который загрузили в телячий вагон, и даже не как большевики

в пломбированном вагоне, а как американцы, которые хотят знать, какой именно маневр выполняет в данный момент нанятый ими специалист.

В аэропорту имени Джона Кеннеди их встретила громадная надпись на всех языках, включая русский: "Добро пожаловать!". Старушка из НАЯНЫ (*New York Association for New Americans*), одетая в джинсы, майку с надписью NYANA и кеды, подвела их к одному из иммиграционных постов. Молодой офицер медленно и основательно проверил каждую бумажку и минут через десять поставил на их советско-израильской визе штамп. Они перестали быть *rifugiati* и стали *refugees* с правом на работу.

Сняв с конвейера чемоданы, погрузили на тележку и, ведомые старушкой из НАЯНЫ, повезли их в другое помещение сдавать на рейс в Лос-Анджелес. Огромный негр стал кидать чемоданы на конвейер. Когда очередь дошла до их пятидесятикилограммового чудовища, вежливый Шуша обратился к негру:

— *It's very heavy, I can help you*".

— *I got it*, — ответил тот в смысле "не лезь под руку" и действительно кинул чемодан как пушинку на конвейер, и он скрылся в черной дыре.

Старушка в джинсах вывела их на улицу. Их поразили две вещи: во-первых, яркий солнечный свет, хотя их биологические часы показывали ночь, во-вторых, машины, которые были намного длиннее, чем вообще свойственно автомобилю. Уродливые двенадцатиместные крокодилы были длиной метров пятнадцать, но даже обычные пятиместные

* Он очень тяжелый, я могу помочь (англ.).

машины были метров на пять длиннее, чем подсказывало эстетическое чувство. Это был тот самый американский стиль, о котором им приходилось читать, — масштаб, простор, размах.

Старушка из НАЯНЫ села вместе с ними в аэропортовский автобус, и они подъехали к архитектурному шедевру, воспетому Шушиным коллегой из МАРХИ, правда, учившимся на десять лет раньше, в таких нехитрых стихах:

Сто поколений не смели такого коснуться —
Преодоленья несущих конструкций.
Вместо каменных истуканов
Стынет стакан синева — без стакана*.

Речь, конечно же, шла про терминал компании TWA, построенный великим Ээро Саариненом в виде орла с распростертыми крыльями. Для Шуши это был подарок судьбы. Он окупал все страдания — голод, бессонницу и обгоревшую спину.

Они вошли в круглый зал ожидания и стали рассматривать пассажиров.

— Американцы, — сказала Алла, — патологически лишены вкуса. Судя по одежде, недавно с веток слезли.

Действительно, по сравнению с лощеными итальянцами, американцы выглядели, как будто они схватили первые попавшиеся под руку предметы одежды, не задумываясь не только о цвете и стиле, но и о размере.

* Из стихотворения Андрея Вознесенского "Ночной аэропорт в Нью-Йорке" (1961).

— Дело совсем не во вкусе, — сказал начитанный Шуша. — Мы прилетели из католической страны, где священники объясняют, как надо понимать Священное Писание, а Армани и Версаче показывают, как надо одеваться. Теперь мы в протестантской стране, где людей учат не доверять посредникам и интерпретаторам...

— Лучше бы они им доверяли, — перебила его Алла, — можно было бы смотреть на них без отвращения.

Самолет в Лос-Анджелес должен был прилететь из Лас-Вегаса. По радио объявили, что он опаздывает, поэтому вылет задерживался на три часа. В центре круглого зала стояли огромные полукруглые красные диваны. На одном из них расположилась вся семья. Ника и Мика сразу заснули. Шуша и Алла, опасаясь за сохранность вещей, мужественно боролись со сном. Следующую часть путешествия Шуша помнит плохо. Что это был за самолет? Кажется, тоже “Боинг”, еще шире предыдущего. Сколько продолжался полет? Вроде бы шесть часов. Самолет взлетел в девять вечера по нью-йоркскому времени, то есть в три по римскому, в пять утра по московскому и в шесть вечера по калифорнийскому.

“Начинаешь физически ощущать размер земного шара”, — подумал Шуша, засыпая.

Они проснулись в девять утра по римскому времени, но, строго говоря, их состояние нельзя было назвать бодрствованием, как, впрочем, их предыдущее состояние не вполне можно было назвать сном. Они не сразу вспомнили, где и почему находятся. Из иллюминатора была видна квадратно-гнездовая сетка огней, простирающаяся во все стороны. Это был

их новый дом. “Ничего, — подумал Шуша, — довольно весело”.

Когда они стояли у конвейера в ожидании чемоданов, к Шуше подошла загорелая молодая женщина с цветами.

— Александр? — спросила она.

Когда Шуша кивнул, женщина крепко поцеловала его, потом поднесла цветы Алле, расцеловала детей и сказала весело:

— Вот вы и дома!

Подошел ее муж. Это были Регина и Марик, живущие здесь, как они сказали, уже три года.

“Три года! — думал не совсем проснувшийся Шуша. — Целая жизнь. Вот мы в Италии провели три месяца, а ощущение — как будто прожили большой кусок жизни. Ощущение срока зависит от количества событий на единицу времени, а событий за это время у нас было больше, чем...” — он стал подбирать нужное слово, но его мозг перешел в энергосберегающий режим и перестал отвечать на запросы.

Пока они ждали появления чемоданов, Регина и Марик рассказали, что встречать их послала “Джуйка”, то есть *Jewish Family Service*, а семью Шульцев направили сюда в нагрузку. Калифорнийский отдел *JFS* принимает только прямых родственников тех, кто тут уже живет, и родственники сами заботятся о своих, так что у “Джуйки” тут синекура. Чтобы слегка взбодрить этих расслабившихся гедонистов, им из Нью-Йорка послали “трудный случай”, то есть Шульцев, потому что у них никого нет в этих краях.

Регина и Марик погрузили чемоданы в свою машину, причем щуплый с виду Марик швырнул их

гиганта в багажник почти с такой же легкостью, как тот огромный негр в Нью-Йорке.

“Питание у них здесь хорошее, что ли?” — подумал Шуша.

Они мчались по шоссе по направлению к Орандж Каунти. Шуша внимательно смотрел в окно.

— Когда начнется город? — спросил он у Марика, сидящего за рулем.

— Это он и есть, — ухмыльнулся Марик.

Через сорок минут их растолкали — они были “дома”. Регина и Марик торжественно ввели их в квартиру. Да, “Джуйка” не ударила в грязь лицом. И по московским, и по римским понятиям квартира была огромной. Такого пространства Шуша не видел даже в Доме правительства. Но главное не размер — это был модернизм. Никаких ненавистных ему карнизов, бордюров, багетов, розеток и кессонов. Белые стены и потолок. Чистые прямые углы. Низкие потолки, как у Корбю. Серо-зеленый ковер с низким ворсом по всей квартире от стены до стены — таких в Москве еще не было, хотя слово для них уже появлялось в письмах друзей — палас. Откуда такое слово? *Palace*? Ковер дворцового размера? В каких, интересно, дворцах могли видеть москвичи такие ковры?

Мебель, радиолы, черно-белый телевизор и холодильник, набитый замороженными курами, кока-колой и ванильным мороженым, были пожертвованы богатыми еврейскими врачами, как объяснила Регина. Это были предметы 1950-х годов, которые выглядели старомодными на фоне минимализма квартиры.

Ника и Мика мгновенно провалились в сон в маленькой спальне на синтетических простынях с вы-

цветшим желто-коричневым узором. Алла заснула в большой спальне на гигантской двуспальной кровати, хотя по размеру правильнее было бы назвать ее трехспальной, а Шуша бесцельно бродил по квартире, включая и выключая разные приборы. За окном темнота. В Калифорнии была полночь.

“Как я попал сюда? — думал Шуша. — Какое отношение имеет ко мне этот американский фильм 1950-х? Что заставило меня оказаться в этом съемочном павильоне? Видимо, желание начать жить на-бело, без помарок. Все, что было неправильным и хаотичным в предыдущей жизни, станет теперь правильным и организованным. Все, что было недоступным, станет доступным. Я не любил бриться и часто откладывал это по нескольку дней. Теперь я буду бриться каждое утро в шесть пятнадцать. Я иногда говорил неправду. Теперь я всегда и при всех обстоятельствах буду говорить только правду. Моя одежда состояла из случайно купленных, подаренных и не подходящих друг к другу предметов. Теперь у меня будет продуманный, подобранный по цвету гардероб — пусть это будет моим единственным антиамериканским жестом. Я метался от профессии к профессии. Теперь у меня будет только одна профессия, я стану выдающимся американским архитектором. Непонятно только, как совершить скачок из этого странного одноэтажного многоквартирного сарая с белыми стенами и синтетическими простынями к сияющим вершинам американской архитектуры”.

В девять утра раздался уверенный стук в дверь. Сонный Шуша открыл. В глаза брызнуло безжалостное калифорнийское солнце. Обдало горячим возду-

хом пустыни. На пороге стояла юная американская старушка в шортах. Ее седые кудри светились в лучах солнца, как нимб святого. Очки приветливо блестели.

— Меня зовут Нора Шапиро, — сказала она тоном учительницы, каковой, собственно, и оказалась. — Меня прислали учить вас английскому языку.

— Очень приятно, меня зовут Александр, — попытался он изобразить светскость. — Заходите, Нора.

— О, я вижу, вас не нужно учить. Вы прекрасно говорите. На всякий случай вот вам мой адрес и телефон, — она написала что-то на клочке бумаги и протянула ему, — если возникнут вопросы, связанные с языком, звоните.

— Один вопрос у меня уже есть, — сказал Шуша. — Я вижу, что букву “r” вы пишете не так, как нас учили в школе. Похоже, я всю жизнь писал ее неправильно.

— Покажите, как вы ее пишете.

Он показал.

— Это правильно, — сказала она.

— Но вы пишете ее совсем по-другому!

— Да, я пишу ее по-другому.

— Как же правильно?

— Не понимаю. Для вас правильно так, для меня по-другому.

Что за странный мир, где нет правильного и неправильного! Видимо, это и называется плюрализм. Как же здесь жить?

— Собирайте всю вашу семью, — бодро сказала Нора. — Я отвезу вас в настоящий американский супермаркет.

Сонные, кое-как одетые дети снова были запихнуты в машину — на этот раз в Норину “тойоту”, — и они поехали по обсаженной пальмами дороге к гигантскому прямоугольному амбару, который и оказался настоящим американским супермаркетом.

— Вы можете купить все, что вам захочется, еврейская община за это заплатит, — сказала Нора, широким жестом обводя уходящие в бесконечность прилавки.

Алла и дети испуганно озирались по сторонам. Шуше не хотелось ничего, но чтобы не показаться невежливым, он протянул руку и взял первый попавшийся предмет в вакуумной упаковке. Нора удивленно подняла брови.

— Но это ветчина! Это же не кошерная еда!

Он попытался было положить ветчину обратно, но Нора его решительно остановила:

— Чтобы показать вам, что наша община лишена предрассудков и догматизма, я заплачу за вашу ветчину! Ешьте на здоровье.

Расставаясь, Нора сказала:

— Община будет содержать вас три месяца. Деньги вы отдадите, когда начнете зарабатывать. Сейчас самое главное — найти работу. Три месяца пролетят быстро. И еще. Американская медицина — лучшая в мире. Но она же и самая дорогая. В течение этих трех месяцев у вас будет уникальная возможность получить бесплатную медицинскую помощь, ее окажут еврейские врачи-волонтеры. Вспомните все ваши медицинские проблемы, какими бы мелкими они вам ни казались, — сейчас вас вылечат бесплатно, потом это будет стоить много тысяч долларов, а они у вас появятся нескоро...

OBREZANIE

Через две недели началась серия визитов к врачам-волонтерам из еврейской общины. Раз уж мы начинаем жить набело, решил Шуша, есть смысл привести себя в товарный вид.

— У меня две недели не проходит кашель, — пожаловался он доктору Вайнбергу, — как вы относитесь к банкам?

— К чему? — Вайнберг посмотрел на него подозрительно.

— К банкам. Знаете, такие стеклянные штуки, в них вносят горящую вату, а потом приставляют к коже. И они присасываются.

Вайнберг смотрел на него как на умалишенного.

— Подождите минуту, я позову своего коллегу, — сказал он и через минуту вернулся с коллегой. — Повторите доктору Штерну все, что вы только что рассказали мне.

Шуша повторил.

— Да, да, — сказал Штерн, — я теперь припоминаю, где я все это слышал. В Средние века так изгоняли духов. Если вы уверены, что ваш кашель вызван злыми духами, смело ставьте банки. Это, конечно, язычество, но раз вы выросли в суевериях, все будет о'кей.

Следующий визит — к урологу.

— Все анализы замечательные, — сказал ему лысый доктор Ашер. — Никаких проблем у вас нет.

— Видите ли, — сказал Шуша, смущаясь, — есть одна проблема, совершенно ничтожная, конечно, но раз уж я у вас...

— Смелее, — сказал Ашер. — Вы среди своих.

— Это, понимаете, какое-то раздражение крайней плоти. Началось после того, как я обгорел на солнце.

— Вы что, загорали без трусов?

— Нет, конечно.

— Тогда не понимаю, какая здесь связь. Покажите... Действительно, ничего серьезного. Но раз вас беспокоит, значит от этого надо избавляться. Есть два пути. Я могу сделать вам массу анализов, выяснить причину, попробовать различные средства, и через несколько недель или месяцев проблема, скорее всего, будет решена. Другой путь — обрезание. Если не будет крайней плоти, то нечему будет раздражаться. Это будет чисто медицинская процедура, без всякой религии, хотя бухгалтеру еврейской общины мы подадим это как возвращение в лоно иудаизма. Как-никак им придется заплатить госпиталю пятнадцать тысяч долларов. Моя работа, разумеется, будет бесплатной.

— Пятнадцать тысяч? Почему так много?

— Обрезание в возрасте нескольких дней — это простая и сравнительно безболезненная процедура. У евреев Восточной Европы обрезание мог сделать любой малограмотный резник. В Америке, где обрезание делают практически всем мужчинам независимо от вероисповедания, это обычно делает хирург, хотя может сделать и медсестра. Но в тридцать шесть лет это уже надо делать под общим наркозом. В этом возрасте крайняя плоть содержит сотни кровеносных сосудов и всегда есть опасность сильного кровотечения. Нужен хорошо оборудованный госпиталь, например наш. Подумайте и позвоните мне.

Алла отнеслась к идее положительно.

— Раз уж ты назвался евреем...

— Я этого делать не буду.

— Почему?

— Должны же быть какие-то пределы. Одно дело — сменить стиль мышления, другое — изменить свое тело. Так можно далеко зайти. Сначала обрезание, потом подтяжка кожи, потом силиконовая грудь и *penis enlargement**. Я за естественность.

Алла пожалала плечами с выражением “тоже мне Жан-Жак Руссо”, но настаивать не стала.

Трехмесячный срок подходил к концу. Работы не было. Из архитектурных фирм, куда он разослал письма, предложений не поступало. Надо было открывать воскресную газету, звонить по объявлениям и продавать себя — главное американское занятие, абсолютно враждебное духу московского интеллигента. Но ничего не поделаешь: дети требуют кока-колы и ванильного мороженого в промышленных количествах, а друзья и родственники отделены от тебя десятком тысяч километров.

В большинстве мест, куда он звонил, услышав акцент, сухо отвечали, что место уже занято. На третий день вроде бы повезло.

— Да, мы ищем архитектора, — сказал бодрый мужской голос, — но я слышу у вас акцент. Откуда вы?

Сам он тоже говорил с акцентом — с нью-йоркским.

— Из Советского Союза.

— Ага, — оживился голос, — а что, позвольте спросить, заставило вас покинуть СССР?

— Ну, знаете, миллион причин...

* Увеличение полового члена (англ.).

— Назовите одну.

— Хорошо, поиски свободы.

— Так, так, — не унимался голос, — а ваше понятие свободы включает в себя религиозную свободу?

— Разумеется.

— К какой же религии вы принадлежите?

Такой вопрос при приеме на работу является грубым нарушением всех американских законов, но Шуша этого не знал. Поскольку они приехали по еврейской линии, ему пришлось начать сияющую новую жизнь с вранья:

— К еврейской.

Долгая пауза. Наконец голос задумчиво произнес:

— Ну что ж, если я возьму вас на работу, то вы по крайней мере можете не опасаться религиозных притеснений. Я тоже еврей.

После этого он заговорил быстро:

— Машина есть?

— Да.

— Через сколько минут можете приехать в Хантингтон Бич?

— Минут через двадцать.

— Семья есть?

— Да. Жена и двое детей.

— Берите их с собой. Записывайте адрес. Меня зовут Эл Шайн.

Крохотное архитектурное бюро Эла Шайна состояло из Эла Шайна и жены-китайки по имени Пинг.

— Им следовало бы назвать свое бюро “Пинг-Поц”, — шепнула Алла.

— Похожа моя жена на еврейку? — кричал возбужденный Эл.

— Не очень.

— Вот! А между тем она стопроцентная еврейка. Вот уже пять лет. Приняла иудаизм, когда вышла за меня замуж. Женщинам, слава Богу, не надо делать обрезания. Ну, показывайте ваши работы.

— Эл, — сказал Шуша, — передо мной стоит сложная задача: убедить вас, что я замечательный архитектор, не показав вам ни одной работы. Все они отправлены дипломатической почтой в Израиль, но до нас еще не дошли.

— Ага! — воскликнул Эл, потирая руки. — Посмотрим, посмотрим, как вы выкрутитесь.

После страстного монолога Шуши об архитектуре и показа трех случайно оказавшихся в чемодане фотографий Эл сказал:

— Допустим, что вы меня убедили. Сколько вы хотите денег?

— Не знаю, — честно ответил Шуша.

— Хорошо, назовите сумму, который бы вам хватило, чтобы заплатить по всем счетам за неделю. Можете посоветоваться с женой.

Эл протянул им листок бумаги, и они начали записывать расходы — страховку на машину, бензин, квартиру, еду и одежду. Получилось четыреста долларов.

— Это больше, чем я рассчитывал платить начинающему архитектору, — сказал Эл. — Я допускаю, что там, у себя, вы были не начинающим, а суперзвездой, но здесь это не имеет никакого значения.

Он задумался.

— Ладно. Мы, евреи, должны помогать друг другу. Это будет моя мицва. Вы знаете, что такое мицва?

Шуша уже было собрался честно сказать “нет”, но вмешалась Алла:

— Еврейская благотворительность. Кто этого не знает!

— Молодцы. Теперь я вижу, что вы настоящие евреи. Да, это будет моя мицва. Позвоните мне через три дня.

По дороге домой они заехали в “Макдоналдс” и отпраздновали событие, сожрав, к восторгу детей, по целому биг-маку.

Через три дня Шуша позвонил Элу, и тот сухо сообщил, что решил взять другого архитектора...

Шуша открывает глаза. Перед ним люди в шлемах сражаются из-за продолговатого предмета. Это висящий над ним телевизор, по которому передают американский футбол. Слева висит капельница. От нее тонкий прозрачный шланг тянется к его вене. Где он? Шуша пытается привстать, но резкая боль в паху заставляет его лечь. Ему сделали обрезание? Как это получилось? Он же не хотел...

— Помните, — сказал ему на следующее утро доктор Ашер, — вы перенесли тяжелую операцию. Если начнется кровотечение, операцию придется повторить. Никакого секса в течение трех недель. Никаких мыслей о сексе — это может вызвать прилив крови. Тут мы вам немного поможем. Вы будете пить вот эти таблетки, они резко понизят ваш интерес к сексу, правда, иногда они вызывают головную боль.

Это была не просто головная боль, а настоящая американская супер-экстра-мега головная боль — тяжелая, невыносимая, со стуком в висках. Промучившись три дня, он решил перестать пить эти таблетки — какие там мысли о сексе в таком состоянии!

Это было ошибкой. Как-то поздно вечером он неосторожно включил телевизор и наткнулся на интимную сцену. И мгновенно — принизывающая боль.

Fuck!

Нет, уж лучше пусть болит голова.

В газете “Лос-Анджелес Таймс” Шуше попала статья, что в свободной Америке сексом занимаются в среднем в два раза реже, чем в католической Италии, хотя говорят о нем в два раза больше. Может быть, именно поэтому американца с утра до вечера бомбардируют изображениями женской груди и ягодиц. Они подстерегают его везде — в журналах, в кино, по телевизору, на шоссе, в магазине. В Риме тоже можно было увидеть рекламу, построенную на сексе, но, во-первых, ее было меньше, а во-вторых, там всегда присутствовала недоговоренность, тайна, что делало ее более действенной. Здесь же всё в лоб. Безукоризненно освещенные безукоризненной формы груди и ягодицы подавались вам без всякой игры и тайны, примерно как ванильное мороженое. Первое время он не обращал на них внимания — слишком примитивно и слишком много было других проблем. Сейчас же, когда ему все время говорят “только не думай о сексе”, ясно, что ни о чем другом думать невозможно, теперь и примитивная реклама стала действовать. Но каждая секунда приятного возбуждения от вида свежей, хорошо освещенной плоти мгновенно превращалась в мучительную боль.

Fuck!

Возбуждение мгновенно пропадало, но через минуту все повторялось. Следующие два дня были как на качелях. Боль в одном месте — таблетка. Боль в другом — выбрасываем эту таблетку и пьем обез-

боливающее. Телевизор — выбрасываем обезболивающее, опять пьем первую таблетку! Эти евреи превратили его во что-то вроде царя Мидаса.

Через неделю Шуша выбросил таблетки и сказал Алле:

— Если мы не займемся сегодня сексом, я взорвусь.

— А если швы разойдутся?

— Вызовем скорую.

Все это напоминало приготовление к хирургической операции. На ночном столике лежала стерильная марля и визитная карточка доктора Ашера. Шуша чувствовал себя то капитаном Гастелло, то Гаем Муцием Сцеволой, то Данко, отдающим людям свой жизненно важный орган.

Несмотря на боль, швы выдержали. Он стал сто процентным американским евреем. И результаты сказались немедленно. На следующий день пришло его портфолио из Израиля и ему позвонил Эл Шайн.

— Немедленно звоните в бюро Джима Меламеда! — закричал он в трубку. — Они ищут архитектора, я сказал им, что лучше вас они не найдут никого. Они ждут вашего звонка.

СЕМЬЯ МЕЛАМЕДОВ

Снаружи это было непримечательное офисное здание, но внутри Шуша был встречен взрывом разнужданного постмодернизма, все было покрашено в цвета портландского здания Майкла Грейвса*.

* Грейвс Майкл (*Graves Michael*; 1934–2015) — американский архитектор и дизайнер, один из пионеров постмодернизма.

— Не самое худшее, — успокоил себя Ш. — По крайней мере, лучше, чем у Пинг-Поца.

Джим повел его осматривать помещение. У странного объекта из желтых и красных кусков оргстекла, из которого торчал зеленый шланг с воронкой, Шуша в недоумении остановился:

— Что это?

— *Piece of art**, — небрежно бросил Джим.

Плохо знакомый с нью-йоркским акцентом, Шуша задумался: “Что он сказал? Писсуар? На глазах у всех?”

В кабинете Джима Шуша показал свои архитектурные фантазии и фотографии бумажных макетов.

— Замечательно, — сказал Джим. — Смесь Пиранези и Леонидова. А бумажные макеты вообще шедевры. Пора познакомиться с твоей семьей. Приходите к нам в это воскресенье. Запиши адрес. Возьмите купальники. Полотенца дадим.

“Зачем ему моя семья? — недоумевал Шуша. — Пинг-Поц тоже хотел сначала увидеть семью. Что это значит? Если, например, жена уродливая, а дети дебилы, на работу здесь не берут?”

Меламеды жили в большом доме на *Saltair Avenue*. Шуша с Аллой долго ломали голову, принести ли бутылку “Советского шампанского”, — на *Veuve Clicquot* денег не хватало. Опасения были напрасными, “Советское шампанское” было принято на ура.

Семья состояла из Джима, его жены Джуди и их детей Джейсона и Дженнифер. Все имена начинались на букву “Джей”. Хороший знак, решил Ш.

* Произведение искусства (англ.).

Детей засунули в бассейн, шампанское разлили по бокалам, и Джим стал увлеченно рассказывать историю их дома. Когда-то дом принадлежал психологу Эвелин Хукер, которая в 1950-х сумела доказать, что гомосексуализм не является психическим заболеванием и не нуждается в лечении. Она не была лесбиянкой, но очень сочувствовала угнетаемым секс-меньшинствам, в частности великому Кристоферу Ишервуду*, по роману которого был снят фильм “Кабаре”. Какое-то время Ишервуд жил у нее в доме, то есть здесь. Но когда у сорокавосемилетнего Кристофера начался роман с восемнадцатилетним Доном Бакарди**, это показалось защитнице угнетаемых выходом за рамки приличий, и паре пришлось найти себе другое место для жилья.

— Вы купили этот дом из сочувствия к меньшинствам? — поинтересовался Ш.

— Разумеется, — весело ответила Джуди. — Джим, как ты можешь заметить по наличию детей, вполне *straight*, — она сделала жест в сторону бассейна, где Мика и Ника, несмотря на скудный словарный запас, оживленно болтали по-английски с Джейсоном и Дженнифер, — но стоит ему разыскать очередное угнетаемое меньшинство, как он тут же готов маршировать с плакатом.

— Людей со стопроцентной сексуальной ориентацией просто не существует, — сказал Джим. — У всех у нас смесь того и другого. Чем конкретно ты хотел бы заниматься? — обратился он к Шуше.

* Ишервуд Кристофер (*Isherwood Christopher*; 1904–1986) — англо-американский писатель.

** Бакарди Дон (*Bachardy Don*; р. 1934) — американский художник-портретист.

— Архитектурой.

— До архитектуры надо дорасти. Пока могу предложить тебе должность макетчика. Зарплата — двадцать тысяч в год. А дальше — всё в твоих руках.

Шуша с Аллой переглянулись. Свершилось! Двадцать тысяч! Баксов! Друзья в Москве не поверят.

— У меня вопрос к макетчику, — сказала Джуди. — Дженнифер должна к завтрашнему дню сделать макет своего дома. Можешь ей помочь? Из любых материалов.

— Конечно! — воскликнул Ш. — С удовольствием.

Он потребовал, чтоб ему выдали несколько старых картонных коробок, резак и клей. В комнате Дженнифер Шуша с остервенением кинулся резать коробки на прямоугольные куски. Она следила за его действиями без особого интереса. Шуша предложил ей попробовать разрезать одну коробку самой. Она отказалась. Ей было скучно. Время от времени она порывалась идти обратно в бассейн, но каждый раз, подходя к двери на патио, сталкивалась с суровым взглядом матери, болтающей с Аллой у бассейна.

— Пойди позови маму, — сказал Шуша, когда макет был готов. — Покажешь ей, что мы сделали.

Дженнифер высунула голову в дверь и закричала:

— Мама, сюда! Быстро!

Вошла Джуди. Она внимательно осмотрела макет, потом спросила дочь:

— Ты сказала спасибо?

— *Thank you*, — вяло произнесла Дженнифер и убежала.

— Зачем ты все за нее сделал? — возмущенно спросил Мика по дороге домой. — Она ленивая и несчастная!

— Чтобы Джим взял меня на работу и мы могли купить тебе фотоаппарат, о котором ты мечтаешь.

Эта мысль повергла Мику в состояние глубокой задумчивости. Он впервые в жизни столкнулся с конфликтом между хорошей целью и плохими средствами.

MOONLIGHTING

— Я не в состоянии платить тебе больше двадцати тысяч, — сказал Джим, — но я не возражаю против *moonlighting*.

— *Moonlighting*? — удивился Шуша. — Гнать спирт из перебродившего сахара?

— Ты путаешь с *moonshining*. Гнать спирт можешь сколько твоя славянская душа требует. *Moonlighting* — это работа на стороне.

— Халтура! Я понял.

— *Khaltura*? Красивое слово. У меня для тебя есть *khaltura*. Некто Адам Эпштейн хочет, чтоб я ему сделал интерьер ресторана в его гостинице *Belétage*. Гостиница приличная, но ресторану нужен совсем другой интерьер. Я решил отказаться. Эпштейн любит получать все даром или почти даром.

— Ты хочешь, чтоб я ему все делал даром?

— Извини, что я продолжаю говорить, когда ты перебиваешь, — произнес Джим свою любимую фразу. — Адам очень образованный человек, говорит на восьми языках, не считая польского. Знаток европей-

ской живописи. Вся его уникальная коллекция развешана по всем комнатам и коридорам гостиницы — разумеется, в рамках с пуленепробиваемым стеклом и сигнализацией, так что не пытайся украсть.

— Обещаю. Буду держать свою славянскую душу в узде.

— У него есть одна слабость, — продолжал Джим, — патологическая жадность. Если будешь с ним работать, веди себя жестко. Скажи: “мой час стоит двадцать пять баксов”. Он начнет говорить “сделай мне по десять баксов, а я тебе приведу таких богатых клиентов, что ты сказочно разбогатеешь”. Не верь. В нем еврейская жадность постоянно побеждает польскую галантность. Мне, кстати, можно ругать евреев, я сам еврей.

— А славян? — спросил Шуша.

— Мне нельзя. Тебе можно.

Они сели в красный *Maserati Khamsin* 1979 года, главный источник гордости Джима и одновременно источник его страданий — ее надо было постоянно чинить. Создана машина была легендарным дизайнером Марчелло Гандини. Расстаться с ней Джим не мог. Слово *Khamsin* напоминало Джиму о его детстве, когда он целое лето провел в израильском кибуце, и все это время из пустыни дул хамсин*. Если бы в 1965 году Шуша не послушался родителей и поехал к двоюродной бабушке Соне в Израиль, у него был бы шанс познакомиться с Джимом уже тогда, и вся жизнь, возможно, сложилась бы иначе.

На этот раз *Khamsin* повел себя образцово. Было уже темно. С оглушительным ревом они промчались,

* Хамсин — сухой, жаркий ветер на северо-востоке Африки и в странах Ближнего Востока.

как ветер пустыни, по ярко освещенному Сансет-бульвару, вызывая оживление у стоящих на каждом углу проституток всех возможных этнических групп. Одеты они были (или, точнее, раздеты) с цирковой яркостью.

— Смотреть на них интересно, — сказал Джим, — но вступать с ними в отношения не советую.

— Приходилось? — поинтересовался Шуша.

— Из спортивного интереса. Быстро и эффективно. Физиотерапия. Ни к эротике, ни к сексу отношения не имеет.

Интерьер ресторана действительно выглядел убого, но, судя по количеству людей, осаждающих метрдотеля, это не имело значения. Метрдотель узнал Джима и быстро повел их обоих в зал. Сзади послышалось недовольное ворчание. Метрдотель обернулся и строго произнес слово “резервация”. Никакой резервации у них, конечно, не было.

Все столики были заняты. Два официанта быстро принесли еще один, с невероятной скоростью накрыли его белоснежной скатертью, расставили в идеальном порядке бокалы, вилки, ложки, ножи, салфетки.

— Сейчас ты увидишь пример гениального маркетинга, — прошептал Джим.

Перед каждым появился небольшой продолговатый поднос с жостовской росписью петухами и жар-птицами. На каждом подносе стояло восемь маленьких стопок, наполненных жидкостями разной степени прозрачности.

— Наши знаменитые водки домашнего приготовления, — сказал официант с сильным французским акцентом. — *C'est un compliment de la maison*. Подарок от хозяина.

— Ты понял, какой это гениальный маркетинг? — спросил Джим, когда официант отошел.

— Что тут необычного? В мексиканских ресторанах сразу приносят чипсы и гуакамоле, в итальянских — хлеб и оливковое масло...

— Я вижу, ты не настоящий славянин. Русские сразу выпивают все восемь. Восемь рюмок примерно по 70 грамм — это 560 грамм водки. После седьмой рюмки они перестают смотреть на цены и заказывают все самое дорогое. Ты хотя бы попробуй! Действительно замечательные водки.

— Я не пью водку.

— Может, и в шахматы не играешь?

— Нет.

— Какой же ты русский?!

— Вот именно! Плохой русский. Меня выслали в Америку на перевоспитание.

Когда они ели уху с расстегаями, появился сам Эпштейн — элегантный, седой, весь в черном. Джим представил Шушу как талантливого молодого архитектора, который сможет сделать прекрасный проект интерьера, разумеется, под неусыпным наблюдением самого Джима, который в данный момент, к несчастью, перегружен срочной работой.

— Замечательно, Саша, — сказал Адам. — Меня сейчас ждут. Приходи в субботу утром, и мы поговорим.

— *Rap mówić po polsku?** — спросил Шуша, стараясь произвести впечатление на потенциального клиента.

— *Neohotno, no sovershenno svobodno*, — сказал Адам с преувеличенным акцентом, испытующе глядя на Шушу.

* Вы говорите по-польски? (пальск.)

— Разумеется, — сказал Шуша. — С именем “Адам” вы просто обязаны цитировать “Аду” Набокова.

Эпштейн довольно улыбнулся, и Шуша понял, что первый тест он прошел.

В субботу Адам повел его на патио на крыше. Грязный заплыванный Голливуд-бульвар с десятиэтажной высоты выглядел гламурно. Перспективу замыкал знак HOLLYWOOD — оказывается, изначально он был рекламой комплекса жилых домов “только для белых”. А что ты удивляешься, объяснял ему Джим: в Калифорнии, всего за двадцать лет до твоего приезда, черный по закону был обязан уступить белому место в автобусе.

К ним подошел тот самый официант, который рекламировал водки.

— Ты голодный? — спросил Адам.

— Нет, спасибо.

— Тогда, Франсуа, — обратился Адам к официанту, — принеси нам кристально чистой воды города Лос-Анджелеса.

— *Oui, monsieur.* А вам, сэр? — обратился он к Шуше.

— Мне тоже.

— Может быть, что-нибудь получше, *Perrier* или *Evian*?

На лице Адама появилось страдальческое выражение:

— Франсуа!

— *Oui, monsieur.*

— Ты знаешь, как я тебя люблю.

— *Oui, monsieur.*

— После того как я сказал тебе “принеси нам кристально чистой воды города Лос-Анджелеса”, ты решил обратиться к моему другу с предложением изменить мой заказ?

— *Je suis terriblement désolé!** — сказал побледневший Франсуа.

— Я так восхищался твоей работой и тем, как быстро ты усвоил стиль поведения, принятый в ресторане нашего уровня, и тут — такой провал.

— *Je suis terriblement désolé!* — повторил Франсуа, и его лицо стало совсем белым.

— Ничего, ничего, — в Адаме, похоже, с опозданием проснулась польская галантность. — Это мелочь. *Je t'aime encore***. Неси нам скорее воду.

— Что у тебя в этой папке? — обратился он к Шуше, который был слегка напуган этой сценой.

— Я принес проекты интерьеров.

— Так, так, — Адам стал листать портфолио, — *charmant, charmant*. А как ты оцениваешь свою работу для клиентов?

— Если объем работы известен заранее, я могу рассчитать свое время и назвать точную сумму.

— Нет, нет, объем работы никогда не известен заранее. Сколько стоит твой час?

— Двадцать пять долларов.

— В час?

— Да.

— Двадцать пять?

— Да.

Адам задумался.

* Я ужасно извиняюсь! (фр.)

** Я все равно тебя люблю (фр.).

— Извини, — сказал он, — я вспомнил, что меня ждут в другом месте. Ты можешь остаться и заказать что-нибудь у Франсуа. Я тебе позвоню завтра.

Оба встали и пожали друг другу руки. Адам быстрым шагом направился к лифту. Подошел Франсуа.

— *Monsieur*, если хотите, я принесу меню. У нас на ланч сегодня классическое еврейское блюдо — *bagel, lox, cream cheese**. Всего тридцать четыре доллара.

— Нет-нет, спасибо, Франсуа, мне надо бежать. Рад был увидеться еще раз.

Адам позвонил на следующее утро.

— Мой дорогой, — сказал он, — я провел ужасную ночь. Мне было плохо. Когда ты назвал эту сумму, двадцать пять долларов в час, у меня закружилась голова. Где ты взял эту цифру? Откуда? Что это было? Есть только один человек, которому я готов платить двадцать пять долларов в час, это мой адвокат. Но он, по крайней мере, спасает меня от разорения, потому что есть сотни бандитов, которые хотели бы отнять у меня все, что я заработал кровью, потом и слезами. А что ты можешь мне сделать за эти двадцать пять долларов? Нарисовать красивую картинку? И это увеличит мой доход? Если ты готов понизить эту безумную цифру до десяти, я тебе приведу таких богатых клиентов, на которых ты сам не выйдешь никогда.

— Спасибо, Адам, — сказал Шуша, еле сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. — Звучит заманчиво. Дай мне два-три дня на размышления. Я тебе позвоню.

Звонить Шуша, разумеется, не стал. Адам, судя по всему, тоже потерял к нему интерес.

* Бейгл с лососем и сливочным сыром (англ.).

Следующая *khaltura* возникла только через полтора года. В Берлине начали ломать стену. По телевизору можно было видеть, как группа изможденных мужчин, видимо с Восточной стороны, пытается повалить кусок стены за привязанную к нему веревку. Это напомнило Шуше картину Репина “Бурлаки на Волге”. Джим немедленно полетел в Берлин, считая, что архитекторы там сейчас понадобятся. Вернулся через две недели похудевший, но с горящими глазами.

— Зайди ко мне, — сказал он Шуше. — Есть серьезная *khaltura*.

Когда Шуша вошел к нему в кабинет, Джим быстро встал, выглянул в коридор, потом закрыл и запер дверь.

— Ты, надеюсь, понимаешь, что происходит в мире?

— Ничего не происходит, — сказал Шуша. — Две Германии, возможно, объединятся, но Америку это не затронет. Горбачев пытается модернизировать коммунистическую партию, но это невозможно, *glasnost* и КПСС несовместимы. Возможно, его скоро скинут, как когда-то Хрущева, тем более что он начал борьбу с пьянством, а в России...

— Ты ничего не понял! — перебил Джим. — Это конец коммунизма. Вся Восточная Европа, включая Россию, теперь станет новым гигантским рынком. Мы с тобой поедem в Москву и откроем там филиал фирмы. Ты готов ехать?

Шуша растерянно молчал. Потом неуверенно заговорил:

— Если ехать, надо как минимум убедиться, что коммунизм действительно рухнул.

— Тогда будет поздно. Нас растопчет толпа конкурентов. Надо ехать именно сейчас.

— Дай подумать. Я позвоню друзьям-архитекторам и доложу тебе реальную обстановку.

— Думай и звони, а пока — реальный проект. В Восточном Берлине по городу, как шакалы, носятся авантюристы из разных стран, скупая предметы с коммунистической символикой. Хватают всё, даже обломки железобетонной стены. Я долго приглядывался, цены на всякий мусор росли каждый час. Единственное, чем никто не интересовался, — это мотки ржавой колючей проволоки, валявшиеся повсюду. Мне пришла в голову идея. Что если изготовить голубя мира — по рисунку Пикассо, но трехмерного? Из стекла, а в рот ему вставить не веточку, а кусок ржавой проволоки с Берлинской стены. Представляешь, какая символика? Короче, я подобрал один моток, метров тридцать, мне его упаковали в деревянный ящик и отправили морем в Лос-Анджелес. Будет здесь через два месяца. Нам как раз хватит времени, чтобы все подготовить. Ты уже начал осваивать *AutoCAD**. Сделаешь мне модель стеклянного голубя с куском проволоки в зубах.

— А кто-нибудь отличит одну ржавую проволоку от другой? Зачем надо было тратить деньги на перевозку?

— Типичные рассуждения русского! — возмутился Джим. — Зачем говорить правду, когда можно соврать. Если в газетной рекламе мы напишем, что это реальная проволока, которая разделяла мир во время холодной войны, нам поверят. Если соврем и кто-

* Система автоматизированного проектирования и черчения.

то узнает, нас засудят, и тогда репутацию уже не восстановить никогда.

— *AutoCAD* не годится, — сказал Шуша. — Нужны акварельные краски и акварельная бумага. Будет выглядеть как фотография. Но, честно говоря, эта скульптура никому не нужна.

— Я тебе не сказал главного, — быстро заговорил Джим. — Мы поместим рекламу с твоей фотореалистической акварелью на целую страницу в *Wall Street Journal*. На месяц!

— Ты представляешь, сколько это будет стоить?

— Будет стоить ровно ноль! — произнес Джим с сумасшедшим блеском в глазах. — Я уже поговорил с Бобом Бартли, мы оба из Миннесоты. Он редактор в *Wall Street Journal*. Газета будет нашим партнером. За рекламу мы не платим.

— Круто! Еду покупать акварель за счет фирмы.

— Нет-нет, никакой фирмы. Это *khaltura*. Только в нерабочее время и только дома. Тебе надо найти изготовителя, выяснить все цены и сроки. Начнем производство, как только получим первые пять заказов. В рекламе напишем: доставка в течение трех недель. Или двух — узнаешь у изготовителя, как быстро они смогут сделать первую партию, десять-двадцать штук. На работе никто не должен ничего знать. И вообще никто, пока только ты, я и Боб. Купишь все что нужно и включишь потом в счет. Сколько стоит твой час?

— Двадцать пять.

— Вот-вот, научил на свою голову. Но у тебя есть выбор. Ты можешь послать мне счет за всю работу плюс расходы, а можешь стать партнером. Одну треть получит газета, одну треть ты и одну я. Тогда все твои расходы — твои.

— Есть русская поговорка: лучше синица в руках, чем журавль в небе. Я выбираю синицу.

В магазине *Aaron Brothers* Шуша купил планшет с акварельной бумагой, акварельные краски, набор дорогих кисточек из сибирского колонка, и работа закипела. Он превзошел себя. Просидел не вставая, почти трое суток и довел свою акварель до фотореалистического правдоподобия. Джим был в экстазе. Он быстро написал рекламный текст, который звучал примерно так: “Библейский голубь принес в своем клюве пальмовую ветку, она означала спасение Ковчега и его обитателей. Этот голубь принесет в твой дом кусок колючей проволоки, которая разделяла мир в эпоху холодной войны. Эта стеклянная скульптура, сделанная по рисунку Пикассо талантливым скульптором из Восточной Германии, тоже олицетворяет спасение — от мира, разделенного враждой”.

— А что это за талантливый скульптор из Восточной Германии? — спросил Шуша.

— Найдем кого-нибудь. Что у них, скульпторов мало? Их всех наверняка учили соцреализму. То, что нам надо.

Готовый макет рекламы размером с газетную полосу был тщательно упакован, и Джим, которому как раз нужно было лететь в Вашингтон для встречи с клиентом, лично отвез его в редакцию.

— Ну и как? — спросил Шуша, когда Джим вернулся.

— Боб в полном восторге. Он рассчитывает на сотни заказов, а может, и больше.

Шуша получил за свою работу тысячу долларов плюс ему оплатили все покупки в *Aaron Brothers*.

Джим был так потрясен его акварельным мастерством, что теперь часто просил его делать презентации для клиентов. К этому времени ветер перемен, носящийся над Европой, достиг наконец Калифорнии. На фирму *James Melamed Partners* обрушился шквал заказов. Надо было набирать людей. Джим несколько часов в день интервьюировал выпускников *SCI-Arc**. Шуша был повышен до “младшего архитектора”. Теперь у него было такое количество работы, что он просиживал в офисе до позднего вечера.

— Кстати, — спросил он у Джима, когда они ели ланч в тайландском ресторане *Jitlada*, — как там наша птичка? Сколько штук продали?

— Ты представляешь, — ответил Джим, прожевывая *garlic shrimp*** — сегодня утром мне пришел в голову тот же самый вопрос. Я позвонил Бобу. Знаешь, что он мне сказал?

— Что?

— Он сказал: *make a wild guess****. Я прикинул, от четырех до восьми тысяч. Он сказал “холодно”.

Джим замолчал, продолжая жевать.

— Ну, давай уже, не томи! — не выдержал Шуша. — Ты покупаешь реактивный самолет?

Джим молча смотрел на него без выражения.

— Скорее, продаю велосипед, — произнес он наконец. — Количество проданных птичек равно нулю.

* Архитектурный институт Южной Калифорнии.

** Чесночная креветка (англ.).

*** Попробуй угадай (англ.).

МАРК ПОРЕМСКИЙ

— Есть *khaltura*, — сказал Джим.

— О господи! — вздохнул Шуша. — Еще один польский Гобсек?

— Польский кто?

— У Бальзака есть повесть про патологически жадного человека по имени Гобсек.

— Марк тоже польский еврей, но он скорее меценат. Пожертвовал два с половиной миллиона на борьбу с продажными политиками. Еще миллион — музею в Лос-Анджелесе. Двадцать миллионов — чикагскому...

— Понял, понял, достаточно! Что ему нужно?

— Это тебе предстоит выяснить. Заодно увидишь его уникальную коллекцию и уникальный дом. Точнее, один из его домов с одной из его коллекций. Поезжай прямо сейчас. Это в Малибу. Найти невозможно. Адреса нет. Улица без названия. Съезжаешь с десятого фривея на РСН. Проезжаешь по РСН ровно тридцать две с половиной мили, слева увидишь две группы деревьев, а между ними едва заметную дорогу. Осторожно пересекаешь встречную полосу, въезжаешь на извилистую дорогу и едешь, пока не упруешься в запертые ворота. Выходи из машины и жди. Тебя будут внимательно рассматривать через камеры наблюдения. Потом услышишь голос охранника: “Чем могу быть полезен?” Скажешь: “Алекс Шульц от Джима Меламеда к Марку Поремскому”. Ворота откроются, поедешь вперед и остановишься у мавританского фонтана. Оставишь там машину и пойдешь к главному зданию. Разыщешь хозяина и выяснишь, что ему нужно. Скажешь, что все де-

лать будешь ты, но под моим неусыпным руководством.

Все это напоминало “Театральный роман” Булгакова — увидите автомобиль без колес, человек в тулупе спросит, вы зачем, а вы ему скажете: назначено... Шуша поехал. Все было точно, как описал Джим. Оставил машину у восьмиугольного мавританского фонтана, отделанного керамической плиткой, поднялся по кирпичным ступенькам главного здания. В центре фасада был витраж, стилизованный под Бёрн-Джонса или кого-то еще из прерафаэлитов. Войдя в огромный вестибюль, он ахнул: там стояла черная отливка роденовского Бальзака во весь рост. На ковре под большой картиной Фернана Леже сидели три подростка, увлеченные компьютерной игрой *Super Mario 64* на телевизоре *Sharp*. Таких больших телевизоров Шуша еще не видел.

— Извините, ребята, — обратился к ним Шуша, — где мне найти Марка Поремского?

Один из подростков быстро вскочил на ноги и с неожиданной для американского тинэйджера приветливостью сказал:

— Пойдемте, я вас провожу!

Они поднялись по лестнице, ведущей в большую спальню. На покрытой пледом кровати лежал и читал маленький лысый человечек в больших очках, тренировочных штанах и футболке.

— Пап, — крикнул подросток из двери, — к тебе пришли.

Человечек быстро встал, всунул ноги в шлепанцы и протянул руку:

— Марк Поремский. Вы от Джима?

— Да, Алекс Шульц. Джим просил, чтобы вы рассказали мне о проекте. Работать буду в основном я под его, как он сказал, “неусыпным руководством”.

— Неусыпным, — улыбнулся Марк, — это обнадеживает.

— Я поражен вашим домом, — они медленно спускались по лестнице. — Эти копии Бёрн-Джонса и Родена...

— Это не копии, — сказал Марк. — Раз уж вы интересуетесь искусством, давайте я вам кое-что покажу.

Они спустились в вестибюль, где Шуша сразу обратил внимание на странное сооружение, что-то вроде этажерки, стоящее на большой деревянной платформе; белая полка на круглых ножках поддерживала другую полку на витых ножках, на которой стояла полусфера с палкой. Из палки расходились стилизованные лучи. Вокруг были расставлены скульптуры, мраморная голова с греческими буквами, голова Бальзака, еще чья-то голова и несколько совсем странных предметов.

“Такое мог сварганить только Этторе Соттсасс, — подумал Шуша, — тот самый, которому эти итальянские *stronzi** так и не послали мой концептуальный проект”.

Они остановились у головы Бальзака.

— Подлинников Родена не существует вообще, — начал Марк. — Через сорок лет после смерти Бальзака французские писатели из *Société des Gens de Lettres*** заказали Родену скульптуру. Срок был во-

* Придурки (итал.).

** Общество французских писателей (фр.).

семнадцать месяцев. Роден работал семь лет. Писатели взбунтовались и стали грозить судом. За эти семь лет Роден изучил все что можно про Бальзака, сделал десятки, если не сотни, небольших гипсовых моделей. В конце концов выбрали одну из его моделей, мастера сделали с нее большую гипсовую копию и выставили в Салоне, где она не понравилась никому, кроме художников-импрессионистов.

— Это можно понять, — вставил Шуша. — Это чистый импрессионизм.

— Именно. Поэтому-то за него вступились Тулуз-Лотрек, Моне и даже Сезанн. Роден обиделся и оставил большую гипсовую модель у себя дома. Только через двадцать два года после смерти Родена с этой большой модели сделали бронзовую отливку, которая до сих пор стоит на бульваре Монпарнас. А музеи мира наводнены отливками и копиями, сделанными с маленьких и одной большой модели. Какая-то часть из них — в этом доме.

— Вы, наверное, искусствовед?

— Нет-нет, я любитель.

— А кто вы по профессии?

— Я когда-то преподавал философию в Калифорнийском университете.

Шуша с удивлением смотрел на сказочного гнома в больших очках.

— Никогда не думал, — сказал Шуша после паузы, — что за философию так хорошо платят.

Гномик рассмеялся.

— За философию платят гроши. Мне повезло. Сначала я попал на лекцию одного из самых блестящих мыслителей столетия, Джона фон Неймана,

венгерского еврея. От него я впервые услышал слово “компьютер”. А потом я вложил небольшую сумму денег в маленькую компанию, которая потом выросла.

— Как она называлась?

— Вы, возможно, слышали, *Intel*.

— Что?! И у вас по-прежнему есть их акции?

— Не очень много, но есть. У моего друга Эндрю Гроува их больше, он тоже, кстати, венгерский еврей. Вообще, роль венгерских евреев в создании Силиконовой долины недооценена. Короче, после лекции Джона я решил, что академическая карьера мне не подходит. Я разыскал компанию, которая уже начинала делать компьютеры. Пошел к ним работать. Тот факт, что я ничего не знал о компьютерах, не имел никакого значения — никто ничего не знал о компьютерах, не существовало ни одной книги, ни одного учебного курса. Мы всё придумывали с нуля. Потом я создал свою компанию, потом мою компанию купила компания *Xerox*, а я стал начальником одного из отделений. Потом мои друзья, занимающиеся полупроводниками, решили создать свою компанию и пригласили меня к ним присоединиться. Так три десятилетия назад началась Силиконовая долина, а я стал обладателем большой коллекции искусства.

— Для души или как инвестиция?

— Нет-нет! Я не дилер. Я не смешиваю деньги с искусством. Только для души. Когда я приобретаю новые вещи, то те, к которым уже остыл, отдаю в музеи. У меня нет запасников. Когда я умру, часть моей коллекции перейдет в галерею Поремского в Иерусалимском музее, часть в музей Лос-Анджелеса, часть в *MoMA*.

Шуша, взглянув на часы, решил, что надо переходить к делу:

— Давайте теперь поговорим о проекте, которым Джим будет “неусыпно руководить”.

— Давайте, — сказал Марк. — Помните, был такой фильм с Барброй Стрейзанд, “Смешная девчонка”?

— Слышал, хотя не видел.

— Ну да, вы из России. Сценарий написала разочаровавшаяся коммунистка Изабель Леннарт, у которой на этом самом месте стоял дом, довольно уродливый. Когда она умерла, я купил этот дом у ее мужа, снес его и решил построить новый. Меня всегда привлекал стиль *Spanish Revival*. Природа и климат Малибу немного похожи на юг Испании, поэтому здесь этот стиль очень прижился. Для интерьера я пригласил Соттсасса.

— Я так и думал! — воскликнул Шуша. — Его стиль.

— Вы тоже его знаете?

— Лично нет, но он великий дизайнер, я прочел почти все, что про него написано.

— Да, да, он мой друг. Он сделал прекрасный дизайн интерьера и украсил его своими парадоксальными композициями. Вот хотя бы эта этажерка, до сих пор не могу смотреть на нее без улыбки. Но главное, он нашел идеальное место для каждого предмета из коллекции. Теперь, через пятнадцать лет, моя коллекция изменилась, и интерьером опять надо заниматься. Я позвонил Этторе. Он сказал, что с удовольствием прилетит расписать со мной бутылочку *Brunello di Montalcino*, но он слишком стар, чтобы работать. Он знает, что я не пью, это была просто итальянская любезность.

— Как жалко!

— Очень, — подтвердил Марк, — но для вас это шанс стать соавтором Этторе.

— Об этом я не мог и мечтать, — сказал Шуша, — но я пожертвовал бы этим шансом за возможность увидеть еще одно творение Этторе.

— Ну что же, — сказал Марк, — я верю, что вы говорите искренне. Это дает надежду, что мы сможем сработаться, под “неусыпным” или без него...

Через неделю Джим сообщил Шуше, что проект отменяется. Марк Поремский умер от разрыва сердца в самолете Лос-Анджелес — Тель-Авив.

ДИАЛОГ СО ШПИОНОМ

В кабинете Джима сидел высокий пожилой мужчина в костюме и галстук. Высокий лоб, губы чуть кривит усмешка... Его лицо показалось Шуше смутно знакомым. Но где он мог его видеть?

— Знакомьтесь, — сказал Джим, — это Алекс, а это мой троюродный, или что-то в этом роде, дальний родственник, Джоэл.

— Не такой уж и дальний, — сказал Джоэл.

— Дальний, дальний, не примазывайся! В общем, я убегаю на встречу. Можете тут поболтать, если хотите, пока меня не будет, — сказал Джим и уже в дверях добавил: — Даже по-русски!

— Вы говорите по-русски? — удивленно спросил Шуша.

— Да, конечно, — ответил Джоэл почти без акцента.

— Мне кажется, я вас где-то видел. Вы не могли быть... в Зеленограде?

— Мог — это не то слово, — сказал Джоэл, улыбувшись. — Я, можно сказать, создал Зеленоград.

Шуша уставился на него.

— Иосиф Вениаминович Берг? Советский шпион?

— Иосиф Вениаминович — да. Советский шпион — нет.

— Но вы же были в одной группе с Розенбергами.

— Был, меня могли арестовать, поэтому пришлось бежать, хотя я никакой секретной информации не передавал...

— Подождите! А радары? А *proximity fuse*?

Тут настала очередь Иосифа Вениаминовича замереть.

— Откуда такая информация? — спросил он после паузы. — Это вы, наверное, советский шпион?

— Могу рассказать, — ответил Шуша. — Я собирался эмигрировать, и меня вызвали в отдел кадров. Там кагэбэшник стал объяснять мне, какой я дурак, что хочу бежать из СССР, когда умным и честным американцам приходится бежать из Америки. Намекал на вас. Упомянул радары и все остальное. Сказал, что вы никогда не добились бы такого высокого положения в Америке.

— Он прав. Мы получили такие возможности, о каких здесь не могли бы и мечтать. Если нам в чем-то отказывали, звонили Хрущеву, и тут же все получалось. У нас было все, чего не было у советских людей, — машины, квартиры, деньги...

— Довольно странно слышать это от бывшего коммуниста.

— Почему бывшего?

— Тогда при чем тут деньги?

— Я говорю о миллиардах рублей, на которые мы создавали советскую микроэлектронику. Мы не строили себе дач.

— Тогда почему вы здесь?

— Я приехал повидаться с детьми. ЦРУ дало мне понять, что я их больше не интересую. К сожалению, всего хорошего, что было в СССР, больше нет. Страна копирует Америку, причем берет самое худшее. Но ваш кагэбэшник прав, вы сделали глупость. Я тут зашел в супермаркет — все в Америке, как вы уже заметили, супер, экстра или мега — на полке двадцать шесть сортов горчицы. Кому это нужно? Зачем такое расточительство ресурсов и человеческого труда! В ленинградском гастрономе был один сорт горчицы, и всем хватало.

— А вам не кажется, что это вы совершили глупость, убежав в СССР? Вас там поместили в золотую клетку, вы ничего не знали о стране, о терроре, о диссидентах, которых принудительно лечили психотропными препаратами, — вернее, отказывались знать, потому что это разрушало вашу веру. Ваши дети сбежали, потому что они не были рабами идеи, как вы, и могли смотреть трезво. Ваши родственники, судя по Джиму, не встретили вас с распростертыми объятьями.

— Джим еще ничего, — вздохнул Джоэл. — Родной брат сказал, что не хочет иметь со мной ничего общего.

— А на что вы рассчитывали? Вы, кстати, читали Солженицына?

— Нет, разумеется! Зачем мне читать пропаганду, изданную на деньги ЦРУ?

— Ну да, вы предпочитали пропаганду, изданную на деньги КПСС.

— В СССР деньги распределяла не партия, а Госплан.

— А кому вы звонили, когда вам чего-то не давали? Госплану? Вы звонили первому секретарю партии, а по конституции ей принадлежала “руководящая роль”. И вы, кстати, дешево отделались. Брат моего деда, он старше вас лет на десять, был таким же фанатиком коммунизма, как и вы. Бежал из еврейского местечка, но не в Америку, как умные евреи вроде ваших родителей, а в Россию. Дошел до должности наркома земледелия и был расстрелян в 1938-м, как раз когда вы были ослеплены любовью к СССР.

— Примерно как вы сейчас ослеплены любовью к США.

— Был ослеплен. Мы считали, что раз пропаганда говорит, что в Америке всё плохо, это значит, что там всё хорошо. Мое ослепление быстро прошло. Идеальных стран нет. Главная опасность Америки не в наивных коммунистах — даже ЦРУ, как видите, не воспринимает вас всерьез, — а в ксенофобии и антиинтеллектуализме...

— Слушайте, Алекс, — перебил его Джоэл, — этот диспут нас ни к чему не приведет. Скажите мне честно, в вашей жизни в СССР было что-то хорошее?

Шуша задумался.

— Да, — сказал он наконец. — Все, что не имело отношения к государству. Дача. Лес. Речка.

— Стоп! — перебил Джоэл. — Откуда взялась дача?

— Это была дача Наркомата путей сообщения. Ее получил дед моей двоюродной сестры.

— От государства? Бесплатно?

— Да, но цена оказалась высокой. Он выбросился из окна, когда понял, что его должны арестовать. Его смерть сочли несчастным случаем, поэтому семья смогла сохранить дачу.

— Но у вас было бесплатное обучение и бесплатная медицина.

— Да, но если бы вы учились в моей школе, вы никогда бы не создали советской микроэлектроники, можете мне поверить. А за высшее образование, если ты эмигрировал, по закону деньги надо было возвращать государству.

— Это справедливо, — сказал Джоэл, — государство в вас вкладывало.

— Пусть даже справедливо, но это нельзя назвать бесплатным образованием, если ты обязан его отработать или вернуть деньги. К счастью, когда я уезжал, этот закон уже отменили. Медицина действительно была бесплатной. Если я в детстве болел гриппом, врача из районной поликлиники приходила к нам домой и выписывала капли. Но если было что-то серьезное, надо было вызывать старого Тумаркина, который когда-то лечил моего отца, но уже за деньги. Когда перед эмиграцией мне надо было надеть несколько коронок на зубы, друзья по большому благу... Вы, кстати, знаете, что такое “блат”?

— Разумеется. Но мы им не пользовались.

— *Really?* А звонок Хрущеву — это что? Короче, всем, кому надевали коронки бесплатно, потом

приходилось их снимать за деньги. Поэтому я, миная бесплатного дантиста, пошел в поликлинику старых большевиков, которых, правда, к этому времени расстреляли, к какому-то Юзефу, и он за большие деньги все сделал. В Америке дантист пришел в ужас, и все пришлось переделывать за гораздо бóльшие деньги, но, по крайней мере, у меня теперь голливудская улыбка. Кстати, где вам лечили зубы?

— В системе Министерства электронной промышленности.

— И как там зубоврачебное дело?

— Прекрасно. Никаких проблем.

— Вы не возражаете, — осторожно спросил Шуша, — если я взгляну на ваши зубы?

Джоэл удивленно посмотрел на Шушу и раздвинул губы. Шуша взглянул.

— Узнаю ажурную работу Юзефа, — саркастически сказал он.

ПРОФЕССОР И МАРГАРИТА

В пятницу вечером Шуша заглянул в кабинет начальника.

— Хелло, Джим! Есть минута?

— Как я могу отказать русскому шпиону? — привычно пошутил Джим. — Надеюсь, мне зачтется, когда придет Красная армия?

— Обещать не могу, — Шуша уже привык к необходимости участвовать в этой затянувшейся шутке, — но замолвлю словечко, может, тебе поставят в камере кульман.

— *What's up?** — быстро сказал Джим, давая понять, что минутка юмора окончена и в пятницу вечером он спешит к своей Джуди и детям.

— Джим, я очень ценю возможность работать с тобой, но...

— Что? Тебе Гери предложил больше денег?

— Я не собираюсь увольняться. Лучше работы у меня не было и, скорее всего, не будет...

— О'кей, о'кей, что нужно?

— Мне нужен трехмесячный отпуск за свой счет.

Джим выпучил глаза.

— Чтобы делать что?

— Джонс Хопкинс предлагает трехмесячный грант в Вашингтоне — написать историю советского урбанизма.

Джим начал барабанить пальцами по столу.

— Ммм, любопытно, — задумчиво произнес Джим. — И ты знаешь, что писать?

— Конечно.

Джим продолжал барабанить по столу.

— Любопытно... Вот тебе мои условия. Через три месяца ты возвращаешься и работаешь у меня еще год, нет, лучше два. Все, что ты там напишешь, будет подписано *Alexander Shults, James Melamed Partners*, а мы сделаем несколько пресс-релизов. И последнее: по дороге ты заедешь в город Колумбус, куда я всю жизнь собирался, но так и не доехал, и сделаешь мне кучу фотографий.

— Принимаю все три, — быстро сказал Шуша, стараясь скрыть ликование. — А что хорошего в этом Колумбусе?

* Что случилось? (англ.)

— Там жил некто Ирвин Миллер. Унаследовал успешный семейный бизнес, а потом создал фонд, который платил знаменитым архитекторам, чтобы те строили что-нибудь среди кукурузных полей. Увидишь там Сааринена, Мейера, Вентури, Пейя, Пелли и других того же уровня.

— Отлично. Выставка достижений народного хозяйства.

В конце апреля Шушины соседи — профессор Куропаткин с женой Маргаритой — собирались ехать из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк на машине и прибыть туда 26 мая, примерно в то же время, когда Шульцу надо было быть в Вашингтоне.

— Поезжайте с нами, — сказал ему Куропаткин. — Увидите всю Америку. Практически маршрут Ильфа и Петрова. Лишних денег тратить не придется, ночевать будем на кэмпграундах, у нас с собой палатка и спальные мешки. Мешок для вас найдется.

— Звучит заманчиво. Но я думал взять с собой Аллу, если найдем, куда пристроить детей. Она тут что-то загрустила. Дети ее стесняются, она якобы не так одета.

Профессор оглянулся, не слышит ли Маргарита, и сказал негромко:

— Не делайте этой глупости. Если вы хотите серьезно работать, вам надо быть свободным. Не упустите!

Уговорить Шушу было легко, кроме всего прочего, с машиной упрощалось посещение Колумбуса. Аллу, как выяснилось, взять было невозможно — через неделю ей предстояло стать, как ни странно, преподавателем английского языка в школе — три раза в неделю по три часа.

— Не понимаю, — говорила она Шуше, — у них наверняка есть преподаватели, для которых английский язык родной. Я, конечно, рада начать что-то делать, но почему им понадобилась иностранка?

— Мексиканские дети, — отвечал ей американизированный Шуша, — не видят необходимости учить английский язык, потому что дома у них говорят по-испански. Они вообще не верят, что можно выучить иностранный язык. А когда увидят, что ты, из неведомой России, говоришь на хорошем английском, они, может быть, поверят, что у них тоже получится.

Профессор и Маргарита взяли на себя роли мистера и миссис Адамс из “Одноэтажной Америки”. В качестве транспортного средства, вместо “форда” 1935 года, они предложили тоже “форд”, но 1980-го, и не “благородно мышиноного”, а шоколадного цвета.

Таланты профессора и Маргариты находились в странном противоречии с их профессиями. Математик Куропаткин обладал ярким творческим воображением, в речи употреблял сложные метафоры и неожиданные сравнения, при этом был абсолютно не приспособлен к быту и плохо считал в уме. Маргарита, преподающая “арт” в средней школе, наоборот, поражала энциклопедическими знаниями и способностью решать любые логические проблемы.

Вечером перед отъездом Шуша привез к ним, как договаривались, свои два чемодана и положил сверху на чудовищную грудку вещей, уже занимающую полкомнаты. Стало ясно, что в одну машину все это влезть не может.

— Не оставить ли дома профессора? — игриво спросил архитектор.

— Нет-нет, — вмешался их сын, приехавший на несколько дней из Нью-Йорка, — родителей разделять нельзя, потому что это не два человека, а один.

Он был прав. В поездке Шуша в этом убедился. Водители иногда ведут с собой мысленный диалог вроде “сменю-ка я сейчас полосу, там впереди два грузовика, и там менять полосу будет труднее, и, кстати, прибавлю немного скорость, чтобы разогнаться перед подъемом”. Чем опытнее водитель, тем больше вероятность, что такой внутренний диалог у него будет происходить неосознанно. У профессора и Маргариты этот диалог происходил на уровне подсознания. Но вслух. Кто бы из них ни рулил, форма диалога не менялась: один произносил реплику, другой — следующую. Мысленный диалог водителя в их исполнении выглядел так:

ПРОФЕССОР. Не сменить ли мне сейчас полосу?

МАРГАРИТА. Хорошая идея. Там впереди два грузовика, менять будет труднее.

ПРОФЕССОР. Может, и скорость прибавить немного?

МАРГАРИТА. Конечно! Надо разогнаться перед подъемом.

Между мужем и женой была некоторая разница. Когда за рулем сидел Шуша, жена полностью отключалась, а муж — нет. Математик продолжал вести машину вместе с архитектором. Разумеется, вслух. В какой-то момент Шуша осторожно попросил профессора этого не делать, и тот перестал, но было видно, что он мучается. Тогда Шуша попросил его пере-

стать этого не делать, но гордый Куропаткин отказался, и, когда Шуша был за рулем, тот продолжал молчать, стиснув зубы.

...Пока Шуша с ужасом рассматривал кучу вещей, профессор демонстрировал олимпийское спокойствие.

— Вы не знаете Маргариту, — сказал он, — все прекрасно поместится. У нее в голове уже выстроена трехмерная модель каждого предмета, и сейчас она занята комбинаторикой. Как только решение будет найдено, погрузка займет считанные минуты, потому что в ее голове для каждого предмета уже будет определено не только место, но и порядок загрузки.

Когда Шуша приехал на следующее утро, он сразу заглянул в машину. Произошло чудо. Все сошлось, как в головоломке: выступы одних предметов припались точно в углубления других. Машина казалась полупустой...

Последние две недели перед поездкой были посвящены выбору пути. Окончательный маршрут напоминал карту метро Лос-Анджелеса. Когда оно строилось, в мэрии шли битвы — каждый представитель этнической группы тянул линию в свое гетто. В результате первая линия метро стала причудливым зигзагом. Маршрут Шульца и Куропаткиных возник по тем же принципам и выглядел примерно таким же зигзагом, но в масштабе целой страны. Были составлены списки друзей и объектов, которые надо посетить. Шульц рвался к архитектуре, в его список входили город будущего Аркозанти, школа-студия Райта Талиесин-Вест, стеклянный дом

Джонсона, постмодернистская Пьяцца д'Италия, дом над водопадом того же Райта, мемориал Майи Лин, Колумбус, плюс несколько старых друзей и знакомых. Список Куропаткиных включал национальные парки, природные заповедники, зоопарки, чудеса природы и тоже нескольких знакомых. Конфликтов не возникло. На карту нанесли все точки из обоих списков, и Маргарита мгновенно выстроила оптимальный зигзаг.

— Она практически решила так называемую “задачу коммивояжера”, — сказал Куропаткин. — Ее впервые сформулировал Карл Менгер, но теоретического решения до сих пор нет, все потому, что Маргарите некогда ею заняться, ей надо преподавать “арт”.

Было ли это шуткой? К концу поездки Шуша пришел к выводу, что профессор не шутил никогда. То, что у него звучало как шутка, было мыслью в компактной форме.

После Сан-Диего свернули на восток, перевалили через первые хребты, и путешественников сразу же обдало сухим жаром пустыни. Хотя было всего лишь 35 градусов по Цельсию, а не 50, как их пугали, было жарко, тем более что опытные водители посоветовали не включать кондиционер, а, наоборот, включать печку, чтобы не перегревался мотор. Шуша и Куропаткины следовали этой мудрости и добросовестно потели, хотя порой закрадывалась крамольная мысль, что эти советы относились скорее к “форду” 1935 года, чем 1980-го. Влажность была около десяти процентов, суше, чем в Сахаре, поэтому пот высыхал мгновенно, и не было противной липкости. Пить надо непрерывно, говорили опытные путеше-

ственники, даже если не хочется. Влагу теряешь быстро, и если не пить, может незаметно произойти обезвоживание, за которым следует смерть.

На первой бензоколонке Куропаткин заявил, что будет пить *Seven Up*.

— Есть теория, которая связывает название этого напитка, — начала Маргарита тоном школьной учительницы, — с атомным весом лития, около семи граммов на моль. Литий начали добавлять в этот напиток за две недели до начала Великой депрессии 1929 года, что оказалось кстати, поскольку литием тогда лечили депрессию.

После этого сообщения хранительница семейного кошелька Куропаткиных заявила, что она не выдаст главе семьи два “квотера” для автомата *Seven Up*, но не из-за лития, который перестали добавлять в 1948 году, а из-за сахара, который, наоборот, стали добавлять в огромных количествах. Разгоревшаяся полемика закончилась победой сострадания над логикой, и Куропаткину было выдано два “квотера”.

Когда Ш увидел выкатившуюся из автомата ледяную запотевшую алюминиевую банку, он испытал примерно такое же чувство, какое испытывает алкоголик при виде запотевшей рюмки с ледяной водкой. Хранительница их семейного бюджета была далеко, поэтому Шуша, не задумываясь, опустил в автомат свои два “квотера”. Пить ледяной *Seven Up* в пустыне оказалось сказочным наслаждением. Математик и архитектор тут же заявили Маргарите, что будут покупать и пить его на каждой бензоколонке, и плевать им на калории, ожирение, диабет и потерю привлекательности для лиц противоположного пола.

Вакханалия продолжалась, пока не обнаружилось любопытное свойство этого напитка. Он прекрасно утоляет жажду, но ровно на пять минут, после чего пить хочется еще сильнее. Легко попасть в замкнутый круг и пить *Seven Up*, уже не переставая.

— Именно это произошло с некоторыми индейскими резервациями, — сказала Маргарита. — Там есть индейцы, которые только лежат и пьют *Seven Up*, который правительство поставляет им бесплатно в неограниченных количествах, потому что у американцев комплекс вины за геноцид. Животы у индейцев раздуваются до диких размеров, а продолжительность жизни падает лет до двадцати.

— Это же тоже геноцид! — возмутился Шуша. — Неужели ничего нельзя сделать?

— У американцев существует культ индивидуальной свободы, — объяснила Маргарита. — Они считают, что не могут навязать индейцам свое представление о здоровье. А что бы вы предложили — надеть на них смиренные рубашки и отправить на принудительное лечение к психиатру Снежневскому?

— Давайте заедем в какую-нибудь резервацию и посмотрим своими глазами.

— Видите ли, Шуша, — сказала Маргарита. — Во-первых, у нас жесткий график, и мы должны попасть в Нью-Йорк не позднее 26 мая. Я была бы готова заехать на резервацию, если бы вы вычеркнули из списка ваших знакомых из Огайо. А во-вторых, я вообще считаю, что глазеть на живых людей, как на животных в зоопарке, безнравственно.

К концу дня они были в Аризоне. Это была уже другая пустыня, не плоская, а гористая, заросшая сухими кустами, колючками и репейниками. Кое-где

лежали нагромождения скал и камней. И среди всего этого, как распухшие телеграфные столбы, стояли кактусы. Некоторые прямые, как палки, высотой метров десять. Некоторые как бы в недоумении разводили руками-отростками. Некоторые стояли подбоченясь, как будто собирались танцевать мексиканский танец харабе, не хватало только сомбреро.

У Шуши родилась частушка:

Аризона, Аризона,
Распрекрасная ты зона,
Как тоскую я по Вале
Здесь, на кактусоповале!

— И что, есть реальная Валя, по которой вы тоскуете? — поинтересовался профессор.

— Конечно! Валентина Васильевна Щеголева. Моя мама.

Контора кэмпграунда была закрыта — заплатить за ночлег было некому. Зато удалось посетить туалет, единственную часть конторы, открытую круглосуточно. И снова, в который раз, поразились санитарной чистоте посреди пустыни. Снаружи на стенах конторы висели красочные плакаты, изображающие местную флору и фауну, включая все виды ядовитых змей. Главный совет администрации: “Вы змей не трогайте, тогда и они вас не тронут”. Плакаты советовали ходить в темноте с фонариком, чтобы не наступить на змею. Администрация явно больше заботилась о защите змей от людей, чем наоборот.

Около двух часов ночи раздалась зычные отрывистые команды. Это профессор Куропаткин спасал

их от стихийного бедствия. Сначала профессор не мог спать, стараясь понять по доносившимся из стоящего рядом фургона шорохам, чем именно там занимались. Когда загадка была в общих чертах разгадана, он обратил внимание на западную часть неба, покрытую тучами и пронизываемую молниями. Тут он вспомнил, как ровно год назад они с Маргаритой попали в страшную грозу в Техасе и их машину чуть не перевернуло ветром. Поэтому теперь, когда он увидел тучи и расколовшую все небо молнию, решение созрело с быстротой той самой молнии:

— Снять палатку! Вещи — в машину! Ехать!

На вопрос, куда ехать, ответа не было. Эта часть программы была в процессе разработки.

Отчаянный крик математика застал остальных членов группы врасплох. Сонные Шуша и Маргарита не были готовы к сопротивлению. Они послушно сняли палатку, закидали все вещи в машину и сели в нее сами. Постепенно к ним стали возвращаться сознание и воля. Они начали осторожно роптать на тему “не слишком ли поспешно некоторые руководители решают комплексные проблемы переброски людских ресурсов?”. Дождь то накрапывал, то переставал. В конце концов робкий ропот перешел в открытый бунт. Шуша и Маргарита вылезли из машины, снова поставили палатку и легли спать. Притихший и пристыженный профессор тоже лег. Они спокойно проспали до утра. Буря так и не материализовалась.

У читателя может возникнуть впечатление, что профессор был неправ, а эти двое правы. Это неверно. Прав как раз оказался профессор, но это была правота сэлинджеровского Гао, который “проникает

в строение духа и, постигая сущность, отмечает несущественные черты”. Буря произошла на 24 часа позже, в кэмпинге около города Флагстаффа. Они вымокли до нитки и потом два дня сушили матрас, спальные мешки и подушки в сушильных автоматах прачечной, уже ставшей привычным элементом американского туризма.

В городе Скотсдейле они долго гоняли по пустынным выжженным солнцем улицам, пока наконец не увидели забор, около которого стоял скульптурный знак *Soleri*, в честь архитектора, скульптора и визионера Паоло Солери, придумавшего “город будущего” Аркозанти. На заборе висели две надписи: “Открыто с 8 до 5” и “Просим не фотографировать мистера Солери и его учеников”. Пройдя сквозь сотни развешенных бронзовых колокольчиков и больших колоколов, они увидели весь город. Разбросанные по территории постройки представляли собой скульптурное переплетение бетонных растительных форм. Все было трехмерным, формы то вращались в землю, то вскидывались куполом, поддерживаемым причудливо изогнутыми орнаментальными подпорками. В голову приходили слова “вычурность” и “ар-деко”.

В начале 1970-х сотни студентов-архитекторов со всего мира были готовы не только работать в Аркозанти все лето, но и платить за это право три тысячи долларов. Для Шуши возможность попасть туда в те годы была еще менее реальной, чем, скажем, полет на Луну. Даже если каким-то чудом его — не комсомольца, проводящего время в кафе с диссидентами и антисоветчиками, — выпустили бы за границу, где бы он взял три тысячи долларов?

Сейчас город казался заброшенным, похоже, желающих поработать и заплатить за это не осталось. Главным источником дохода стало литье колоколов самых разных форм, стилей и размеров с ценами от 30 до 300 долларов. Прямо перед путешественниками, за табличкой “Посторонним вход воспрещен”, стояла литейная машина, рядом с ней бетономешалка и камнедробилка. Мимо проехала изможденного вида девица на мотоцикле. Прошла обожженная аризонским солнцем толстуха-коротышка с отбойным молотком и злобным выражением лица. Это было то самое выражение, которым в подмосковной церкви встретят веселую столичную компанию: выгнать мы их не можем, врата храма открыты для всех, но какого черта они тут шляются!

— Я должен познакомиться с Паоло Солери! — решительно сказал Шуша. — Мои московские коллеги мне не простят, если я этого не сделаю.

Все трое вошли в контору, и Шуша завел разговор с сидящей там девушкой в выцветшей майке когда-то голубого цвета, шортах и пыльных сандалиях.

— Я не знаю, получится ли это у вас сегодня, — сказала она неуверенно и крикнула куда-то: — Патрик!

Из-за загородки появился Патрик в такой же майке, шортах и сандалиях.

— Видите ли, — сказал он, — в это время дня Паоло недоступен даже для меня, хотя я его ближайший сотрудник, но вот завтра...

— Нет-нет, завтра мы будем далеко. А что если мы придем позднее, скажем, через два часа?

Патрик поморщился.

— У вас ведь не каждый день бывают архитекторы из России, — настаивал Шуша.

— Дело не в этом, — сказал Патрик, — вообще-то Паоло очень доступен. Я просто думаю, что прежде, чем встречаться с ним, вам стоит ознакомиться с литературой, проработать ее серьезно, тогда встреча станет более осмысленной. Дайте мне ваш адрес, я вам вышлю дополнительную информацию. А потом, кто знает, может быть, вы захотите поучаствовать в одном из наших проектов. А вот эту брошюру возьмите с собой...

В переводе на русский это звучало бы так: “Ишь, разбежался — с самим встретиться! Ты сначала очистись, проникнись духом, поработай волонтером, внеси деньги на ремонт храма, а потом мы, может быть, и позволим тебе предстать перед Учителем”.

Путешественники сели в машину и двинулись дальше. Профессор с Маргаритой рулили, а архитектор, лежа на заднем сидении, начал изучать брошюру. Это была претенциозная чушь на тему “Космос для мира”. Речь шла о “внедрении ячеек сознания на аполлоновском пост-био-органическом уровне”, что должно было превратить материю в дух и тем самым предотвратить термоядерную войну.

ДЕВКИ В ОЗЕРЕ КУПАЛИСЬ

Через неделю они были в городе Цинциннати, который когда-то был знаменит бойнями и мыловарнями, а теперь — гигантской корпорацией *Procter & Gamble*, главным достижением которой можно считать

изобретение в 1880 году нетонущего мыла. Тот факт, что до сих пор попадаетея мыло, которое тонет, видимо, объясняется политикой корпорации, не желающей делиться полезным изобретением.

Где-то неподалеку должны были жить Шушины старые знакомые, лингвист Мацкин с женой Саррой.

— Конечно! — сказал Мацкин, когда Шуша позвонил ему из автомата. — Приезжайте всей компанией, у нас комнат и кроватей много, — мне, кстати, надо узнать кое-что у великого Куропаткина про теорему Ферма. Мы, правда, не в Цинциннати, но часа за два доедете. Город Лафайет, пишется так: *Love, Apple...*

— Я знаю, как пишется Лафайет, — перебил Шуша, — я даже знаю, кто такой генерал Лафайет и как он экспортировал американскую революцию во Францию.

— Этим ты выгодно отличаешься от девяноста девяти процентов американцев, — сказал Мацкин. — Запиши адрес.

Шуша пытался когда-то читать статьи Мацкина, но не мог понять ни слова, кроме предлогов и русских матерных частушек, которые лингвист подвергал семантическому анализу. Одну англоязычную статью Мацкина архитектор долгое время хранил и с гордостью показывал приятелям, мол, смотрите, с какими умными людьми я знаком. Предметом анализа была частушка:

*Devki v ozere kupalis',
Xuj rezinovyj našli.
Celyj den' oni ebalis' —
Daže v školu ne pošli.*

А для анализа использовалась формула:

$HU(S,H,ST,E,P,SI,SO) = X$, where $X = F$ or $X = U$, standing for FUNNY and UNFUNNY, respectively.

Знакомые многозначительно кивали и быстро меняли тему.

— Если вы еще не видели подвала американского дома, — сказал Мацкин, когда они вошли, — осмотр начнем именно оттуда.

Зрелище подвала с гигантским водо- и воздушно-нагревательным агрегатом с переплетением труб разного диаметра было действительно внушительным. После беглого осмотра остального дома всех позвали к столу.

Шуше была выделена отдельная комната. Он собрался было лечь, но обнаружил, что у него кончилось снотворное, а без таблеток на новом месте не заснуть. Он спустился в гостиную, где хозяйева смотрели программу новостей.

— Где тут у вас ближайшая аптека? — спросил Шуша. — У меня кончилось снотворное.

— А, это совсем рядом, пять минут ходьбы. Пойдешь направо, потом еще раз направо, и ты в нее упрешься.

В аптеке он столкнулся с женщиной, лицо которой показалось ему знакомым. Невысокая, стройная, большие грустные глаза. Она тоже смотрела на него.

— Не узнаешь? — улыбнулась женщина.

— Хозяйка?

— А имя забыл?

— Конечно, помню! Но Хозяйка лучше, напоминает Хозяйку медной горы. У вас с ней что-то общее. А что ты тут делаешь?

— Живу.

— И Сингер?

— Ты ничего не знаешь? Он умер два года назад.

— О боже! От чего?

— Слушай, что мы тут стоим. Хочешь, зайдем ко мне, познакомишься с моей дочерью. Тут рядом.

Он позвонил из автомата Мацкиным и сказал, что встретил старую знакомую и зайдет к ней минут на пятнадцать.

— Пятнадцать минут? — переспросил Мацкин. — Отлично. Передам Куропаткиным. К завтраку не опоздай!

Хозяйка жила в маленькой квартире на третьем этаже деревянного дома, выкрашенного белой краской, рядом с пресвитерианской церковью. Трехлетняя дочь уже спала и не проснулась, когда они заглянули в ее комнату. Шуша подошел ближе. У девочки было поразительно красивое лицо, темные вьющиеся волосы Хозяйки и светлая нежная кожа Сингера.

— Он умер от передоза, — сказала Хозяйка, когда они сели за стол. Она достала недопитую бутылку калифорнийского каберне со знакомой Шуше этикеткой и разлила остатки по двум рюмкам разной формы.

— Еды нет, извини, — сказала она.

— Я не голодный.

— Вообще его судьба здесь складывалась не слишком счастливо, — продолжала она. — Во многом по его вине. Он был избалован ленинградскими фанатами, считал себя гением. Он действительно был зверски талантлив, но гениальность — это что-то другое. Это не просто очень большой талант, а еще что-то. Интуиция, например. Когда читаешь биогра-

фии действительно великих людей, поражает, как им везло в самые критические моменты. Но это не везение, это интуиция.

— А что случилось с Сингером?

— Он хотел сказочного успеха, но у него не было интуиции. У меня, кстати, есть. Я, например, чувствовала, что сегодня тебя встречу, и очень этого не хотела.

— Почему?

— Боялась.

— Чего?

— Драмы. У тебя семья, дети, начнутся надрывы. Как ты ко мне относился, я всегда знала, но мне было не до тебя.

— Как я к тебе относился?

— Видишь? Я даже *это* знаю лучше тебя. Ты не был в меня влюблен, но что-то тебя волновало, хотя ты это скрывал, от себя, наверное, тоже.

— Я помню зиму в Баковке, — сказал Шуша после паузы. — Лет двадцать назад. С Сингером и Заринэ. Снег. Ледяная дача. Собака. Гитара. Мы заколотили окна одеялами и топили непрерывно. Меня волновала не столько ты, сколько вся ситуация. Ты была с Сингером, мне досталась Заринэ. Наверное, ты права, я предпочел бы поменяться с ним. Было ли это влюбленностью? Не знаю. Потом, когда я должен был отвезти тебе свитер, который ты забыла, я шел к тебе по Кировской, зашел в подъезд слева от белого мраморного льва со щитом, на котором был выбит какой-то странный цветок. Когда я поднимался по лестнице, у меня было чувство, что там, наверху, что-то сейчас произойдет. Но ты...

— У меня было то же самое чувство. Поэтому я и постаралась тебя как можно скорее выпроводить. Должен был прийти Сингер. Ты, правда, успел показать мне открытку, это был ваш с Джей коллаж. Талантливый, что меня тоже испугало.

— Это еще почему?

— Потому что для меня нет ничего привлекательнее таланта. Может быть, потому, что у меня его нет. А я уже вся была погружена в талант Сингера и терять его не хотела. А насчет поменяться с ним, я тебе не верю. Не похоже было, что ты очень страдал с Заринэ. Она потом с восторгом вспоминала ваши три ночи и вечернюю прогулку по колению в снегу на могилу Пастернака. Очень переживала, что ты исчез.

Слушай, мне завтра рано вставать. Тебе, наверное, тоже. Если тебе уже поздно идти к своим, я постелю тебе в спальне, а сама лягу с Анжелой. Вот тебе полотенце и зубная щетка. Новая, специально купила для гостей. Пригодилась.

Какое-то время он лежал в темноте. Потом встал и пошел в маленькую спальню.

Хозяйка лежала с открытыми глазами рядом с Анжелой.

— Пойдем лучше туда, — прошептал он.

Она молча встала и пошла за ним. На ней была длинная ночная рубашка. Они легли рядом. Он обнял ее и сразу почувствовал, что они разделены ледяной завесой. Долго лежали молча.

— Да, — сказала она. — Я знаю. Это очень трудно.

— Что трудно?

— Восстановить отношения, которых никогда не было.

Еще полчаса прошло в полном молчании. Он просунул руку под ее ночную рубашку и стал осторожно гладить. Она лежала неподвижно. Рука скользнула к неожиданно большой для такого небольшого тела груди. Он сдвинул ночную рубашку, прикоснулся губами к груди и вдруг почувствовал вкус молока.

— Что это? Ты все еще кормишь?

— Это нельзя назвать кормлением.

— А что это?

— Не знаю, как назвать, любовь, наверное.

Похоже, что за два года после смерти Сингера кормление Анжелы было ее единственной формой секса. Он опять приник к ее груди, как тот голодный юноша к кормилице из рассказа Мопассана, и почувствовал, как ледяная завеса начинает таять. Ее тело стало понемногу оживать.

Когда они наконец соединились, она остановила его.

— Только...

— Что?

— Ты сам скажи.

— Не кончать?

— Да.

Как в ранней молодости, подумал Шуша, когда никто ничего не знал о противозачаточных средствах, а продукция Баковского резинового завода была способна убить самую дикую страсть...

Утром он позвонил Мацкину и попросил передать Куропаткиным, чтобы те за ним заехали. Куропаткины заехали. Хозяйка вышла его провожать с сонной Анжелой на руках. С глазами оливкового цвета девочка показалась Шуше еще красивее, чем ночью.

Куропаткины пожали руку хозяйке, а Маргарита церемонно поблагодарила ее за предоставленный приют члену их группы.

— Ничего, если я сяду сзади и немного посплю? — спросил Шуша у Маргариты.

— Тогда лучше садитесь вперед и откиньте кресло, — ответила она. — На заднем сидении без ремня, во-первых, опасно, во-вторых, неудобно.

Шуша неловко чмокнул Хозяйку и Анжелу и сел в машину. Маргарита нажала на газ, и Хозяйка с Анжелой, всё еще видимые в правом наружном зеркале, стали постепенно уменьшаться, а потом совсем исчезли.

— А кто эта женщина? — спросила Маргарита.

— Старая знакомая. Мы не виделись лет двадцать. Она вдова известного в Ленинграде исполнителя негритянских спиричуэлс.

— У нее взгляд раненой птицы, — сказал до сих пор молчавший профессор. — Я знаю, вам нравится раненый птицизм.

...Шуша почувствовал, что кто-то трясет его за плечо: — Вставайте, граф! — скомандовал Куропаткин. — Колумбус подан.

С трудом проснувшись, он вылез из машины и огляделся. Что это? Огромный шумный город с довольно унылыми небоскребами, сотни машин, никаких кукурузных полей. Неужели архитектурные звезды могли так неузнаваемо изменить среду?

— Я предлагаю найти библиотеку и получить всю информацию там, — сказала Маргарита. — Библиотека — это место, где сидят люди, которые все знают и любят делиться этим знанием.

На шестом этаже гигантской библиотеки они нашли respectableного библиографа в сером твидовом пиджаке.

— Чем я могу вам помочь?

— Меня интересует архитектура Колумбуса и история ее возникновения, — сказал Шуша.

— Я могу принести вам несколько книг, но, честно говоря, наш город не знаменит качеством архитектуры, — сказал библиограф.

— Как? — поразился архитектор. — Я слышал удивительную историю про бизнесмена по имени Ирвин Миллер, который создал фонд для приглашения знаменитых архитекторов, в их числе были Эро Сааринен, Ричард Мейер, Роберт Вентури, Йо Минг Пей, Сезар Пелли, фирма “Скидмор Оуингс Меррилл” и другие. Они построили несколько архитектурных шедевров “среди кукурузных полей”, как написано в брошюре. Но я что-то не вижу ни кукурузы, ни шедевров...

Библиограф внимательно слушал, не перебивая. Когда Шуша замолк, библиограф тоном учителя, обращаясь к двоечнику, произнес:

— Вы, скорее всего, имеете в виду Колумбус, штат Индиана, но мы с вами находимся в Колумбусе, штат Огайо. Я могу принести карту и показать вам, где находится тот Колумбус.

— Нет, нет, спасибо, — сказал пристыженный архитектор. — У нас есть карта.

Ехать обратно в Индиану не имело никакого смысла.

КОЛУМБУС

В Университете Джонса Хопкинса ему выделили офис и помощницу — приветливую аспирантку Кейти. У него появился доступ к большому компьютеру, на котором можно было не только просматривать каталог библиотеки, но даже сканировать книги, а потом отправлять их на принтер. После трех учебных семинаров он освоил эту удивительную технологию и начал работать над своим проектом — историей советского урбанизма.

Освоившись, решил узнать, ходят ли поезда между столицей и Лафайетом. Выяснилось, что ходят, но плохо. Со всеми пересадками это занимает 47 часов. С другой стороны, до Цинциннати можно доехать на комфортабельном поезде *Amtrak* всего за 14 часов. На машине, конечно, можно доехать за 8, но машины у него нет.

— Слушай, — сказал он Хозяйке по телефону, — если я приеду к тебе на поезде в Цинциннати, ты сможешь меня встретить? У тебя есть машина?

— Конечно, смогу, — сказала она. — Когда ты приедешь?

— Эту неделю мне придется поработать, а в следующий четверг я могу сесть на поезд вечером, спать там всю ночь и приехать в Цинциннати в середине дня, а часа через три мы будем в Лафайете.

— Сколько ты сможешь здесь пробыть?

— Очень мало, только три ночи.

— Три ночи, — повторила она. — Это роскошь.

Он высунулся из окна поезда и сразу увидел ее на платформе. На ней было то самое белое платье, в котором он встретил ее в аптеке неделю назад. Он

схватил чемодан, выскочил из вагона, потом остановился и медленно двинулся к ней по платформе. Было видно, как сияют ее глаза. Он подошел. Она прижалась к нему и замерла. Так они простояли несколько минут.

— Пойдем, — она повела его к машине.

Это был *Mercury Grand Marquis Station Wagon* 1975 года. Увидев машину, Шуша остановился, пораженный не столько размерами, сколько названием.

— Смотри, — сказал он наконец, — пуритане приплыли сюда в XVII веке и отменили аристократические титулы. А народу они нравятся. Элингтона назвали Дюком, Элвис, разумеется, Кинг, а самая большая легковая машина за всю историю автомобилестроения должна быть, конечно, “Гранд Маркиз”. Можно я поведу? — добавил он.

— Я очень на это надеюсь, — сказала она. — Я вообще плохо вожу, а такую большую машину тем более.

“Да, — подумал Шуша, — некоторые женщины знают, как дать мужчине почувствовать одновременно превосходство и сострадание”.

— У меня есть одна безумная идея, — сказал он, садясь за руль, — но если ты не захочешь, мы поедем сразу к тебе.

— Дорогой, мы сделаем все, что ты захочешь.

— Я хочу, чтоб мы сначала съездили в город Колумбус, Индиана. Там необычная архитектура.

— С тобой — хоть на край света!

Дорога должна была занять полтора часа, но заняла больше двух. *Grand Marquis* плыл, как корабль, не замечая выбоин и камней. Где-то в районе города Бейтсвила она сказала:

— Поставь машину где-нибудь в тихом месте. Я не могу сидеть так далеко от тебя.

— Будем, как хиппи, *make love, not war** в машине? Я никогда не пробовал.

— Я тоже. Когда-то ведь надо начинать.

Он поставил машину на пустыре. Они вышли из машины, обнялись.

— Пойдем на заднее сиденье, — шепнула она...

— Вот теперь я готова к осмотру архитектуры, — сказала она весело.

Они плавно летели на своем “Гранд Маркизе” по *Interstate 74* на запад, потом свернули на местную 46-ю дорогу, потом налево на улицу Вашингтона и скоро слева за перекрестком открылось треугольное здание “горсовета” — *City Hall*.

— Фирма *SOM* обычно строит очень большие и не очень интересные объекты, — объяснял Шуша, — но здесь они сделали что-то не совсем обычное. Смотри, это почти театр, горизонтальный фасад, за которым как бы сцена с полукруглым стеклянным задником, а верхняя часть кирпичного портала как будто распилена пополам.

По улице Франклина доехали до следующего объекта, “Первой христианской церкви” Сааринена. Шуша увлеченно рассказывал Хозяйке про терминал *TWA*, абсолютно не похожий на эту церковь, и объяснял, почему такой творческий диапазон — признак гениальности. Она делала вид, что внимательно слушает. По улице Вашингтона доехали до дома самого Ирвина Миллера. Дверь была заперта.

* Заниматься любовью, а не войной (англ.).

Шуша постучал. Им открыл седой благообразный джентльмен, который сообщил, что на сегодня дом-музей уже закрыт.

— Мы архитекторы из России, — быстро соврал архитектор из России. — Мы специально летели, чтобы увидеть этот шедевр Ээро Сааринена. Умоляем, хотя бы пять минут!

Такая страстная любовь к творчеству великого архитектора не могла остаться без вознаграждения. Их пустили, дали возможность побродить по дому и не торопились выгонять. Посреди огромной гостиной было большое квадратное углубление, стенки которого были одним сплошным красным диваном, заваленным разноцветными подушками. Пол был покрыт красным ковром.

— Представляешь, — сказал Шуша, — мы с тобой на этом ковре занимаемся любовью, а на подушках возлежат зрители. Когда мы делаем что-то особо изобретательное, они аплодируют, подбадривают, дают советы...

— Чисто мужская фантазия, — сказала она. — Если тебе так хочется зрелища, я готова делать это с тобой перед зеркалом.

**СТИХИ, СОЧИНЕННЫЕ ШУШЕЙ В ПОЕЗДЕ
ЦИНЦИННАТИ — ВАШИНГТОН
13 ИЮНЯ 1989 ГОДА**

Стучат колеса на чужом
Наречьи. Звук их непонятен.
Не то, что мне он неприятен,
Но не в него я погружен.

Я возвращаюсь не домой,
Не на круги своя, не в детство.
Куда, скажи, могу я деться
От окруженности тобой.

И тела нежный клавесин
В моих руках раскрылся звуком,
Приникнув воспаленным ухом,
На языке родных осин.

Я разобрал его язык,
Протяжный звук его признанья,
Глухую тяжесть расставанья
Себе осмыслить запретив.

С тобой мы стали вдруг одно,
Без объяснений тривиальных,
Без планов матримониальных,
С одним лишь “да”, без всяких “но”.

А за окном сбегает вниз
Дорога, подмосковной вроде.
Колеса, в вольном переводе,
Стучат: вернись, вернись, вернись.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Алла спит. Шуша выходит из дома и садится в машину. Звонит мобильник.

— Hello.

— Александр? — спрашивает по-английски знакомый голос.

— Да.

— Это Джуди, жена Джима. Мне нужно срочно с тобой встретиться. Лучше прямо сейчас.

— Что случилось?

— По телефону не могу. Можешь через десять минут в “Иль Фиоре”?

— Могу.

В таком виде эту еврейскую красавицу Шуша еще не видел. Непричесанная, без макияжа, с опухшими воспаленными глазами. Она заказала водку с тоником и стала пить ее большими глотками. Руки, держащие бокал, тряслись.

Потом она поставила недопитый бокал на стол и сказала спокойным тоном:

— Нам с Джимом придется развестись.

— О боже! Что случилось?

— Он мне изменяет.

— Изменяет? Он всегда так рвется к тебе и детям после работы.

— Возможно. Но не ко мне.

— К кому?

Джуди молчала, внимательно глядя на него.

— Ты правда не знаешь?

— Нет. Откуда?

— У него роман с твоей Аллой.

Что??? Неужели он опять на продавленном диване, окруженный стопками итальянских газет и блоками сигарет “Шипка”? Опять музыка, как будто заполненная водой? “Ученик чародея”?

— Никаких изменений в ваших отношениях не произошло? После твоего приезда из Вашингтона?

— Прохладнее, чем обычно, но я объяснял это тем, что мы отвыкли друг от друга. Кроме того, я сам не без греха.

- Она это знает?
- Думаю, что нет.
- Думаю, что да.

В кабинете Джима через час.

— Мне придется уволиться, — говорит Шуша. — После того что мне рассказала Джуди, я не могу здесь остаться.

— Не понимаю, — говорит Джим. — Что тебе могла рассказать Джуди, чего ты не знал?

— Чего я не знал? Я ничего не знал про ваш роман с Аллой.

— Как ты мог этого не знать! Она практически не скрывала от тебя. И ты был о'кей. Тебя это устраивало. Ты посылал мне сигналы...

— Какие сигналы?

— Ну, например, когда я позвал вас обоих заниматься серфингом, а ты сказал, что не пойдешь, я спросил: “а жену отпускаешь?”, — а ты сделал такой жест рукой...

— А ты перевел этот жест как *fuck my wife**?

— А ты разве не это имел в виду? Ты же всегда вел себя так, как будто у вас свободный брак. Или он был свободным только для тебя?

— Откуда такая информация?

— От Аллы, естественно.

Шуша замер.

— Слушай, — продолжал Джим, — твои отношения с Аллой — это твоя проблема. Я говорю о наших с тобой отношениях. Ты же знаешь, что я к тебе очень хорошо отношусь...

* Трахни мою жену (англ.).

— Джим, меня беспокоит не твое отношение ко мне, а форма, в которой ты решил его выразить.

— Остроумно, — задумчиво произнес Джим.

Вечером дома Шуша просовывает голову в детскую. Алла читает Нике и Мике русскую книжку.

— Ты еще долго?

— Минут десять, а что?

— Срочный вопрос.

— Потерпи десять минут.

Он наливает себе джин с тоником, классический напиток иммигранта из СССР, и ходит по кухне, репетируя монолог. Алла не спешит. Проходит еще минут двадцать. Он опять просовывает голову в детскую:

— Скоро?

— Ты торопишься?

— Да.

Через несколько минут она выходит из детской и иронически смотрит на бутылку джина и стакан у него в руках.

— Спиваешься?

— Мне звонила Джуди, — говорит Шуша, стараясь не замечать ее иронии, — она разводится с Джимом.

— Дура. Кого она еще найдет...

— Она узнала про ваши отношения с Джимом. Я тоже считаю это подлостью...

— Только не делай вид, что ты ничего не знал. Ты сам установил эти отношения. Тебе хотелось свободного брака — ты его получил.

— Какого свободного брака?

— Такого. Вспомни свои приключения — в поезде, в Полесье, в Охайо...

— Откуда...

— От верблюда! Ты все описал в своих бездарных стихах. Прятал их от меня, но я почему-то их все время находила. Тебе хотелось похвастаться своими подвигами, поэтому ты их все время забывал — то в машинке, то в куче неоплаченных счетов. Скорее всего, бессознательно. Как у Фрейда в теории ошибочных действий.

Долгая пауза.

— И что же ты собираешься делать? — спросил наконец Шуша.

— Я не собиралась с тобой разводиться. Как сексуальный партнер ты меня вполне устраиваешь.

— Тогда зачем тебе еще один?

— Ты был очень высокомерен: жена — неудачница, но из жалости буду с ней жить и дальше. Мне надо было доказать себе самой, что мне не нужна твоя жалость.

— И что теперь?

— Теперь не знаю. Но смысла в разводе не вижу.

Шуша проснулся среди ночи. Его разрывали рыдания. Алла спала рядом. Он испытывал к ней такое вожделение, какого не испытывал никогда. Осторожно прикоснулся к ней. Она, почти не просыпаясь, повернулась к нему. Начинается что-то неожиданное для обоих. Они впервые в жизни любят друг друга. Это, по существу, их первая брачная ночь. Она продолжается бесконечно и заканчивается “опасно”, со стонами и слезами с обеих сторон.

Алла быстро уснула, а Шуша долго ворочался. Ему вдруг стало ясно, до какой степени он повторяет отца. Всю жизни стыдился его тяги к женщинам, но на самом деле давно уже его обогнал.

Постепенно все четверо договариваются жить как ни в чем не бывало. Алла обещает Шуше не продолжать отношений с Джимом. Джим обещает Джуди не продолжать отношений с Аллой. Возобновляются воскресные прогулки вчетвером вдоль океана. Следующие несколько недель в семье Шульцев — “двое на качелях”. Ночью — страстная любовь и счастливое обладание Аллой. С рассветом Алла будто бы осознаёт, что теряет власть, и начинает хвататься за любую соломинку, чтобы уколоть самолюбие мужа. Алла подмечает малейшие неудачи Шуши — непринятый проект, неотвеченное письмо, неудачную шутку — и выражает сочувствие в точно рассчитанной оскорбительной форме. И наоборот, любые достижения бюро “Джеймс Меламед и Партнеры” она преподносит как результат ее советов Джиму.

Когда-то самым несчастным периодом в его жизни были те несколько дней в девятом классе, когда он услышал голос Аллы в телефонной трубке: “Не хочу я больше слышать про твоего Шушу”. Теперь он опять несчастен, и опять из-за Аллы.

Что делать? Уйти от Джима? Наверное, да. Хотя работать с ним ему интересно. С разрешения Джима Шуша начал посылать свои собственные проекты на архитектурные конкурсы. Над одним из них он работал с особенным увлечением. Это был международный конкурс на реконструкцию квартала на Русаковской улице в Москве. Его квартала. Участвовало много знаменитостей из разных стран, Фостер, Бофилл, Либескинд. Шансы победить, разумеется, равны нулю, но как он мог устоять!

**СТИХИ, СОЧИНЕННЫЕ ШУШЕЙ НОЧЬЮ
ВО ВРЕМЯ БЕССОННИЦЫ
21 ИЮНЯ 1992 ГОДА**

Хороша зверушка, да кверху мехом,
Был платочек синий, да только смялся.
И смеясь беззвучным безумным смехом,
Я тебя от себя отрываю с мясом.

Ты неверностью мне себя лечила
И врала, воровато кося взглядом.
То ли женщина ты, то ли мужчина.
То ли вместе мы, то ли просто рядом.

Затянулись узлом уголки платочка.
Мы с тобою два пожилых андрогина.
То ль жена, то ли муж, то ли сын, то ли дочка,
То ли боль, то ли ампула с анальгином.

РУССКИЙ РОМАН

— Мне очень, очень жаль это слышать, — сказал Джим трагическим тоном, когда Шуша признался, что начал искать другую работу. — Но я тебе помогу.

Он не только написал ему рекомендательное письмо, но и сам обзвонил несколько компаний. Шушу довольно быстро взяли в гигантскую архитектурную фирму в даунтауне Лос-Анджелеса. Остальные сорок восемь офисов фирмы были разбросаны по всем континентам. Шуше дали большую зарплату, медицинские страховки, пропуск в спортивный комплекс и абсолютно неинтересную техническую работу.

Джуди уехала с Джейсоном к своим родителям в Нью-Йорк. Дженнифер осталась с Джимом. Алла с Никой и Микой переехали на *Saltair Avenue* и каждый день плавали в бассейне. Она сообщила Шуше, что собирается с ним разводиться, но никаких денег требовать не будет.

Шуша снял так называемую “студию” на 20-м этаже жилого небоскреба в пешеходной доступности от работы. Работа в офисе требовала концентрации, поэтому там он чувствовал себя нормально. Страдания начинались, когда Шуша возвращался к себе на 20-й этаж. Ему никто на звонил, это было понятно, он никому не давал своего нового телефона, но никто и не писал тоже, хотя его мейл не изменился. Судя по всему, Алла начала борьбу за раздел общих друзей и наговорила про него гадостей. Включаться в эту борьбу у него не было никакого желания. Впрочем, разговаривать с друзьями тоже. Ника и Мика, когда они столкнулись в магазине, смотрели на него враждебно. Когда он обратился к ним по-русски, сделали вид, что не понимают. Забыли язык или Алла их настроила?

Вид из окна в первую ночь показался ему веселым и оживленным — светящиеся окна, фары проезжающих внизу машин, лучи прожекторов, привлекающих на вернисажи и уличные фестивали. Примерно через неделю этот вид стал навевать тоску. Что мешало ему броситься на поиски новых *carнал pleasures*, как это было после расставания с Рикки? Все его коллеги в фирме *James Melamed Partners* постоянно ахали — как прекрасно он говорит и пишет по-английски. Там он был единственным, кто знал английскую грамматику и писал без ошибок. В новой фирме он

не был единственным, но и там тоже ахали. Но он все еще был иммигрантом, то есть по определению человеком второго сорта. В советском анекдоте рядовой Рабинович был единственным, кто правильно ответил на вопрос, сколько будет дважды два. “Вот, смотрите, — сказал старшина, — Рабинович плохой солдат, а старается”. И Шуша старался.

Чего ему не хватало в этой стране? Юмора и флирта. Он много раз пытался рассказывать по-английски самые смешные советские анекдоты. Его внимательно слушали. После финальной фразы, когда надо было смеяться, наступала пауза, и потом кто-нибудь тяжело вздыхал:

— Как это жестоко.

В американском юморе было меньше цинизма, а сюжет всегда был выстроен как в новеллах О. Генри. Флирта, похоже, в Америке не существовало вообще. Любая игривая реплика, которая в России читалась бы как флирт, здесь воспринималась как инфантилизм, на уровне дергания за косичку, или просто как неотесанность. Только толстяк Митч из отдела снабжения позволял себе балагурить с девушками в развязной, почти российской манере, и ему это сходило с рук, девушки смеялись. Он, как все знали, был геем, поэтому его заигрывания с девушками носили характер чистой, незаинтересованной игры. Было очевидно, что он не прелюбодействовал с ними в сердце своем, — чего, разумеется, нельзя было сказать про Шушу. Его неуклюжие попытки заигрывания здесь воспринимались как фраза из записной книжки Ильфа: “Он не знал нюансов языка и говорил сразу: «О, я хотел бы видеть вас голый»”.

Всякие отношения здесь строились как контракт — записанный, устный или подразумеваемый. Если, например, мужчина приглашал коллегу женского пола в кино, она могла согласиться, но при этом как бы невзначай заметить что-то вроде:

— Мой бойфренд уехал к родителям в Пенсильванию.

Если в России это было бы намеком на возможность короткого приключения, то здесь — ровно наоборот, наличие бойфренда такую возможность исключало.

В новом офисе его особенно волновали две девушки — пуэрториканка Камила с фигурой танцовщицы и веселым блеском в глазах и Бренда, тихая худенькая блондинка из бухгалтерии. Однажды произошло неожиданное. В подсобке, где стояли кофейные и копировальные машины, в главном центре неформального общения сотрудников, к нему подошла Камила.

— Александр, — сказала она с заговорщицким блеском в глазах, — я хочу пригласить тебя на очень интересную вечеринку. В это воскресенье в семь вечера. Придешь?

— Да, — сказал он несколько растерянно.

— Тогда записывай адрес. Я очень рада, что ты придешь, — добавила она, многозначительно глядя ему в глаза.

В субботу он поехал в магазин *Nordstrom* покупать модную одежду и дезодорант *Issey Miyake*. В воскресенье без пяти семь уже пытался запарковаться, но там было столько машин, что пришлось долго кружить вокруг квартала. Это был типичный калифорнийский дом в мексиканском стиле, выкрашенный

в песочные тона. Двери и окна были открыты настежь. Внутри гудела по-летнему одетая толпа. У каждого в одной руке был пластиковый стаканчик с белым вином, в другой — бумажная тарелка с сыром, орехами и сельдереем. Он не знал никого.

— Меня пригласила Камила, — обратился он к немолодому человеку в легком белом пиджаке, голубой рубашке и красном галстуке. Он выглядел чуть более респектабельно, чем остальные.

— Камила? — человек огляделся. — Где-то здесь. Пройдитесь по комнатам.

Остальные комнаты были заполнены примерно такой же толпой. Камилу он нашел не сразу.

— Молодец, что пришел, — сказала она и тут же куда-то умчалась.

Шуша налил себе вина в пластиковый стакан, наполнил бумажную тарелку сыром с орехами и сельдереем и начал ходить кругами по кольцевой анфиладе комнат. Его поразило отсутствие книг и обилие живописи в том стиле, который у художников-халтурщиков в Москве назывался “нежняк”. В какой-то момент всех пригласили в самую большую комнату, где стоял человек в белом пиджаке с микрофоном в руке. Он постучал пальцем по микрофону.

— Всем слышно? — спросил он. — Тогда начинаем. Все вы, конечно, знаете, что в людях живет вечное стремление к справедливости. Я думаю, что как раз это стремление показывает нам, как жизненно необходима справедливость для всех людей, кто бы они ни были и где бы они ни жили. В рамках всемирной общины Бахаи система мирового порядка Бахауллы уже проведена в жизнь как модель...

Шуша стал осторожно пробираться к выходу. Камила была вычеркнута из списка.

Через две недели он решился пригласить Бренду на концерт Стинга. Она согласилась. В тот вечер Стинг был в ударе. Когда он запел *"I hope the Russians love their children too"*^{*}, Бренда с интересом посмотрела на Шушу. Он успокаивающе кивнул.

После концерта он повез ее домой. Подъехав к подъезду, сказал, не особенно рассчитывая на успех:

— Не хочешь пригласить меня на чашку чая?

Она серьезно посмотрела на него и сказала:

— О'кей.

Когда они пили чай, сидя на жестких пластмассовых табуретках в ее маленькой белой стерильной кухне, она все с тем же серьезным видом произнесла:

— Если ты планируешь заниматься со мной сексом, у меня два условия. Первое, — она достала из сумочки и протянула ему упаковку презервативов. — Второе, спать ты пойдешь домой, я люблю спать одна. Принимаешь мои условия?

Конечно, он их принял, и конечно, в этом процессе ему не хватило важного элемента — игры. Примерно такими же словами три не знакомые между собой, полностью ассимилированные иммигрантки из России объясняли Шуше, почему у них никогда больше не будет отношений с американскими мужчинами:

— У них нет ощущения драмы.

* Я надеюсь, русские тоже любят своих детей (англ.).

Русским в Америке не хватает драмы, а с точки зрения американцев и европейцев в русских ее слишком много. Когда Шуша спросил знакомого немецкого поэта, почему он расстался со своей русской женой, тот ответил:

— Все любят русские романы, я тоже их люблю, но жить в русском романе я не могу. Это бесконечная драма.

Тут Шуша наконец понял, чего ему не хватает, — русского романа. Татьяны Лариной. Наташи Ростовской. Настасьи Филипповны, роль которой периодически пыталась исполнять Рикки.

“Где мой дневник? — подумал он. — Я уже много лет ничего не записывал. Может, это и есть мой русский роман?”

Он начал рыться в коробках, все еще не разобранных после переезда. Через полчаса дневник нашелся. Сначала попадались записи снов. В основном о смерти. Правильно, русский роман всегда о смерти. Потом наткнулся на запись от 11 декабря 1978 года.

Пестиком, примерно таким, с каким бегал Митя Карамазов, но только с приклеенной надписью *pestle*, она растерла в мелкую пыль горсть снотворных таблеток, украденных из шкафа родителей. Растерла их в ступе, к которой была приклеена надпись *mortar*, — только сейчас стало понятно, как похоже это слово на *mortal*. Надписи и наклейки были на всех вещах и поверхностях ее квартиры. Примерно так же были исписаны и изрисованы стены ее детской комнаты. Ей как будто не хватало внешней поддержки, она экстериоризировала свою память и свои душевные движения, расставляя себе вехи

и ориентиры, и когда ее не стало, оказалось, что этих вех и ориентиров так много, что она как бы продолжает присутствовать.

Она спешила распластать себя по стенам и вещам квартиры, предчувствуя, что времени у нее остается мало. На той странице марковского издания Достоевского, где Митя Карамазов бежит с пестиком, детским почерком было написано: “Ты свинья, Шуша”. Это было двадцать лет назад. Она обиделась на меня за что-то и исписала простым карандашом абсолютно все поверхности в моей комнате словами “Ты свинья, Шуша”. Надпись эта была и на оконных рамах, и на стекле (пальцем), и на наличнике двери, чуть повыше дырки от гвоздя, которым я запырался, когда ко мне приходила ее подруга, надпись была и на полу, и на книжных полках, и на случайно открытых книгах. Видимо, уже тогда она боролась с временем и памятью. Возможно, она боялась, что мы оба забудем об этой обиде, и спешила ее увековечить.

И вот теперь, давно уехав из той квартиры, сменив около десяти мест жительства, до сих пор, перебирая бумаги, листая книги, я время от времени натываюсь на эту надпись: “Ты свинья, Шуша”. Разумеется, и мое преступление, и ее обида давно забыты. Свинка — это животное, с которым она идентифицировала себя. Значит, вот уже двадцать лет она говорит мне: “Мы с тобой одной крови, ты и я”. Это было объяснение в любви, длящееся вечность.

На девятый день после ее смерти наступил мороз. Над городом висел розоватый туман. Из уличных

канализационных решеток поднимались клубы серого пара. Дорические капители над входом в метро обрастали толстым слоем инея, превращаясь в коринфские. При вдохе нос покрывался изнутри льдинками, при выдохе льдинки таяли, из носа капало, но, не долетев до земли, капли снова превращались в льдинки. Такого мороза, как сообщала “Вечерняя Москва”, не было сто лет, хотя пятнадцать лет назад происходило что-то похожее. Тогда всю зиму мы с ней вставали рано, брали большой серый рюкзак, клали туда носки, тряпку, запасные шнурки, яблоки, бутылку сока и коньки и садились на 45-й или 7-й трамвай. Сорок пятый доходил до льжонной станции, а от нее до входа на каток было совсем близко. Если сорок пятого не было, годился и седьмой. Он останавливался неподалеку от пожарной каланчи 1884 года, напротив конечной (в то время) станции метро “Сокольники”, украшенной фризом скульптора Митковицера. Оттуда мы шли на каток и проводили там не меньше часа. У нее были фигурные коньки, у меня “канады”. За эту зиму мы выучили практически весь репертуар популярных советских песен. Она запоминала все слова, а я все мелодии, так что вместе мы были чем-то вроде каталога советских песен 1963 года. Если бы не разница в возрасте, нас можно было бы считать близнецами.

“ЛЕТАРДИЛ”

Был период, когда Шуша панически боялся смерти, но этот страх обычно принимал конкретную форму, и слово “смерть” в сознании не возникало. С че-

тырех до пяти лет он боялся светящейся красной точки, она была видна ночью из окна маминой комнаты, где он обычно спал. Если опустить голову на подушку, красная точка пропадала, но он знал, что она где-то там, следит за ним, готовая сделать что-то ужасное. Родители работали в газете и приходили домой только к пяти утра. Его укладывала спать бабушка Рива. Подоткнув одеяло, она выходила из комнаты и плотно закрывала за собою дверь. Он кричал:

— Щелку!

Бабушка возвращалась.

— Зачем тебе щелка? Надо спать.

— Нет, — кричал он, — там красная точка!

— Какая точка? — не понимала бабушка.

— Красная, — он вскакивал и шлепал босыми ногами к окну, — вот там, смотри!

Бабушка подходила к окну.

— Я знаю, что это такое, — говорила она. — Там железная дорога, это сигнал для поездов. Это хорошая точка.

— Нет, — продолжал он. — Ты не знаешь! Это плохая точка.

— Давай я задерну шторы, и ее не будет видно.

— Не задергивай! — вопил Шуша. — Так хуже. Она может подкрасться.

— Стыдно, — говорила бабушка, — большой мальчик, а боишься какой-то красной точки. Завтра мы пойдем с тобой к железной дороге, и ты увидишь, что это такое.

На следующий день они пошли по Гаврикову переулку к железнодорожному мосту. Было еще недостаточно темно, и красная точка не светилась. Ба-

бушка подвела его к рельсам, там стояла железная коробка, на которой было три стеклянных “глаза”, но ни один не горел.

— Это совсем не то, — недовольно сказал Шуша.

Его пытаются обмануть, думал он. Взрослые всегда врут, но он не поддастся.

Они постояли около железной коробки минут десять, три “глаза” так и не загорелись, и они пошли домой. Но как ни странно, бабушкин план сработал. То ли красная точка больше не загоралась, то ли он о ней забыл.

Через два года Шуша стал требовать от родителей, чтоб его отдали в суворовское училище. Идея, что армия связана с войной, а война — со смертью, ему в голову не приходила.

— Почему в суворовское? — спрашивали недоумевающие родители.

Он и сам не мог объяснить — почему. В детском саду он был чужим, и его не принимали в игры. А когда он увидел в кино одинаковых марширующих мальчиков, он понял, что там он станет такой, как все, и плохие мальчики не смогут не принять его в игру, потому что все будут делать то, что скажет командир. Все, что было хаотичным, непонятным и путающим в его душе, приобретет ясность и определенность, как только он начнет маршировать с суворовцами — одинаково постриженными, одинаково одетыми и с одинаковым напряжением смотрящими на трибуны.

Шуша продолжал уговаривать родителей отдать его в суворовское, а те уклончиво отвечали “надо подумать” или “надо сначала закончить второй класс”.

В какой-то момент Шуша вспомнил, что есть еще нахимовское училище, но решил, что родителям об этом лучше не говорить. Если попросить родителей о чем-то очень хорошем, а при этом есть что-то немного хуже, они всегда выберут то, что хуже, так уж родители устроены. А если они выберут нахимовское, там придется плавать на кораблях, а корабль может утонуть. Шуша отчетливо представил себе, как он захлебывается в ледяной воде, и на этом несостоявшаяся карьера суворовца-нахимовца оборвалась.

“А мое бегство из страны? — думал Шуша, глядя на ночной город из окна своего 20-го этажа. — Это ведь тоже, по существу, поступление в суворовское училище. Бегство от российского хаоса и непредсказуемости в упорядоченность американского среднего класса. А Джей? Ее брак с Социологом — тоже своего рода суворовское училище, попытка справиться с «колготением души» в его холодной правильности”.

Когда отец сообщил матери, что у Милочки родился ребенок и что он к ней уходит, мать сказала: хорошо, уходи. Тут до отца наконец дошло, что вся их жизнь, все, что с ними было за эти сорок три года: записка “Я тебя люблю”, лекции в институте, ночные провожания, “прошу руки вашей дочери”, копание окопов, эвакуация, поиски поезда на станции “Батраки”, гибель брата, рождение детей, похороны родителей, — все это кончено навсегда. Он выпил тридцать таблеток “Летардила” и лег спать. В пять утра мать почувствовала, что что-то не так, и заглянула к нему в кабинет. Он не отзывался. Тут она заметила пустую упаковку и позво-

нила в скорую, а сама тем временем пыталась привести его в чувство. Через десять минут он открыл глаза.

— Зачем? — спросила она. — Я же сказала: “Хорошо, уходи”.

— Страшно, — пробормотал он чуть слышно. — Страшно разрушать.

Приехала скорая, и его увезли. Мать позвонила Шуше и сказала, в какой он больнице. Шуша приехал на такси как раз, когда его везли на каталке из реанимации в палату. Отец лежал с закрытыми глазами. Он был смертельно бледен. Шуша провел рукой по его небритой щеке. Отец открыл глаза.

— Произошла ошибка! — сказал он неожиданно твердым голосом. — Выпил не то лекарство.

Роль жертвы его не устраивала.

На следующий день Шуше позвонила мамина подруга Ася.

— Милочка очень страдает, — сказала она. — Ее к нему не пускают, потому что она ему никто. Она написала письмо, но не знает, как ему передать. Ты бываешь в больнице. Сможешь передать?

Шуша был в шоке. Мамина лучшая подруга? Почти член семьи? Он отказался.

Через неделю отца привезли домой. На него было страшно смотреть. В понедельник он собрался на работу. Шуша смотрел из окна, как он, пошатываясь, идет через занесенный снегом скверик. Казалось, сейчас упадет. Шатающейся походкой напомнил Шуше проворовавшегося отца перед самоубийством в фильме “Високосный год”. Шуша схватил пальто и выбежал на улицу.

— Папа! Стой! Что с тобой?

Отец обернулся и долго смотрел на Шушу, как бы не узнавая. Потом на его лице появилась слабая улыбка.

— Если бы ты меня сейчас не догнал, все было бы кончено.

Он достал из кармана упаковку “Летардила” и протянул ее Шуше.

— Спрячь. А лучше выбрось.

Шуша отдал матери. А потом ее похитила Джей.

Он вспомнил день рождения матери, в июне. К этому времени она уже около года находилась в доме для престарелых в калифорнийском городе Плайя дель Рей, “королевский пляж” по-испански. Она окончательно потеряла интерес к жизни и только мечтала, чтобы трудолюбивые медсестры отстали наконец от нее с физиотерапией. В этот день Шуша спросил, не привезти ли ей фотографии родителей и детей.

— Я ничего этого не хочу видеть, — твердо сказала она. — Привези мне шкатулку из моей квартиры. Второй ящик сверху в правой тумбе письменного стола.

— А что там? — спросил он.

Она долго молчала, потом тихо сказала:

— Три упаковки “Летардила”, которые я отобрала у Джей.

Шуша замолчал.

— Если я это сделаю, — сказал он так же тихо, — меня, скорее всего, посадят в тюрьму.

— Нет, нет, — испуганно проговорила Валя. — Не надо. Не привози.

Ей оставалось жить одну неделю. Она постепенно засыпала и однажды утром не проснулась. Где, интересно, теперь эта шкатулка?

Он бросился к неразобраным коробкам и в конце концов нашел шкатулку. “Как написано на сайте *ask-a-doctor*, барбитурат за сорок лет ослабеваает всего лишь процентов на двадцать. Значит, в этой шкатулке еще восемьдесят процентов убойной силы. «Летардил» привозила из Венгрии Агнесса Кун, героическая дочь кровавого злодея, замученного и расстрелянного другими кровавыми злодеями. «Летардил» должен был убить отца, но его сначала спасла мать, потом я. «Летардил» убил Джей, и ее спасти не удалось. Моя жизнь развалилась. Вокруг — никого. Родители и Джей умерли. Алла меня ненавидит. Рикки где-то в Гане. Ее письма и звонки абсолютно непригодны для диалога. Какой может быть ответ на цитату из послания Павла к Евреям? Только цитата из послания Павла к Коринфянам. Может быть, настала моя очередь принять эстафету?”

Когда Рикки ушла от него к студенту из Ганы, он, как юнкер Шмидт Козьмы Пруткова, решил застрелиться. В гостях у дипломата Пospelова, с женой которого Валя училась в школе, ему показали пугач, привезенный из Америки. Это был настоящий *Smith & Wesson* 45-го калибра, красавец из черной вороненой стали с деревянными накладками на рукоятке.

Передняя часть ствола была наглухо забита металлической пробкой, а сверху, сразу за пробкой, была просверлена небольшая дырка. К пистолету прилагались патроны, но без пуль. Звук был настоящий, но вреда этот выстрел причинить не мог никому.

Увидев сумасшедший блеск в Шушиных глазах, Пospelовы сказали своим мальчикам:

— Вы уже, наверное, наигрались своим пугачом. Дайте Шуше на несколько дней.

Воспитанные мальчики сказали “конечно”, но видно было, что идея им совсем не понравилась.

Принеся пугач домой, Шуша стал обдумывать план превращения его в настоящее оружие. Задач было три: выковырять пробку, заделать дырку сверху и достать хотя бы один настоящий патрон. Учитывая школьную практику в слесарной мастерской и набор инструментов дома, первые две проблемы были решаемы. С патроном было сложнее. После нескольких дней размышлений он обратился к Стасику, отец которого служил в милиции.

— Зачем тебе патроны 45-го калибра? — поинтересовался Стасик.

Шуша показал ему пугач.

— Видишь, из него стрелять нельзя, ствол забит. Я пули выковыряю. Мне только чтоб звук был.

— Сколько патронов? — спросил Стасик.

— Давай семь.

— Обещать не могу, — сказал Стасик. — Дай три дня. Если достану — готовь двадцать рублей.

Итак, одна проблема, возможно, будет решена. Теперь займемся стволом. Он решил просверлить в пробке небольшую дырку, чтобы потом нарезать в ней резьбу, ввинтить болт и за этот болт вытащить пробку. Зажал пистолет в тиски и начал сверлить ручной дрелью. Пробка была, видимо, сделана из какого-то твердого металла, сверло грелось и тупилось, не оставляя почти никакого следа. Вынув пистолет, он обнаружил на стволе царапины — не догадался обмотать ствол хотя бы тряпкой, прежде чем зажимать в тиски. Неважно! Когда он застрелится,

испорченный пугач уже не будет никого интересовать.

Он спрятал пугач в ящик стола и решил ждать сигнала от Стасика. Сигнал поступил через три дня.

— Завтра утром принесу. Готовь деньги.

Деньги были готовы. Вечером, накануне визита Стасика, он опять зажал ствол пугача в тиски. Теперь надо было попробовать отпилить кусок ствола вместе с пробкой и маленькой дыркой сверху. Сам ствол, как ни странно, оказался мягче пробки. Он пилил очень медленно, чтобы не слышали родители и Джей. Когда он пропилил примерно на три миллиметра, раздался стук в дверь. Он быстро извлек пугач из тисков, спрятал в ящик и открыл дверь.

— Шушенька, — сказала мать ласково, — к нам на минуту забежали Пospelовы, они были тут рядом в кино. Они просят вернуть пугач.

— Да, да! — быстро сказал Шуша. — Сейчас сло-жу все в коробку и принесу.

Он быстро замазал царапины и надрез черным фломастером, подаренным теми же Пospelовыми, аккуратно упаковал в картонную коробку с вы-давленным на крышке знаком — три переплетаю-щиеся буквы S & W в круге, — перевязал бельевой веревкой двойным морским узлом и выбежал в ко-ридор.

— Ну что, — весело спросил Пospelов, — наиг-рался?

— Да.

— Ты что такой бледный? — поинтересовалась Пospelова.

— Голова болит, — сказал Шуша дрожащим голо-сом, — простудился, наверное.

— Выпей аспирин и ложись под одеяло...

Поспеловы, с которыми Шульцы продолжали общаться еще много лет, никогда не заговаривали об изуродованном пугаче. То ли не хотели огорчать родителей, то ли так и не открыли коробку.

ДЕНЬ ЗВОНКОВ

— Hello?

— *Mister Shults?* — женский голос с сильным русским акцентом.

— Да. Но со мной можно по-русски.

Она смеется.

— Так, пожалуйста, легче. Я из Москомархитектуры. Хотим вас поздравить, ваш проект занял первое место. *Cor... Congratulations!*

— Серьезно? Это не розыгрыш?

— Нет, что вы! Официальное письмо вам уже отправлено.

— И что это значит? Будем строить?

— Ну, не сразу, конечно. Но, может быть, и будем. Мэру проект понравился. Он сказал: “Сразу видно, что не иностранец делал”. А пока мы вас приглашаем на торжественную церемонию. Визу, билеты, гостиницу мэрия берет на себя.

У Шуши кружится голова. Он победил Фостера, Бофилла и Либескинда?

Конечно, победа на конкурсе ничего не значит. Таких конкурсов было много. И ничего не построено. И вряд ли будет. Но полететь в Москву? После стольких лет? Как там у Набокова? Что-то вроде “черное пятно в моем сознании размером в одну ше-

стую часть суши". Я увижу свой дом на Русаковской. Может быть, даже смогу зайти в свою бывшую квартиру.

Женщина из Москомархитектуры продолжает что-то говорить.

— Извините, — перебивает Шуша, — тут очень плохая связь. Я не расслышал.

— Я говорю, что с нами работает одна аспирантка из МАРХИ. Она писала диплом про ваши проекты. Просила меня узнать, может ли она вам написать, — ей нужно передать вам какую-то книгу...

— Да пусть напишет, что за церемонии, я не Фрэнк Гери*.

Верно, он даже сможет поехать в Баковку? Пойти через лес... но к кому? Никого в живых не осталось. Увидеть старых друзей? Почти все живы, но о чем он может с ними говорить? И откуда эта аспирантка знает его проекты?

Снова звонит телефон.

— Мистер Шульц? Это Джеффри снизу. Вам тут посылка. Спускаться не надо, Боб поднимет ее к вам на тележке, она тяжелая.

Через несколько минут стук в дверь.

— Куда ее ставить? — спрашивает улыбающийся Боб с тележкой, на которой стоит огромная разваливающаяся картонная коробка.

— Прислали по почте? — спрашивает Шуша.

— Вроде нет. Как она попала в вестибюль, ни я, ни Джеффри не заметили.

* Гери Фрэнк (*Frank Gehry*; р. 1929) — знаменитый американский архитектор, чей стиль иногда называют "деконструктивизмом".

— Ставь прямо тут, — говорит Шуша. — Я разберусь.

— *Yes sir!*

Шуша нащупал в кармане доллар и сунул его Бобу.

— *Thank you sir!* — сказал Боб и вышел.

Шуша принес длинный кухонный нож, сел на пол рядом с коробкой и начал вскрытие. Из коробки донесся слабый запах плесени.

Опять звонит телефон. Загадочный код, 233.

— *Hello?*

Знакомый, чуть хрипловатый голос:

— Ты помнишь, что у нас с тобой был сын? Что ты скажешь ему, когда вы встретитесь там?

— Рикки?

— Ты же знаешь, что души не умирают, даже души нерожденных младенцев. Что ты скажешь ему?

— Не знаю. А ты?

— Я просила прощения у Бога. Буду просить у сына. За некрещеных младенцев можно ставить свечку. За тебя я тоже молюсь. И за сестру твою, чтобы Бог простил ей ее прегрешения...

— Какие у нее могли быть прегрешения?

— Ты же знаешь, что самоубийство — такой же грех, как и убийство, ибо “тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не принадлежите самим себе, ибо вы куплены дорогою ценою...”

Рикки продолжает говорить, а он, не выпуская из одной руки телефона, а из другой шкатулки, идет в ванную, потом медленно, по одной, бросает

бело-розовые таблетки в унитаз, спускает воду и внимательно смотрит, как они, кружась, исчезают в пучине.

Рикки все еще говорит...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС

Он идет по Баковскому лесу. Начало лета. Температура, влажность, запах хвои, неровности тропинки, особенно когда наступаешь на переплетение сосновых корней, сизый цвет покосившегося забора, посвистывающие голоса дроздов, солнечные лучи, проникающие сквозь сосновые и березовые ветки, рисующие на траве импрессионистские пятна, — все это создает ощущение счастья, которого он не испытывал много лет. Навстречу по тропинке идет улыбающийся молодой отец в голубой тенниске и пыльных сандалиях.

— Давай, как у Чехова, — весело говорит отец. — “Здравствуй, отец, здравствуй, сын” — и разошлись.

Он проходит мимо. Шуша бежит за ним:

— Стой! Мне надо спросить. Остановись!

Отец поворачивается и с интересом смотрит на Шушу.

— Я всю жизнь собирался спросить тебя, — говорит Шуша. — Помнишь, ты привез на дачу волейбольный мяч?

Отец смотрит на него с недоумением.

— Мне было пять или шесть, — продолжает Шуша, — ты приехал на дачу и привез мяч. Мы с Ди-

ной стали играть с ним на площадке. Мяч куда-то закатился. Мы с тобой пошли его искать. Потом ты вдруг сказал, чтоб я быстро шел домой. Я пошел и стал смотреть через окно террасы. Ты нашел мяч, увидел меня в окне и сердито закричал: “Что ты там делаешь, иди быстро в комнату”. Почему ты тогда рассердился?

Отец внимательно слушает.

— Ничего этого не было, — говорит он мягко. — И никогда не будет. Пойдем.

Он кладет руку Шуше на плечо. Они идут по тропинке через лес. На небольшой полянке освещенная майским солнцем стоит молодая красивая мама. На ней его любимое темно-зеленое платье с желтыми листьями, коса уложена вокруг головы.

— Мама! Мама! Идем с нами!

Они шагают по тропинке втроем...

Теперь Даня, Валя, Джей и Шуша идут пешком с дачи на станцию “Баковка”. У всех в руках тяжелые сумки, а Шуша тащит огромный чемодан с одеждой. Всю последнюю неделю Валя бегала по магазинам, покупая одежду для Джей. Ей уже девять, там, на рижском взморье, будут дети известных людей, надо быть на уровне. Сама Джей не понимает, зачем надо было тратить столько времени и денег на какие-то тряпки, но раз мама хочет, ладно. Ей все равно.

Они садятся на скамейку на перроне под навесом. Валя идет к кассе. К скамейке медленно приближается странно одетая женщина. Приглядевшись, Шуша узнаёт их бывшую домработницу Любовь Семеновну. Она сильно изменилась. Куда делись ее крепдешинные платья, локоны, яркая губная помада, туфли на высоких каблуках? Сейчас

на ней мятый плащ, на голове серый шерстяной платок, на ногах старушечьи боты.

— Как две капли воды... — говорит она, ни к кому не обращаясь, — вылитый отец. А отец его и знать не хочет, денег не дает...

Валя стоит у окошка кассы. Услышав этот монолог, она оборачивается, быстро хватается за билеты и сдачу и спешит внутрь вокзала. Шуша и Джей смотрят на Любовь Семеновну с жалостью. Она была веселая, рассказывала истории, как ее любит “мой Вася”, как он пьет шампанское из ее туфли. Даже отец однажды сказал, что она забавная и что он понимает ее Васю. Что с ней случилось, куда она исчезла и кто ей не дает денег?

Даниил сидит молча, не глядя на Любовь Семеновну, и делает странные жевательные движения. Глаза его наливаются кровью. Детям страшно, в таком состоянии он не владеет собой. Сейчас вскочит и столкнет эту женщину под подходящую с оглушительным гудком электричку.

— Скорее, — кричит Валя, выбегая из вокзала, — наш поезд! Скорее!

Они хватают вещи и втискиваются в переполненный вагон. Двери закрываются.

Любовь Семеновна продолжает что-то говорить, ее еще видно, но уже не слышно. Поезд трогается, и только тут Шуша понимает, что чемодан, который он тащил, остался на платформе.

Что делать? Он вспоминает рассказы про честность исландцев, точнее, даже не честность, а их неспособность понять, зачем кому-то может понадобиться чужая вещь. Один чудак оставил на улице в Рейкьявике велосипед и начисто забыл, на какой

именно. Долго искал, потом купил новый. Через три года наткнулся на свой велосипед — стоял на том же месте, где он его оставил, ржавый, но нетронутый.

— Я выйду в “Трехгорке”, — быстро говорит он родителям, — вернусь в Баковку. Я кое-что забыл.

Родителям не до него. Они переговариваются остервенелым шепотом.

— Ты забыл мой чемодан? — спрашивает Джей одними губами.

Он кивает.

— Я еду с тобой. Можно?

Эта фраза ему что-то напоминает. Ах, да, Холден Колфилд и его сестра Фиби. Но какой Холден? У Сэлинджера *Holden Caulfield* — мальчик из богатой еврейской семьи с Парк авеню. У Риты Райт, которую никогда не пускали в Америку, Холден Колфилд — мечтательный тургеневский юноша. У Сэлинджера *Phoebe is taking belching lessons*, а у Риты Райт Фиби говорит “одна девочка научила меня икать”. А что оставалось делать переводчице? Написать “беру уроки отрыжки”? Нет, Рита Райт *was right*. А если хочешь узнать, что именно написал Сэлинджер, — поживи пять лет в Нью-Йорке. Желательно на Парк авеню. Увидишь, что все его тексты — еврейская трагикомедия. Шолом-Алейхем с Парк авеню.

Вот Фиби тащит огромный чемодан.

— А на кой черт ты притащила чемодан? — спрашивает Холден.

— Я еду с тобой, — отвечает Фиби. — Можно, да? Возьмешь меня?

— Что-что? — говорит Шуша, обращаясь к Джей. — Нет! Я еду один.

Он проталкивается к выходу, выскакивает в “Трехгорке”, перебегает на противоположную платформу, успеваает в прыгнуть в уходящую электричку, выскакивает в Баковке и опять перебегает на противоположную платформу, обегает всю платформу — никаких следов чемодана. Подбегает к кассе:

— Вам случайно не передавали чемодан? Я тут оставил на платформе.

Кассирша смотрит на него как на умалишенного.

“Да... — думает он, — это не Исландия”.

Впрочем, с Холденом случилось то же самое. Он забыл в метро рапиры фехтовальной команды, и нигде не сказано, что кто-то их вернул.

Вот он снова в лесу. На пеньке сидит Сеньор. Читает *Paese Sera*. В левой руке пачка “Шипки”.

— Вот, кстати, — говорит ему Шуша (стиль общения, усвоенный им от Сеньора, исключает банальные приветствия типа “добрый день”), — ты говорил, что надо отдаваться потоку. А когда вокруг тебя несколько потоков, какому отдаваться?

— Во-первых, я никогда этого не говорил, — раздраженно отвечает Сеньор и закуривает. — И вообще, что за пошлость, “отдаваться потоку”, это что-то из женских любовных романов. Если уж тебе так хочется отдаваться потоку, отдавайся любому, никакой разницы.

Он идет дальше. Навстречу шагает дедушка Нолик в форме майора железнодорожных войск.

— Дедушка! — бросается к нему Шуша. — Какое же все-таки имя у Бога? Ты так и не сказал.

— Яхве! Яхве! — весело кричит дед. — Юд, Хей, Вав, Хей!

— Его же нельзя произносить вслух! Ты сам сказал.

— Можно! Можно! Это там было нельзя.

— Где там?

Дедушка загадочно улыбается, потом жестом Аристотеля из “Афинской школы” показывает пальцем на землю и быстро проходит мимо легкой походкой “удивительного гимнаста”.

Лос-Анджелес. Шуша собирается вести другого дедушку, Васю, в Концертный зал имени Уолта Диснея слушать Паваротти и Стинга. В квартире на Таганке душа не было. Была одна ванная комната на десять семей, в ней одна ванна, которая использовалась для стирки. Мыться ходили по субботам в баню. Тогда же меняли нижнее белье. Про дезодоранты никто не слышал.

— Дедушка, — говорит Шуша после долгих размышлений, — я тебя должен предупредить. Американцы ненормальные. Они помешаны на чистоте и запахах. У них, если от человека пахнет потом или даже вообще ничем не пахнет, они его избегают. Должно пахнуть одеколоном или дезодорантом — это сигнал, что ты живешь по правилам и с тобой можно иметь дело. Каждый день эти психи принимают душ и моют голову. Потом мажут подмышки дезодорантом. Потом надевают всё чистое. Абсолютно всё! Представляешь? Приходится под них подстраиваться. Ты уж извини! С волками жить — по-волчьи выть. Перед концертом вымоемся, я купил тебе трусы, майки, носки и рубашки. Твой костюм я сдал в химчистку, сегодня можно получить.

— Слушай, — говорит дед, — так это ж здорово! Мне нравится. Пойдем чистыми. Музыка требует чистоты.

В Америке ему нравится все. Концертный зал Фрэнка Гери вызывает уже полный восторг.

— Какая красота! Это цветок! Какая фантазия!

У Шуши куплены два билета в ряду АА, места 140 и 141, самый центр, перед сценой, лучше этих будут только у самих певцов. Сколько это стоило, Шуша не признаётся. Зал производит на деда еще большее впечатление.

— Я всегда думал, — говорит он, — что Большой зал Московской консерватории — это самое лучшее место.

— Это потому, — говорит Шуша, — что тебя никогда не пускали за границу и ты не был в Ла Скала. Я был, но этот зал лучше.

— Потрясающе! — продолжает дед. — А этот орган! Какая необычная форма! Как будто ты шел по лесу и между деревьями вдруг заиграли трубы.

Концерт окончен. Они спускаются на эскалаторе в подземный паркинг.

— Как интересно! — говорит дед. — Два разных голоса. Один — настоящий оперный. Его даже ставить не надо, он таким родился. Сила природы. Так в Италии поют на базарах и ярмарках. А тот, другой, в майке, — совсем не оперный голос. Он поет горлом. Ему нужен микрофон. Но вместе получается поразительно: шелк и бархат.

— Дедушка, а правда, что ты не любил евреев?

— Не любил. Но когда Валя вышла замуж за Даню, он и все его родственники и их дети стали членами моей семьи, тут уже мне было все равно, кто они —

евреи, грузины, пусть даже негры. Ты, кстати, сам на негритянке чуть не женился. А если б женился, то и ее бы я принял в семью. Я христианин, для меня нет ни элина, ни иудея, но во всем Христос.

— А правда, что ты меня крестил в Елоховской церкви?

— Правда. Договорился с отцом Николаем, крестили при закрытых дверях, чтобы у твоего отца не было проблем.

— А мне в Америке сделали обрезание.

— Ну вот, ты теперь как Христос, и обрезанный, и крещеный.

Появляется Заринэ. На ней красный шелковый арха-лук с большими вышитыми цветами. В руке браунинг Графини.

— Я должна тебя убить, — говорит она.

— Да-да, конечно, — кивает Шуша.

Заринэ нажимает на курок. Из браунинга вылетает струя клюквенного сока. У Шуши на белой рубашке — мокрое красное пятно.

— Плагат из Блока, — говорит Шуша. — Пойдем лучше с нами!

Валя обнимает Заринэ. Родители и Заринэ идут по тропинке. Шуша позади. Из-за куста орешника с лаем выскакивает Татоша и прыгает вокруг Шуши. Шуша садится на корточки, гладит Татошу, а тот ухитряется лизнуть его в нос.

Сзади слышен топот детских ног. Шуша оборачивается и встает. К нему бежит Джей. На ней то самое белое платье с большими красными розами, которое ей купили перед поездкой на Рижское взморье. Она обнимает Шушу за шею и неожиданно целует.

— Ты возьмешь меня с собой в Америку? — спрашивает она.

— Да, да! Конечно возьму!

— Знаешь, — говорит она, — одна девочка, Ира Ашмян, научила меня икать. Вот послушай!

Шуша послушал, но ничего особенного не услышал.

— Неплохо, — сказал он.

Теперь он один. Вдали появляется фигура девушки. Солнце освещает ее сзади, виден только силуэт и светящиеся в лучах солнца развевающиеся огненно-рыжие волосы. Она подходит ближе, теперь видно, что в руках у нее книга. Внезапно в Шушин фильм вклинивается кусок из “Дракона”.

— Только бы она мне понравилась, — шепчет Ланцелот, глядя на приближающуюся Эльзу, — только бы она мне понравилась...

Издали доносятся звуки флейты и тубы, что-то очень знакомое. Нино Рота? Девушка с рыжими волосами подходит ближе. Она берет Шушу за руку и тянет за собой. Он послушно идет за ней. Они выходят из леса. На крутом берегу Сетуни стоят люди.

— К нам, к нам! — машут они руками.

Рыжая девушка и Шуша поднимаются. Джей в платье с розами держит на поводке Татошу, который скачет и виляет хвостом. Рядом отец в голубой тенниске под руку с мамой. За ними Заринэ, она держит за руку Рикки в сандалиях древнего римлянина, за ней Катя Харченко с Алексеем Егоровичем, два дедушки и две бабушки. Рядом на пеньке Сеньор со своей вечной *Paese Sera* в одной руке и пачкой “Шипки” в другой.

Солнце клонится к закату. Музыка переходит в до мажор и становится все быстрее и громче. Рыжая девушка, не выпуская Шушу, правой рукой берет Заринэ, и вся цепочка, взявшись за руки, начинает двигаться вниз по склону. Шуша кричит Сеньору, чтобы он присоединился, но тот раздраженно отмахивается.

Музыка становится еще громче. Сверху бегут Ника и Мика, Дина, Сашка Бондарчук с Аллой, Милочка с дочкой, Любовь Семеновна на высоких каблуках с ярко накрашенными губами тянет за руку Аркадия Шульца, за ними еще какие-то люди со смутно знакомыми лицами. Цепочка растет. Музыка играет еще быстрее, начинается темнеть. Вся цепочка спускается к реке. Темнеет. Музыка переходит в ля минор, потом постепенно становится все медленнее и тише. Полная тишина. На черном экране появляется надпись шрифтом Траяновой колонны:

LA FINE DEL FILM

ЭПИЛОГ

ПИСЬМО ГРИГОРИЯ РИДА, ПОЛУЧЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ 12 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Слухи о моем самоубийстве оказались верными. Я действительно решил покончить собой и выпил горсть разнообразных снотворных, скопленных мной в больнице за несколько лет. Потом я спустился в подвал, куда почти никогда никто не заходил, и лег под лестницей. Все было бы хорошо, но от лежания на цементном полу у меня началось воспаление легких, и, хотя я находился в бессознательном состоянии, мой организм начал стонать. Короче, меня нашли и откачали.

Сволочи.

Что я хочу сказать, это что Шульц все наврал. Ничего этого не было. То есть архив был, но я его сжег в печке. Жизнь его семьи мне абсолютно неинтересна. И ничего я ему не посылал.

Если не опубликуете это письмо, подам в Высший Суд. И пусть вернет мой автопортрет.

Гр. Рид

Психиатрическая больница святителя Николая Чудотворца

Ст. Петербург, 2021.

Литературно-художественное издание

ВЛАДИМИР ПАПЕРНЫЙ
АРХИВ ШУЛЬЦА



СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

Главный редактор ЕЛЕНА ШУБИНА

Художник АНДРЕЙ БОНДАРЕНКО

Ведущий редактор ДАРЬЯ САПРЫКИНА

Младший редактор НАДЕЖДА ТОЛСТОУХОВА

Корректоры НАТАЛИЯ РЕПИНА, ОЛЬГА ГРЕЦОВА

Компьютерная верстка ЕЛЕНА ИЛЮШИНОЙ



<http://facebook.com/shublinabooks>



<http://vk.com/shublinabooks>

Подписано в печать 11.01.2021. Формат 84x108/32.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,88.

Тираж 2000 экз. Заказ № 8503.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-034-2014 (КПЕС 2008); 58.11.1 — книги, брошюры печатные

Произведено в Российской Федерации
Изготовлено в 2021 г.

ООО "Издательство АСТ"

129085, г. Москва, Звёздный бульвар, дом 21, строение 1, комната 705, пом. 1, 7 этаж

Наш электронный адрес: www.ast.ru

Интернет-магазин: www.book24.ru

"Баспа Аста" деген ООО

129085, Мәскеу қ., Звёздный бульвары, 21-үй, 1-құрылыс, 705-бөлме, 1 жай, 7-қабат

Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru

E-mail: astrpub@aha.ru

Интернет-магазин: www.book24.kz

Интернет-дүкен: www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан ТОО "РДЦ-Алматы".

Қазақстан Республикасындағы импорттаушы "РДЦ-Алматы" ЖШС.

Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию в Республике Казахстан:
ТОО "РДЦ-Алматы"

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім

бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі

"РДЦ-Алматы" ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3 "а", литер Б, офис 1.

Тел.: +8(727) 2515989, 90, 91, 92, факс: +8(727) 2515812, доб. 107

E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Өндірген мемлекет: Ресей

Отпечатано с электронных носителей издательства.

ОАО "Тверской полиграфический комбинат".

170024, Россия, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.

Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34, Телефон/факс: (4822) 44-42-15

Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru



Владимир Паперный (р. 1944) — культуролог, историк архитектуры, дизайнер, писатель. Его книга о сталинской архитектуре "Культура Два" стала интеллектуальным бестселлером.

Лос-Анджелес. Эмигрант Александр Шульц, Шуша, неожиданно получает посылку. В коробке — листы и катушки с записями. Исследуя, казалось бы, уже навсегда утерянный архив, архитектор Шульц достраивает историю своей семьи. Она становится настоящим "русским романом", где юмора не меньше, чем драмы, а любовь снова побеждает смерть.

“ Роман "Архив Шульца" восстанавливает в памяти картину советской жизни в ее маргинальной, полуподпольной и невостребованной области. Прекрасная демонстрация неистребимости культуры, которая, как подземная вода, все равно находит свои пути, и увлекательный рассказ о поколении гонимых, умных и веселых.

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ, Москва

“ Мозаика ярких портретов, острых эпизодов и занятных анекдотов складывается в неизбежную, следующую внутренней логике эпохи судьбу Шуши: от родных корней, сурового прошлого, бурной молодости вплоть до последнего адреса — Америки. Ее мы с автором романа открывали в одни и те же годы, поэтому, свидетель и соучастник, могу твердо сказать: с подлинным верно.

АЛЕКСАНДР ГЕНИС, Нью-Йорк



СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

